



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

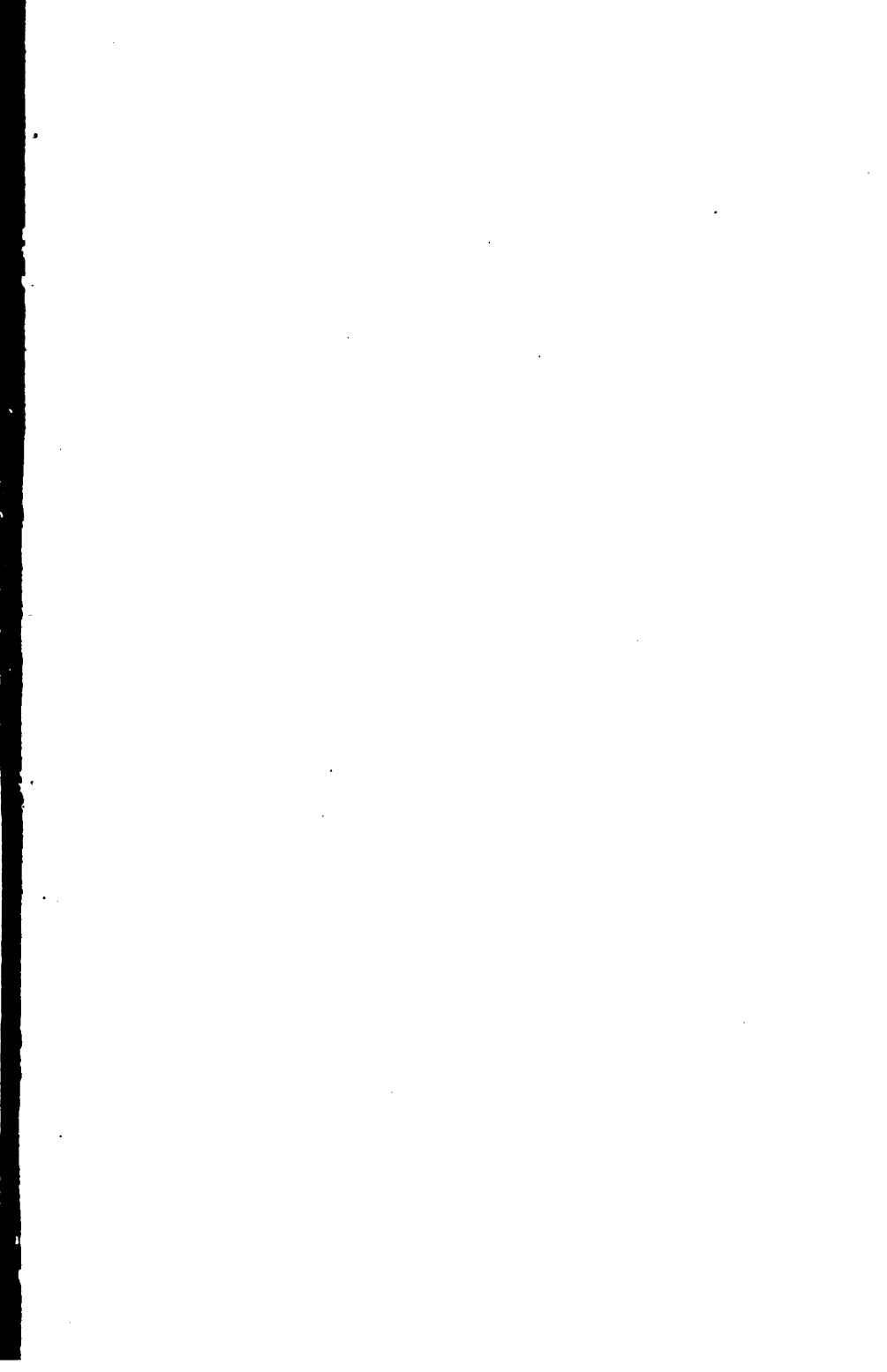
### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>











19340

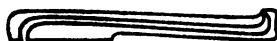
41-

Иностранная  
критика

# о Горькомъ.

(Сборникъ статей).

Сост. Л. Г.



104248

**МОСКВА.**

Типо-литографія „Русскаго Товарищества печати и издатель. дѣла“.

Чистые пруды, Мясницкій пер., соб. домъ.

**1904.**

## ПРЕДИСЛОВІЕ.

Мы предлагаемъ читателю сборникъ статей о Горькомъ, во множествѣ появившихся за послѣдніе года на Западѣ. Что Горькій пользуется тамъ наибольшей извѣстностью послѣ Толстого, а въ Германіи, пожалуй, читается больше собственныхъ соотечественниковъ — всѣмъ извѣстно. Но намъ казалось, что русскому читателю не только интересно, но и важно, понять что собственно нравится въ немъ и какъ его тамъ понимаютъ. Важно и для выясненія своей точки зрѣнія, а также и для болѣе полного пониманія требованій, запросовъ, вкусовъ и оцѣнки Западной критики.

Первоначально мы стремились дать статьи наиболѣе выдающихся литературныхъ органовъ, но вскорѣ пришлось отказаться отъ этой мысли, т. к. напр. въ *Litterarisches Echo* попадались совершенно незначительныя замѣтки; въ *Contemporary Review* (за 1901 г.) статья графа Соассона оказалась переводомъ изъ книги Андреевича и т. п. Затѣмъ, такъ какъ вслѣдствіе разныхъ причинъ сборникъ не могъ появиться тотчасъ послѣ его составленія, пришлось впослѣдствіи вновь измѣнять его, выкидывать болѣе слабыя статьи и замѣнять ихъ новыми, появившимися за это время. При выборѣ статей мы руководились не ихъ отрицательной или положительной оцѣнкой Горькаго, а ихъ достоинствомъ, именемъ автора и отчасти органомъ, въ которомъ она появилась. Само собою разумѣется помѣщать все — было немисли-

## II

мо, да и не интересно. Однихъ нѣмецкихъ отзывовъ о пьесѣ „На днѣ“ въ нашихъ рукахъ было 95, о Мѣщанахъ 40. Затѣмъ изъ шведской статьи и статьи господжи Пардо-Басанъ пришлось выбросить почти половину, т. к. ни біографія Горькаго, ни пересказъ его произведеній, русскую публику интересовать не могутъ.

Если сборникъ въ томъ видѣ, въ какомъ мы его предлагаемъ, хоть отчасти поможетъ читателю разобратся въ отношеніи Запада къ нашему писателю—то цѣль его будетъ достигнута.

## ОТДѢЛЪ I.

### Англійская критика.

Книга Е. Н. Диллона „Maxim Gorkyi His life and whritings“. \*)

Какъ ни богата Россія людьми, вышедшими изъ низшихъ слоевъ общества и благодаря энергіи и упорному труду проложившими себѣ путь къ высшимъ сферамъ искусства, науки, или дипломатіи, однако никто еще не достигалъ такъ быстро и такой громкой славы, какъ молодой писатель, называющій себя „Максимомъ Горькимъ“. Для многихъ критиковъ причина такого необыкновенно быстрого успѣха и небывалой популярности остается до сихъ поръ необъяснимой тайной, такъ какъ они едва ли соотвѣтствуютъ истинному значенію его книгъ. Въ тому же причины эти очень многочисленны и очень разнообразны. Во первыхъ: романтизмъ его жизни, продолжительныя скитанія съ мѣста на мѣсто, тяжелая борьба за существованіе, которую ему съ самыхъ раннихъ лѣтъ приходилось вести, холодъ, голодъ, все это имѣло рѣшающее вліяніе какъ на отношеніе къ нему читающей публики, такъ и на свойство его таланта и даже философское міровоззрѣніе, и Россія, конечно, единственная страна въ мірѣ, гдѣ мыслима такая необыкновенная карьера, какова карьера Горькаго; нигдѣ больше общественныя перегородки не поддаются такъ легко натиску необработаннаго таланта парія, нигдѣ двери не растворяются такъ широко пе-

---

\*) Мы помѣщаемъ здѣсь лишь краткое изложеніе книги Диллона выпуска въ біографическія данныя, извѣстныя русскому читателю. Въ Contemporary Review 1901 г. № 432 была помѣщена статья о Горькомъ, того же автора но т. к. она является повтореніемъ его книги лишь въ болѣе сокращенномъ видѣ, то мы ее тоже опускаемъ.

редъ нимъ, когда онъ стучится въ нихъ во имя науки или искусства. Здѣсь каждая искра таланта, загорѣвшаяся въ дикихъ степяхъ или грязныхъ трущобахъ, привѣтствуется какъ чистое золото, такъ какъ гуманное сочувствіе ко всѣмъ униженнымъ—основная черта русской интеллигенціи и русскаго народа, и каждый готовъ даже на жертвы лишь бы облегчить имъ путь. Съ этой точки зрѣнія никто послѣ Ломоносова, не имѣлъ столько правъ на вниманіе и уваженіе своихъ соотечественниковъ, какъ Алексѣй Максимовичъ Пѣшковъ, злосчастный сынъ нижегородскаго обойщика. И дѣйствительно, имя Максима Горькаго сдѣлалось извѣстнымъ много раньше, чѣмъ его сочиненія появились отдѣльной книгой. Молодой писатель сталъ предметомъ самыхъ горячихъ споровъ: его талантъ сравнивали съ талантомъ Толстого или Достоевскаго, его направленіе и вліяніе сравнивали со струей свѣжей ключевой воды среди стоячаго болота; публика собиралась толпами въ аудиторіяхъ, чтобы прослушать отрывки его произведеній, привѣтствуя ихъ громкими оваціями; критики исписывали цѣлыя страницы, рассыпаясь въ похвалахъ его таланту. Такое восторженное отношеніе почти всѣхъ слоевъ общества къ молодому писателю вызывалось однако надеждами и стремленіями, ничего общаго съ литературой или искусствомъ не имѣющими. Въ Горькомъ чествовали главнымъ образомъ пророка, предвѣщающаго наступленіе новой эры и новыхъ порядковъ. Русское общество вообще смотритъ на своихъ писателей не только какъ на представителей искусства, но и какъ на своихъ политическихъ вождей, обязанность которыхъ принять близкое и горячее участіе въ общественномъ движеніи. Такимъ образомъ русскому писателю приходится быть не только умственнымъ, но и общественнымъ руководителемъ своихъ современниковъ, а такъ какъ Горькій—горячій поборникъ свободы во всѣхъ ея видахъ, то онъ удовлетворялъ этой общественной потребности больше чѣмъ кто-либо другой.

Моментъ появленія Горькаго на литературномъ поприщѣ былъ также необыкновенно для него благоприятенъ. Лѣтъ двадцать тому назадъ его появленіе прошло-бы почти незамѣченнымъ;



и можетъ быть въ непродолжительномъ времени, когда лихорадочный подъемъ русскаго общественнаго настроенія немного уляжется и начнется спокойное обсужденіе его сочиненій, то теперешнія, слишкомъ поспѣшныя сужденія о нихъ несомнѣнно измѣнятся. Дѣло въ томъ, что русская интеллигенція постоянно выискиваетъ средства освободиться отъ гнета бюрократизма, и въ этихъ поискахъ увлекается то той, то другой панацеей противъ социальныхъ золъ. Такъ, напр. въ продолженіе четверти вѣка все интеллигентное общество искало нравственнаго оздоровленія и новыхъ силъ въ матери-землѣ. На крестьянъ смотрѣли какъ на избранниковъ, которые какимъ-то чудомъ сдѣлались источникомъ всего великаго и благороднаго въ славянской расѣ. Наиболѣе ревностные апостолы этого ученія „профессора, студенты, учителя, землевладѣльцы“ раздавали свое имущество, бросали все и „шли въ народъ“, надѣясь въ тѣсномъ общеніи съ мужикомъ проникнуться присущей ему благодатью и затѣмъ, благодаря своему болѣе развитому интеллекту, сумѣть употребить ее на общее благо. Пока господствовало подобное преклоненіе передъ крестьяниномъ, писателю, какъ Максимъ Горькій, не могло быть мѣста на Русской землѣ. Но прошли года: съ одной стороны наступило разочарованіе, съ другой—Россія пережила крупныя социальные перемѣны. Народныя массы, разъединенныя раньше громадными пространствами, теперь стали сталкиваться и сближаться; капиталъ сдѣлался могучимъ факторомъ развитія и богатства страны; громадныя сѣти желѣзныхъ дорогъ протянулись во всѣ стороны, соединяя самые отдаленные города и захолустныя мѣстечки, и волны культуры стали свободно проникать даже туда; всюду съ удивительной быстротой вырастали фабрики и заводы, занимавшіе громадное количество крестьянскихъ рабочихъ рукъ. Сотни земледѣльцевъ, которыхъ не могли долѣе прокармливать ихъ надѣлы, надѣясь на хорошій заработокъ и большую самостоятельность, бросали хозяйство и стремились въ городъ. Многіе изъ нихъ дѣйствительно находили искомое и нѣкоторые даже, благодаря энергіи и настойчивости, добивались благосостоянія. Но многіе, оторванные отъ земли и привычныхъ занятій, ничѣмъ не сдер-

живаемые и деморализованные легкимъ трудомъ, затирались вмѣстѣ съ неспособными и слабыми въ общей борьбѣ за существованіе и становились одинаково непригодными какъ для городской, такъ и для деревенской жизни. Были и такіе между ними, что работали лишь небольшую часть года, а остальное время проводили въ продолжительныхъ странствованіяхъ по родной землѣ, наслаждаясь неограниченной свободой и полагаясь исключительно на себя, чтобы поддержать свое существованіе трудомъ, а при случаѣ и насиліемъ. Но эта жизнь имѣла свои дурныя стороны: странствуя по безконечнымъ степямъ центральной Россіи, терпя голодъ, холодъ и постоянныя притѣсненія со стороны властей, ими подъ конецъ овладѣвала непреодолимая ненависть ко всему организованному обществу и его представителямъ, а любовь къ свободѣ вырождалась въ жажду необузданнаго своеволія. Между этими смѣлыми людьми и неподвижнымъ, забитымъ крестьяниномъ цѣлая пропасть; босаякъ, несмотря на всѣ свои недостатки, кажется гораздо симпатичнѣе представителямъ новыхъ общественныхъ теченій нежели инертный земледѣлецъ. Вокругъ этихъ-то многочисленныхъ послѣдователей идеала личной свободы вертится весь циклъ „горьковскихъ разсказовъ“. Онъ любитъ своихъ „бывшихъ людей“ вопреки ихъ порокамъ и главнымъ образомъ за тѣ качества, которыя породили эти пороки. Правда, у нихъ совершенно отсутствуютъ инстинкты и принципы, которые мы привыкли отождествлять съ понятіемъ о нравственности; правда, не признавая никакихъ условностей, они, сознавая свою безнравственность, совершенно не стыдятся ея; они—гордые дѣти природы, глубоко проникнутые ея правдой, тогда какъ приниженный и лицемерный горожанинъ, прикрываясь виѣшной нравственностью, въ то же время втихомолку способенъ нарушить всѣ ея законы.

На которомъ ярко выступаютъ типы Горькаго, всегда мрачный (?), сѣрый, такъ же какъ типичная русская музыка всегда въ минорномъ тонѣ, а русская философія всегда пессимистична; въ этомъ отношеніи у Горькаго есть сходство и съ Тургеневымъ, и съ Толстымъ, и съ нѣкоторыми другими русскими

писателями, менѣе извѣстными на западѣ. Отличается онъ отъ нихъ объектомъ своихъ произведеній; описывая жизнь, съ которой всего лучше знакомъ, и которой всего больше симпатизируетъ, онъ выбираетъ своихъ героевъ среди подонковъ общества и указываетъ на яркіе проблески свѣта въ этихъ мрачныхъ низинахъ цивилизованнаго міра и старается пробудить въ сердцахъ читателей теплое сочувствіе къ людямъ, которые тамъ уродуются и погибаютъ. Эти погибшіе, отщепенцы всѣхъ слоевъ общества, не составляютъ, по мнѣнію Горькаго, отдѣльнаго класса и лишены какой бы то ни было организации. Ихъ объединяютъ нѣкоторые общія всѣмъ имъ черты характера, рѣзко отдѣляющія ихъ отъ всѣхъ остальныхъ слоевъ общества: главная изъ нихъ—отсутствіе общественныхъ инстинктовъ и ненависть ко всякой нравственной уздѣ. Этотъ, какъ бы первородный грѣхъ тяготѣетъ на ихъ волѣ, дѣлая, съ одной стороны совершенно неспособными къ совѣстной съ другими людьми дѣятельности, а съ другой—лишая жизнь ихъ единства направленія и цѣли.

Въ своихъ психологическихъ этюдахъ Горькій раздѣляетъ бродягъ на двѣ очень различныя группы: съ одной стороны толпа мужчинъ и женщинъ, которые, въ силу своихъ грубыхъ, испорченныхъ натуръ, упали такъ низко, что имъ уже нѣтъ возврата. Это—несчастные, унаслѣдовавшіе ужасныя болѣзни, жертвы пьянства или неудачъ, рабы разврата. Съ другой, представители высшаго человѣческаго типа, безпокойные люди, жаждущіе свободы, бунтовщики по природѣ, предпочитающіе подобно сатанѣ царствовать въ аду, нежели служить небесамъ. Ничто въ жизни не можетъ удовлетворить ихъ мятежный духъ; спѣша отъ одного впечатлѣнія къ другому, отъ одной мысли къ другой, нигдѣ не находя удовлетворенія и покоя, они стремятся къ недостижаемому и непознаваемому.

Горькій описываетъ этихъ людей во всѣхъ фазисахъ ихъ развитія; благодаря ему ихъ жизнь и нравственный міръ, бывшій до того совершенно неизвѣстнымъ, становится намъ понятнымъ. Въ яркихъ картинахъ передъ нами по очереди дефилируютъ то тихія, застѣнчивыя, но безпокойныя существа,

чистосердечно признающіяся въ своихъ ошибкахъ, терпѣливо переносящія свою тяжелую долю, считая ее заслуженнымъ наказаніемъ за прежніе проступки; то несчастные страдальцы, которые корчатся отъ боли при малѣйшемъ движеніи червя, подтачивающаго ихъ измученныя сердца; то люди, ищущіе отвѣта на неразрѣшимые вопросы, и наконецъ мятежники, одаренные почти сверхчеловѣческой силой и энергіей и страстно желающіе найти случай обратить въ прахъ все культурное общество, осмѣлившееся оттолкнуть ихъ съ отвращеніемъ.

Это своего рода идеалисты, мѣняющіе удобства и удовольствія цивилизованной жизни на свободу; порвавъ всякую связь съ обществомъ, они смотрятъ на культурнаго человѣка какъ на труса и врага; въ то же время у нихъ отсутствуетъ и чувство товарищества, которое въ минуты опасности проявляется даже у дикихъ животныхъ. Природа—ихъ единственный другъ, смерть—единственная надежда, а единственный законъ, который они признаютъ—право сильного.

Въ основѣ ихъ темперамента лежитъ какая-то болѣзненная непоследовательность, которая совершенно парализуетъ смягчающее вліяніе матеріальнаго благосостоянія, любви и другихъ жизненныхъ благъ, которыя удовлетворили бы всякаго другого человѣка; это номады, отнюдь не ищущіе тихаго пристанища: они любятъ свою скитальческую жизнь и не промѣняютъ ее ни на какую другую. Таковъ, напр., Кузьма въ «Тоскѣ». Въ разговорѣ съ Мотрей, которую любитъ, онъ говоритъ: «Не проси, говорю! Не въ моей это силѣ, чтобы здѣсь остаться: уйду я за Кубань... Волку мою ни на какую жену, ни на какія хаты не смѣняю». («Тоска», стр. 288).

Таковъ же и Коноваловъ, мѣняющій любимую женщину и обезпеченное положеніе на скитальческій посохъ: эта страсть къ странствованіямъ характерная черта русскаго народа, рѣзко отличающая его отъ остальныхъ славянскихъ племенъ и съ незапамятныхъ временъ вліявшая на политическую, социальную и религіозную исторію Московскаго государства. Климатическіе причины не вполне объясняютъ это явленіе; вѣрнѣе, что здѣсь вліяетъ нестерпимая жизнь въ душныхъ избахъ

вѣчно впроголодь, безъ какой бы то ни было физической или нравственной дѣятельности. Главной же побудительной причиной къ бродяжничеству слѣдуетъ считать нестерпимыя условія сибирскихъ каторжныхъ работъ, которыя выгоняютъ на сибирскіе дороги и лѣса цѣлыя тысячи бѣглыхъ каторжниковъ. Русскіе лѣса тоже служатъ пристанищемъ множеству бродягъ, имѣющихъ основательныя причины избѣгать людей. Максимовъ, Левитовъ и нѣкоторые другіе пытались еще до Горькаго описать нравы и личности этого странствующаго населенія Россіи. Но поэтическій талантъ Горькаго его цѣльность и горячая искренность ставятъ его несравненно выше всѣхъ своихъ предшественниковъ.

Своихъ босяковъ онъ подраздѣляетъ на двѣ категоріи: выходцевъ изъ темной массы, сильная воля которыхъ лишь слабо управляется интеллектуальными способностями, и дезертировъ интеллигентныхъ классовъ. Каждое дѣло, каждое слово этихъ людей — страстный крикъ протеста противъ эгоизма и недобросовѣстности культурнаго человѣчества. И писатель стремится, чтобъ этотъ крикъ громко пронесся надъ всей страной. Его ошибка въ томъ, что онъ слишкомъ слабо объясняетъ, что побудило этихъ несчастныхъ покинуть семью, мѣсто своего рожденія и стать въ ряды безпріютныхъ, всѣми отверженныхъ бродягъ. Нельзя признать неудачи, несправедливости и слабость воли единственными причинами ихъ жалкаго, скитальческаго существованія; едва-ли также можно предположить вмѣстѣ съ Горькимъ, что ими руководитъ въ данномъ отношеніи духовная жажда выполнить какое-то высшее назначеніе. Это явленіе можно бы лучше всего объяснить непостоянствомъ неврастениковъ, не сдерживаемыхъ болѣе ни общественной, ни нравственной уздой. Казалось бы, что слѣдовало бы выяснить читателю причинную связь между современнымъ социальнымъ строемъ и бѣдственнымъ положеніемъ этихъ несчастныхъ. Но Горькій и здѣсь воздерживается отъ какихъ бы то ни было поясненій, а просто выводитъ передъ нами цѣлый рядъ преступниковъ, алкоголиковъ, фанатиковъ свободы, и требуетъ, чтобы мы отнеслись къ нимъ симпатично и постарались понять ихъ.

Заставляя своихъ героевъ приписывать свои неудачи судьбѣ, «звѣздѣ» или величію собственной души, онъ оказываетъ имъ плохую услугу, такъ какъ такимъ объясненіемъ слагаетъ съ общества всякую отвѣтственность за печальную долю этихъ людей.

Несомнѣнно, что изображеніе безсмысленнаго существованія этой грязной и пестрой толпы требуетъ нѣкоторой идеализаціи, но мнѣ кажется, что Горькій въ этомъ отношеніи превзошелъ мѣру въ ущербъ общему художественному впечатлѣнію.

Подобное сочетаніе правды и фантазіи создало типъ, не разъ уже появлявшійся въ литературѣ. Представителемъ его въ легендѣ является Василій Буслаевъ, а въ исторіи Степанъ Разинъ. Это сильные характеры, страстные поклонники свободы; они держатся особнякомъ; всѣ ихъ поступки свидѣтельствуютъ о ихъ глубокомъ презрѣніи къ толпѣ и указываютъ на сознаніе собственного превосходства надъ ней. Эти люди растрачиваютъ по мелочамъ, безъ всякаго сожалѣнія, свою громадную нравственную силу, которая въ былые времена создала бы героевъ. Для нихъ законы, сдерживающіе обыденную толпу, слишкомъ мелки, а потому они чувствуютъ себя одинаково свободными отъ нравственныхъ и физическихъ обязательствъ, — они какъ бы внѣ сферы добра и зла и одинаково способны на прощеніе, заступничество или обиду, даже на убійство, но при этомъ они никогда не руководствуются въ своихъ поступкахъ отвлеченными понятіями долга или справедливости, а прежде всего стараются проявить свою независимость и власть.

Рѣдко обдумывая свои поступки, они всегда дѣйствуютъ подъ вліяніемъ неудержимыхъ импульсовъ. Челкашъ несомнѣнно одинъ изъ самыхъ законченныхъ типовъ подобныхъ идеализированныхъ разбойниковъ. Онъ свирѣпъ, мраченъ, неукротимъ, не разъ даже былъ на краю гибели и только чудомъ выпутывался изъ опасныхъ положеній, въ которыя самъ себя ставилъ. Это пьяница, воръ и контрабандистъ, который не отступитъ ни передъ какой опасностью. Словомъ, волкъ въ образѣ человѣка съ нѣкоторыми чертами характера льва. Ему противопоставляется крестьянинъ Гаврила, существо приниженное, жадное

и недовѣрчивое, не могущее обходиться безъ властелина. Онъ жаденъ къ деньгамъ, и ради нихъ заглушаетъ въ своей душѣ зародыши нравственныхъ чувствъ и рѣшается идти съ Челкашемъ на смѣлое предпріятіе, догадываясь, что оно не вполне чисто. Но предстоящая опасность его приводитъ въ ужасъ.

Эти два типа часто повторяются въ мелкихъ рассказахъ Максима Горькаго: первый—существо мощное, энергичное, презирающее людей и способное, несмотря на нравственное паденіе, временами подняться на необыкновенную высоту; другой—натура грубая и злобная, съ узкимъ нравственнымъ горизонтомъ, еще затемненнымъ мелочнымъ страхомъ и заботой. Первый—въ открытой борьбѣ со всѣмъ обществомъ; второй — носитель всего добраго и прекраснаго, какъ ихъ понимаетъ вульгарная масса. Слѣдя съ возрастающимъ интересомъ за взаимодействіемъ этихъ двухъ противоположныхъ натуръ, всѣ наши симпатіи на сторонѣ дикаго поклонника свободы, и только по окончаніи чтенія, послѣ того какъ удастся собраться съ мыслями и впечатлѣніями, мы приходимъ къ сознанію, что только что прочитанное ничто иное какъ талантливѣйшій панегирикъ анархизма и преступленія.

Въ другомъ представителѣ своихъ „сверхъ-бродягъ“, Макарѣ Чудра, Горькій старается воплотить идеальнаго человѣка своей анархической утопіи. Это одно изъ первыхъ произведеній талантливаго писателя, и оба героя кровавой драмы настолько не реальны, что невольно спрашиваешь себя, для кого же собственно написанъ этотъ рассказъ. Грубые краски, слишкомъ очевидныя стремленія къ грандіознымъ эффектамъ, немного смѣшная чувствительность, дѣлаютъ его болѣе пригоднымъ для дѣтей нежели для взрослыхъ. — Очеркъ, „Старуха Изергиль“, несмотря на чудныя описанія природы, можно также назвать фальшивымъ, — онъ пропитанъ романтизмомъ и дешевой чувствительностью, оскорбляющей вкусъ культурнаго читателя. Большинство Горьковскихъ босяковъ страдаетъ болѣзненной меланхоліей. Источникомъ этой неизлѣчимой тоски служатъ по всей вѣроятности чрезмерная созерцательность, болѣзненная

чувствительность и сознание человеческого ничтожества въ сравненіи съ природой. Она, эта тоска, выражается въ потерѣ здравого интереса ко всякой практической жизненной дѣятельности или цѣли и въ жадѣ получить немедленный отвѣтъ на жизненную загадку, — получить его въ видѣ волшебной формулы, которая бы сразу выяснила всѣ ея тайнства. Одновременно съ этой гнетущей тоской развивается чрезмерно-обостренное сознание уродливости жизни человѣка, преувеличенное представленіе о ея приниженности, лжи и нечестности и возрастающее сознание бессмысленности жизненной борьбы, которая, каковъ бы ни былъ ея исходъ, всегда кончается смертью. Такія настроенія порождаютъ дряблость чувствъ, неясность сознанія и взглядовъ и дѣлаютъ невозможной здоровую и дѣятельную жизнь. Сильныя страсти этихъ несчастныхъ, съ которыми ихъ слабая воля не въ состояніи справиться, всецѣло овладѣваютъ ими и, то доводятъ до бѣшенства, то повергаютъ въ глубочайшее отчаяніе. Иногда же ихъ безцѣльные волненія суммируются въ одно исключительное и навязчивое представленіе, которое, какъ, напр., въ „Омѣ Гордѣевѣ“ доводитъ ихъ до полного сумасшествія. Большинство героевъ Горькаго безнадежные неврастеники, напр. Мальва, Коноваловъ, Орловъ.

Но стремленія этихъ ненормальныхъ людей сбросить съ себя стараго Адама одинъ только разговоръ и всецѣло зиждется на иллюзіи. Въ сущности, у нихъ нѣтъ привычки къ прозаичной и невидной, но полезной дѣятельности. Они требуютъ отъ жизни болѣе возвышеннаго дѣла, болѣе видной роли, такъ какъ считаютъ себя людьми высшаго порядка. Ихъ жизненный идеалъ — не здоровая кооперативная дѣятельность и даже не логическое мышленіе, основанное на фактахъ и приложимое къ дѣлу, но чувства, и чувства болѣзненные въ самомъ ихъ корнѣ; ихъ желанія фантастичны и неосуществимы. Многие поклонники Горькаго увѣряютъ, что было бы возможно вылечить больныхъ отщепенцевъ социальными реформами, но это несомнѣнное заблужденіе, такъ какъ достаточно всмотрѣться въ ихъ жизнь, чтобы понять, что имъ не помогутъ никакія ре-



формы, такъ какъ мы имѣемъ здѣсь дѣло съ болѣзнью, различно проявляющейся, но всегда съ одинаковыми послѣдствіями, дѣлающей человѣка непригоднымъ къ движенію впередъ наряду съ другими людьми. Любовь къ свободѣ, какъ увѣряетъ насъ Горькій, лежитъ въ основѣ всего поведенія его наиболѣе выдающихся босяковъ, и подъ ихъ неопытной внѣшностью онъ старается показать намъ безстрашныхъ титановъ, съ дикой энергіей борющихся противъ человѣческихъ законовъ и Божескихъ завѣтовъ. Съ точки зрѣнія художественности, эти фигуры дѣйствительно должны быть титаничны, чтобы сколько-нибудь соответствовать безграничнымъ русскимъ степямъ, на фонѣ которыхъ они вырисовываются. Но когда Горькій забываетъ свою роль социальнаго проповѣдника, и смотритъ на жизнь съ художественной точки зрѣнія, просто и правдиво воспроизводя свои впечатлѣнія, тогда передъ нами длинной вереницей проходитъ толпа невзрачныхъ, измученныхъ существъ, больныхъ и тѣломъ и духомъ... Разсматривая въ новомъ и болѣе реальномъ освѣщеніи ихъ ребяческія стремленія разрѣшить сложныя метафизическія задачи, мы приходимъ къ заключенію, что имъ далеко до титановъ... Къ сожалѣнію, какъ только мы внимательно всматриваемся въ могучую фигуру русскаго босяка, иллюзія пропадаетъ безвозвратно. Сравнивая слова этихъ людей съ ихъ дѣлами, ихъ теорію съ практикой, мы скоро замѣчаемъ полное несоответствіе между тѣмъ и другимъ, и сіяніе, которымъ окружилъ ихъ Горькій исчезаетъ безвозвратно. Напр., Промтовъ (Проходимецъ) говоритъ:—„Ну, думаю, что я человѣкъ, которому въ жизни тѣсно. Жизнь узка, а я — широкъ... въ бродяжьей жизни есть нѣчто засасывающее, поглощающее. Пріятно чувствовать себя свободнымъ отъ обязанностей, отъ разныхъ веревочекъ, окутывающихъ твое существованіе среди людей... отъ всякихъ мелочишекъ, до того облѣпляющихъ жизнь, что она становится уже не удовольствіемъ, а скучной ношей... Вообще — если говорить по правдѣ — такъ всѣ эти торжественно-дурачкія отношенія, что установились между порядочными городскими людьми — скучная комедія. Да еще и подлая комедія“...

А вотъ жизнь этого сверхъ-человѣка, душа котораго слишкомъ широка для узкой жизни: мальчикомъ онъ носилъ любовныя письма своей матери, а впоследствии былъ самъ за безнравственность выгнанъ изъ гимназіи. Женившись, онъ вскорѣ бросаетъ жену и попадаетъ на содержаніе къ другой женщинѣ легкаго поведенія; затѣмъ, сдѣлавшись сыщикомъ, становится причиной горя многихъ людей.

Мнѣ кажется, можно безошибочно утверждать, что любовь къ свободѣ Промтова просто ненависть ко всему, что могло бы помѣшать немедленному удовлетворенію его грубыхъ страстей, и эта любовь къ свободѣ или, скорѣе, къ необузданному самодурству, въ силу которой эти люди считаютъ унижительнымъ подчиняться чему бы то ни было, никогда не мѣшаетъ имъ поработить чужую волю ради своей пользы. Такъ, напр. Челкашъ искренно наслаждается сознаніемъ, что Гаврила въ его рукахъ; Лойко-Зобаръ любитъ Радду, но требуетъ, чтобы она ему подчинилась безпрекословно; Радда не менѣе его цѣнитъ свою свободу и требуетъ наоборотъ отъ него поклоненія и рабства. Право сильнаго—вотъ этическая формула этихъ людей. Напр. въ рассказѣ „Бывшіе люди“ прежній учитель старается втолковать одному изъ товарищей, что ему невыгодно слишкомъ жестоко бить свою жену, такъ какъ этимъ онъ рискуетъ повредить ея здоровью, или изуродовать ея еще неродившагося ребенка: „Бить, ты ее бей, если безъ этого ужъ не можешь, но бей осторожно: помни, что можешь повредить ея здоровью или здоровью ребенка“. Яковъ, къ которому обращена эта маленькая проповѣдь, говоритъ одному изъ присутствующихъ: — „Погоди, — говоритъ Яковъ, — вѣдь и ты свою бьешь?—А я развѣ говорю нѣтъ! Бью... иначе невозможно... кого же мнѣ, стѣну, что ли дуть кулаками, когда не въ терпѣежь приходится?—Ну вотъ и я тоже...—говоритъ Яковъ,—ну какая-же у насъ жизнь тѣсная и аховая, братцы мои! Нѣтъ тебѣ нигдѣ настоящаго размаха!“—Въ основѣ отношеній горьковскихъ мужчинъ къ женщинѣ лежитъ неудержимое стремленіе всецѣло и деспотично подчинить ее себѣ.

Одинаково безпощадные къ другимъ и къ самимъ себѣ, эти

люди находят какое-то болѣзненное удовольствіе въ страданіи другихъ. а иногда и въ собственныхъ мученіяхъ. Эта странная смѣсь наслажденія и боли—психическая особенность славянской расы, отдѣляющая ее рѣзкой чертой отъ народовъ запада. Достоевскій въ своихъ лучшихъ произведеніяхъ не разъ уже проводилъ мысль, что подъ вліяніемъ извѣстныхъ настроеній человѣкъ любить и ищетъ страданій. Горькій въ нѣкоторыхъ своихъ рассказахъ по всей вѣроятности имѣлъ въ виду ту же мысль. Напр. въ „Супругахъ Орловыхъ“. Побой озлобляли Матрену злоба же доставляла ей великое наслажденіе. возбуждая всю ея душу, и она вмѣсто того, чтобы двумя словами угасить ревность мужа, еще болѣе подзадоривала его, улыбаясь ему въ лицо странными многозначительными улыбками“.

У этихъ людей нѣтъ состраданія къ другимъ, нѣтъ и къ самимъ себѣ. Ничѣмъ не сдерживаемый эгоизмъ лежитъ въ основѣ всѣхъ ихъ поступковъ, и они употребляютъ насилие какъ лучшее средство навязать другимъ свою волю. Такимъ образомъ ихъ жизнь противорѣчитъ высказываемымъ принципамъ. и ихъ громкія рѣчи о свободѣ звучатъ пусто и фальшиво. Какъ ни велики недостатки современнаго соціальнаго строя, его никакъ нельзя считать отвѣтственнымъ за несчастную судьбу Орловыхъ, Коноваловыхъ, Промтовыхъ и т. д., которые сами порвали связь съ обществомъ, чтобы безпрепятственно отдаться грубымъ наслажденіямъ, еще доступнымъ ихъ притупленнымъ чувствамъ. Тома Гордѣевъ—первое большое произведеніе Горькаго—нѣчто среднее между очеркомъ и романомъ: но въ немъ одинаково отсутствуютъ какъ простота первого, такъ и необходимое единство построенія второго. Онъ весь какъ бы составленъ изъ отдѣльныхъ сценъ и лицъ, изъ которыхъ нѣкоторые удивительно жизненны, но какъ-то искусственно приклеены къ цѣлому и не имѣютъ между собою никакой внутренней связи. Въ этомъ романѣ Горькій описываетъ быть приволжскаго купеческаго міра. Купцы составляютъ отдѣльный классъ, почти отдѣльную касту, отличающуюся отъ обычныхъ, воспитаніемъ, даже одеж

Игнатъ Гордѣевъ, отецъ героя, очень яркій представитель этихъ хищниковъ. Это дѣйствительно типъ, первый художественный типъ Максима Горькаго, такъ какъ до того онъ въ лучшихъ случаяхъ описывалъ лишь конкретныя индивидуальности или просто воплощалъ то или другое качество. Игнатъ-же—живой человѣкъ со всѣми отличительными чертами его класса. Въ семьѣ — деспотъ, въ дѣлѣ — хищникъ, въ религіи — фанатикъ, онъ одаренъ громадной нравственной и физической силой, но въ немъ мало человѣчнаго. Сынъ его Ома, рано потерявъ мать, сначала растетъ у крестнаго, скупого и циничнаго Маякина, затѣмъ возвращается къ отцу и тамъ воспитывается теткой, которой съ трудомъ удастся защитить его отъ пьяныхъ ласкъ отца. Послѣ смерти отца, Ома начинаетъ самостоятельно управлять своей жизненной баркой и править ею безъ кормы и компаса, не избравъ опредѣленнаго направленія. Этотъ грубый, невѣжественный, эгоистичный человѣкъ, наслаждающійся дикими оргіями и грязнымъ развратомъ, продолжаетъ вытягивать соки изъ нуждающейся меньшей братіи и смотреть на мужчинъ и женщинъ, попадающихъ ему на пути, какъ на негодную скорлупу, которую можно выбросить. Въ его громадномъ чувственномъ тѣлѣ гдѣ то глубоко-глубоко еще теплится душа. Въ общемъ фигура въ высшей степени отталкивающая; конечно вполне возможно, что подобные типы дѣйствительно существуютъ на берегахъ Волги. Но что одинаково противурѣчить, какъ дѣйствительности, такъ и художественности произведенія, такъ это попытка автора соткать основу характера этого грубаго чудовища изъ тонкихъ и нѣжныхъ струнъ идеализма и философской критики. Возможно ли себѣ представить, чтобы грязный глупецъ, не сумѣвшій даже разумно пройти гладкій жизненный путь, по которому идутъ люди его класса, могъ философствовать въ трезвыя минуты, или возмущаться поступками окружающихъ людей, которые, въ концѣ концовъ, гораздо лучше его самого.

„Трое“—лучшее произведеніе Горькаго—исторія троихъ дѣтей, растущихъ въ московской трущобѣ среди горя и разврата. Главное дѣйствующее лицо этого романа — Илья Луневъ. Въ

цѣлой серіи картинъ, проникнутыхъ удивительной правдивостью и глубиной психологическаго анализа, мы видимъ постепенный ростъ его дѣтскаго сознанія, проблески свѣта, временами озаряющіе окружающую его тьму, первое пробужденіе въ немъ воли, и ея активное воздѣйствіе на окружающихъ. Луневъ— натура сильная, безстрашная, это—духовный и физическій атлетъ; жизнь можетъ сломить его, но никогда не погнетъ. Отъ предковъ сектантовъ Луневъ унаслѣдовалъ независимость, благодаря которой въ своихъ рѣшеніяхъ и поступкахъ никогда не руководствуется чужими мыслями или чувствами и смѣло борется со зломъ каждый разъ, когда сталкивается съ нимъ, но борется не во имя какого-нибудь идеала, а просто во имя собственныхъ удобствъ. Въ немъ нѣтъ какого-нибудь сильнаго религіознаго или соціальнаго вѣрованія, которое направило бы его неопредѣлившіяся стремленія къ единой цѣли, и потому въ своихъ поступкахъ онъ руководится исключительно неяснымъ побужденіемъ, мерцающимъ въ его душѣ, и ставитъ личное счастье единственной цѣлью жизни. Чувствуется, что когда Луневъ натолкнется на обманъ или несправедливость, неминуемо наступитъ катастрофа. Луневъ возмужалъ довольно поздно. Выѣстъ съ возмужалостью наступаютъ и соблазны, и онъ предается имъ безъ борьбы. Но любовь приноситъ ему лишь горе и доводитъ до убійства старика соперника. Послѣ этого Илья долго находится въ какомъ-то чадѣ, но затѣмъ въ немъ пробуждается сознаніе, что, несмотря на всѣ свои старанія уберечься отъ жизненной грязи, онъ въ ней завязъ и нѣтъ у него болѣе надежды когда-либо смыть ее. На деньги, украденныя у убитаго Полуэктова, онъ осуществляетъ мечту своей молодости, приобретаетъ чистенькую лавку на тихой улицѣ, и тамъ надѣется еще добиться тихой, чистой жизни, къ которой всегда стремился. Но его мечты, какъ миражъ, исчезаютъ по мѣрѣ приближенія къ нимъ; онъ видитъ вокругъ себя лишь обманъ, испорченность и грязь, и даже его собственные дѣла, удовольствія и физическая чистота кажутся ему обманчивыми и показными. Все рушится вокругъ, и Луневъ кончаетъ самоубійствомъ.

Левъ Толстой какъ-то сказалъ, что какія бы ни были у него пѣли, но въ его сочиненіяхъ прежде всего слѣдуетъ искать его собственную душу. Душу Максима Горькаго не трудно распознать въ группѣ лицъ, въ которыхъ онъ вдохнулъ жизнь. Скажу больше: у всѣхъ у нихъ только одна душа, душа создавшаго ихъ гениальнаго автора. Въ сущности, это даже не типы въ художественномъ смыслѣ слова, а лишь копіи одного и того же лица съ незначительными измѣненіями; на самомъ дѣлѣ, если откинуть общія имъ всѣмъ черты характера — любовь къ свободѣ, жажду новаго и неизвѣданнаго — окажется, что въ остальномъ они мало чѣмъ разнятся другъ отъ друга. Это однообразіе усиливается еще тѣмъ, что, подробно описывая внѣшній обликъ своихъ героевъ, указывая мельчайшіе слѣды, оставленные на нихъ горемъ или болѣзью, Горькій никогда не говоритъ о ихъ прошломъ и о томъ какъ оно отразилось на настоящемъ. Благодаря такому однообразію, къ концу пятаго тома его сочиненій читателемъ овладѣваетъ чувство утомленія и унынія, и ему невольно приходитъ на умъ вопросъ: неужто же Горькій, который исходилъ Россію отъ „моря до моря“, встрѣтилъ только одинъ типъ босняка? Конечно, нѣтъ. Дѣйствительность обладаетъ почти безграничнымъ запасомъ самыхъ разнообразныхъ индивидуальностей, и Горькій не могъ не наталкиваться на самыхъ разнообразныхъ людей и, благодаря чуткой воспримчивости и тонкой наблюдательности, не поддаться ихъ обаянію и не вникнуть въ ихъ характеръ. Но вмѣсто того, чтобы, возсоздать по воспоминанію пережитое и видѣнное и дать намъ реальныя и истинно-художественныя изображенія этихъ людей, онъ сосредоточиваетъ все свое вниманіе на тѣхъ изъ нихъ, которые одарены тѣми же рѣдкими качествами, что и онъ самъ, при чемъ опускаетъ всѣ индивидуальныя черточки, которыя испортили бы сходство. Не говоря уже о Лара и Лойко Зобаръ еще менѣе реальныхъ, — это просто воплощеніе извѣстныхъ качествъ и идей, — но даже создавая своихъ наиболѣе жизненныхъ лицъ, списанныхъ съ настоящихъ босняковъ, которыхъ дѣйствительно зналъ и встрѣчалъ, онъ однѣ индивидуальныя особенности, которыя и отличаютъ живыхъ

людей отъ аллегорическихъ воплощеній, отбрасываетъ, нѣкоторые другія прибавляетъ отъ себя, приближая ихъ такимъ образомъ къ своему идеалу. Недостаточно сказать о Горькомъ, что онъ вдохнулъ жизнь въ своихъ титановъ-босяковъ, онъ сдѣлалъ больше: онъ вынулъ ихъ сердце и мозгъ и на ихъ мѣсто вложилъ поэтическія созданія своей собственной фантазіи и забальзамировалъ ихъ такимъ образомъ на нѣсколько поколѣній. Преобладаніе субъективнаго элемента въ сочиненіяхъ Горькаго, неудержимое влеченіе къ сильнымъ драматическимъ положеніямъ и отсюда желаніе усилить впечатлѣніе чрезмѣрнымъ нагроможденіемъ сенсационныхъ инцидентовъ — вотъ главные недостатки его произведеній.

Всѣ его босяки—философы, и ихъ открытія въ области метафизики и этики ни въ чемъ не уступаютъ аналогичнымъ открытіямъ Ницше или Шопенгауера; къ тому же эти неграмотные и невѣжественные люди говорятъ изысканнымъ языкомъ, прекрасно иллюстрируя оригинальныя мысли изящными сравненіями, доступными въ дѣйствительной жизни лишь поэтамъ. Напр., невѣжественный цыганъ слѣдующими словами описываетъ впечатлѣніе, произведенное на него музыкой „Зобара“: „Проведетъ бывало по струнамъ смычкомъ—и вздрогнетъ у тебя сердце, проведетъ еще разъ—и замретъ оно, слушая, а онъ играетъ и улыбается. И плакать и смѣяться хотѣлось въ одно время, слушая его пѣсни. Вотъ тебѣ сейчасъ кто-то стонетъ горько изъ-подъ смычка, стонетъ, проситъ помощи и рѣжетъ тебѣ грудь какъ ножомъ. А вотъ степь говоритъ небу сказки, тихія, печальныя сказки. Плачетъ дѣвушка, провожая добра-молодца! Добрый молодецъ кличетъ дѣвицу въ степь на свиданіе. И вдругъ—гей! Грономъ гремитъ вольная, живая пѣсня, и само солнце, того и гляди, затанцуетъ по небу подъ ту пѣсню. Вотъ какъ соколъ!“

Горькій отлично сознаетъ всѣ свои недостатки, тѣмъ болѣе, что и русскіе критики указывали на нихъ. Но вмѣсто того, чтобы стараться отдѣлаться отъ нихъ, онъ лишь пытается оправдываться и утверждаетъ, что самые обыкновенные люди, потерпѣвшіе пораженіе въ борьбѣ за существованіе, стано-

вятся мудрецами, въ силу этого пораженія. Если бы эта теорія подтверждалась въ жизни,—то это было бы въ высшей степени утѣшительно.

Бъ сожалѣнію, подобное утвержденіе ни на чемъ не основано, а недостатокъ, которому онъ долженъ служить оправданіемъ, портитъ лучшія сочиненія Горькаго. Дѣло въ томъ, что въ искусствѣ какъ и во всемъ остальномъ, Горькій не терпитъ никакихъ ограниченій и преднамѣренно стремится къ цѣлямъ очень возвышеннымъ, но достигъ которыхъ легче при помощи публицистики или проповѣди, нежели литературы. Весь содрагаясь отъ страсти, онъ теряетъ необходимое для художника спокойствіе и самообладаніе, начинаетъ какъ поэтъ, кончаетъ какъ памфлетистъ, преувеличиваетъ, превращая своихъ дѣйствующихъ лицъ въ какихъ-то пророковъ, которые высказываютъ его теоріи и протесты. Не дѣлая даже попытки овладѣть собой, онъ отбрасываетъ въ сторону все, что такъ или иначе стѣсняетъ его, надѣясь такимъ образомъ усилить качество количествомъ, не жалѣетъ красокъ и старается убѣдить читателя, что его герои величественные орлы, парящіе надъ облаками, за которыми скрывается солнце.

Зато никто до сихъ поръ не сумѣлъ еще дать намъ столь изящныя, красивыя и мѣткія описанія природы какъ Горькій. Перебѣшивая звуки, краски, запахи и формы, онъ объединяетъ и природу и людей и развертываетъ передъ читателемъ чудныя, величавыя картины. Нашъ сверхъ-бродяга—талантливѣйшій импрессионистъ. Подобно представителямъ новѣйшаго художественнаго направленія въ живописи, онъ рисуетъ не то, что есть, а то, что кажется, основываясь на томъ, что впечатлѣнія современнаго культурнаго человѣка реагируютъ быстрой и отражаются гораздо точнѣе, чѣмъ въ умахъ ихъ предковъ. Въмѣсто того, чтобы разобрать каждое впечатлѣніе въ отдѣльности, давая ему правильно развиваться и вырасти передъ глазами читателя, Горькій сразу всѣ ихъ бросаетъ въ пространство, разсыпая составныя части на окружающіе предметы, совершенно основательно рассчитывая, что отраженные ими



лучи снова сойдутся въ умственномъ взорѣ читателя. Дѣйствительно нервы, управляющіе нашими чувствами, реагируя другъ на друга, создаютъ многостороннія впечатлѣнія: такъ музыкальные звуки вызываютъ цѣлостныя представленія, запахъ цвѣтовъ вызываетъ вкусовые ощущенія и. т. д. Такимъ же образомъ природа, воздействуя на наши психическіе нервныя центры, пробуждаетъ въ насъ то радостныя, то вдохновенныя настроенія и приводитъ въ близкое общеніе съ осязаемымъ міромъ; свѣтъ и тѣни, море, небо, дождь, вѣтеръ, мрачная и грязная лачуга, сѣрая даль безрадостной степи, все это звучитъ въ душѣ читателя соотвѣтствующимъ аккомпанементомъ словамъ и дѣйствіямъ *dramatis personae*, создавая соотвѣтствующее настроеніе. Сообразуясь съ этимъ любопытнымъ явленіемъ, Горькій начинаетъ почти всѣ свои маленькіе рассказы, то радостными, то мрачными аккордами, и лишь тогда вывести на сцену дѣйствующихъ лицъ, когда душа читателя уже вибрируетъ въ тонъ.

Въ этомъ вѣрномъ пониманіи близости и единенія людей съ природой Горькій превзошелъ всѣхъ своихъ предшественниковъ. Люди, животныя, деревья, вода, свѣтъ и тьма, благодаря его горячей фантазіи, сливаются въ единую, какъ-бы мировую душу; и отъ времени до времени его обездоленные странники, нищіе босыки, бросившіе все изъ любви къ свободѣ, предвкушаютъ блаженство Нирваны. Эти пасынки общества—любимцы природы: она тихо нашептываетъ имъ на ухо свои тайны...

Горькій—великій мастеръ рисовать жанровыя картинки: водяная пустыня или клочекъ сырой, выжженной степи, на этомъ фонѣ двѣ, три человѣческія фигуры—и картина закончена. Онъ обладаетъ также удивительною способностью наблюдать жизнь и въ особенности ея болѣзненные явленія, воспроизводя ихъ въ цѣлой серіи яркихъ реальныхъ картинъ, которыя оставляютъ глубокіе слѣды въ сознаніи читателя. Въ этомъ его главная сила и литературная заслуга. Онъ водить насъ по самымъ мрачнымъ и ужаснымъ трущобамъ, ужаснѣе въ тысячу разъ самыхъ худшихъ тюремъ и знакомить съ „бывшими людьми“, которые, испытывая несказанныя мученія, ненавидятъ жизнь,

но все же продолжают прозябать, находясь въ хроническомъ пьяномъ полуснѣ; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сумѣлъ указать намъ, что какъ ни изуродованъ и ни испорченъ человѣкъ, онъ никогда не утрачиваетъ всего свѣтлаго, и что даже подъ уродливимъ струпомъ преступленія все еще живетъ божественное естество. Дать идиллію грязныхъ нищихъ и за-  
грубѣлыхъ преступниковъ, въ которыхъ, казалось, потухла послѣдняя искра человѣческаго духа, и указать на таящіяся въ нихъ остатки благородства, — великая задача, дѣйствительно достойная поэта. И если бы Горькій реально и художественно воспроизводилъ свои впечатлѣнія, не задаваясь при этомъ посторонней задачей проповѣдника сумѣлъ-бы разрушить нашу грубую классификацію людей и расширить кругъ нашихъ симпатій, онъ бы вполне заслужилъ всѣ похвалы, которыя ему теперь расточаютъ. Несмотря, однако, на его дидактическія цѣли, этическій элементъ (за исключеніемъ „Троихъ“ и немногихъ другихъ рассказовъ) совершенно отсутствуетъ въ его произведеніяхъ; и при ближайшемъ знакомствѣ со всѣмъ, что намъ до сихъ поръ далъ новый русскій пророкъ, прежде всего приходишь къ заключенію, что его философія отрицательная. Горькій стремится уничтожить намѣченную людьми границу между добромъ и зломъ, близко сходясь въ этой переоцнѣ нравственныхъ понятій, или, скорѣе, уничтоженіи ихъ съ проповѣдью Ницше. Каждый его сверхъ-бродяга — самъ себѣ законъ; отбросивъ самыя элементарныя нравственныя понятія, онъ вполне отождествляетъ силу съ правомъ. Съ точки зрѣнія культурнаго человѣчества это ученіе покажется безнадѣжнымъ и даже отталкивающимъ и найдетъ мало послѣдователей на западѣ. — „Брюхо въ человѣкѣ, — говоритъ Емельянъ Пилий — главное дѣло.. а какъ брюхо покойно, значить, и душа жива, всякое дѣяніе человѣческое отъ брюха происходитъ“... (Емельянъ Пилий стр. 27). И чтобы удовлетворить потребностямъ этого брюха, каждый, кто имѣетъ силу, имѣетъ также право убить другого человека: — „Право! Вотъ они права!“ у моего носа красовался внушительный жилистый кулакъ Емельяна“ — (Емельянъ Пилий стр. 30). Въ большинствѣ рассказовъ Горькаго противопоста-

вляются двѣ этическія системы: христіанство и его отрицаніе. Герои этихъ драмъ величественно топчаты ногами мелкую, самоуничижающуюся нравственность Галилеянина. „Кто силенъ, тотъ самъ себѣ законъ!“—воскликаетъ грубый и лѣнивый князь Шакро, который, странствуя съ Горькимъ, живетъ на его подачки, принимая ихъ, какъ право, и въ концѣ концовъ надуетъ своего-же благодѣтеля. Но его жертва нисколько не оскорблена подобнымъ нахальствомъ:...— „Онъ умѣлъ быть вѣрнымъ самому себѣ. Это возбуждало во мнѣ уваженіе къ нему.... Я часто вспоминаю о немъ съ добрымъ чувствомъ и веселымъ смѣхомъ. Онъ научилъ меня многому“.

Но одному онъ не научилъ Горькаго, а именно: почему, если такъ дурно поработать ближняго въ цивилизованной жизни, почему это хорошо среди бродягъ и преступниковъ?

## Максимъ Горькій

(статья въ The Academy № 1548, I, 1902).

Россія,—конечно, мы понимаемъ подъ Россіей *народъ*, а не игрушечную, отполированную французами, бюрократическую надстройку, выдающую себя за народъ,— воплощается для насъ въ фигурѣ Увара Ивановича въ „Наканунѣ“: „Уваръ Ивановичъ заигралъ пальцами и устремилъ вдаль свой загадочный взглядъ“. Громадная и непонятная. ждетъ Россія съ неистощимымъ терпѣніемъ сильнаго жвачнаго животнаго—ждетъ, сама не зная чего... Своего родного, національнаго она еще не сказала.

Въ искусствѣ она, повидимому, подобно ребенку одинаково восхищается и дурнымъ и хорошимъ.

Въ Россіи съ одинаковымъ восторгомъ принимается и человекъ, подобно Верещагину, и глубокий геній, подобно Чайков-

скому, и, вѣроятно, „Мысли лѣтня“ предпочитались въ свое время „Воскресенію“. Эта дѣтская капризность и эта покорность судьбѣ проявляется во всемъ болѣе или менѣе выдающемся что было создано въ Россіи въ теченіе послѣдняго вѣка рядомъ великихъ беллетристовъ, которые знали и рассказали намъ свою собственную русскую душу, и эти писатели заняли господствующее мѣсто во всей европейской беллетристикѣ.

Въ поэзіи, музыкѣ и живописи — Россія блестяла неровнымъ, мигающимъ огонькомъ, но ея изящная литература почти сто лѣтъ подрядъ сіяетъ не меркнувшимъ яркимъ блескомъ.

Гоголь, Достоевскій, Тургеневъ и Толстой—эти четыре блестящихъ великихъ имени, заняли все столѣтіе; они свѣтятъ подобно яркимъ маякамъ въ темномъ морѣ. Западные народы обратили свои взоры на востокъ и увидали тамъ, среди глубокой ночи, четыре ослѣпительно яркихъ свѣтила...

Всѣ западныя звѣзды не блѣднѣютъ ли дѣйствительно передъ ихъ яркимъ блескомъ?

Когда мы думаемъ о „Мертвыхъ душахъ“, „Преступленіи и Наказаніи“, „Нови“ и „Аннѣ Карениной“—какія произведенія можемъ мы поставить на ряду съ ними? Конечно, не Эгмонта, не „Записки Пиквикскаго клуба“, не „Мадемуазель де Можъ“, не „Госпожу Бовари“, не „Jane Eyre“, не „La terre“, ни даже „Eugenie Grandet“. Упомянуть рядомъ съ первыми эти произведенія все равно, что начать обсуждать муниципальную политику послѣ политики національной. Помимо всѣхъ своихъ достоинствъ, они проникнуты какимъ-то таинственнымъ величіемъ, и изъ западныхъ произведеній съ ними могутъ быть сравнены развѣ только „Père Goriot“ и „Notre Dame“. Мы, пожалуй, можемъ указать произведенія съ болѣе искусной и интересной интригой, но ничего болѣе глубокаго и обладающаго большей властью надъ чувствомъ мы указать не можемъ. Мы никогда не могли завоевать Европу, несмотря на всѣ наши преимущества. Это было сдѣлано Россіей, варварской, рабской и молчаливой. Одно появленіе этихъ великихъ писателей въ Россіи уже является однимъ изъ чудесъ, такъ

какъ въ Россіи существуютъ всѣ наиболѣе неблагопріятныя условія для развитія литературы. Посвятить свою жизнь литературѣ, начать писать—въ Россіи часто бываетъ равносильно переправѣ черезъ Ніагару въ утломъ челнокѣ. И даже когда писатель дѣлается понемногу извѣстнымъ, имѣеть успѣхъ, скажемъ, въ Москвѣ, какъ далеко ему еще до извѣстности въ Европѣ; какое разстояніе отдѣляетъ его отъ Парижа и Лондона!.. Каждый знаетъ французскій и англійскій языкъ, но кто знаетъ русскій? Преодолѣвъ препятствія на родинѣ, русскій писатель не въ силахъ преодолѣть ледяного равнодушія иностранцевъ, погруженныхъ въ свои дѣла, да еще отдѣленныхъ отъ него какъ стѣной, трудностями русскаго языка.

И въ этомъ-то, быть можетъ, и лежитъ тайна превосходства этихъ четырехъ блестящихъ именъ—при такихъ условіяхъ до Европы доходятъ лишь дѣйствительно самые крупные, самые сильные таланты.

Теперь появляется на горизонтѣ новый русскій писатель, возбуждающій въ Европѣ большой интересъ. Великій Толстой приближается къ концу своей славной жизни; другіе, несравненно меньшія величины,—но все же величины, какъ Короленко и Потапенко, не поддерживаютъ пріобрѣтенныхъ русской литературой традицій величія въ Европѣ. Повидимому, этого продолжателя мы найдемъ въ Алексѣѣ Максимовичѣ Пышковѣ, иначе Горькомъ. Мы говоримъ только „повидимому“, такъ какъ высказывать такія надежды вполне увѣренно, конечно, было бы слишкомъ преждевременно. Однако Горькій весьма быстро умѣлъ завоевать себѣ славу и за предѣлами Россіи. Его читаютъ въ Берлинѣ, Парижѣ, Лондонѣ и Нью-Йоркѣ. Въ Парижѣ его книги имѣютъ громадный сбытъ, у насъ онъ появился въ нашихъ наиболѣе серьезныхъ журналахъ, и одновременно вышли двѣ его книги „Супруги Орловы“, „Мальва“ и „Ома Гордѣевъ“. Затѣмъ внѣшнія неблагопріятныя условія въ жизни писателя и дикій энтузіазмъ русскихъ студентовъ заставили говорить о Горькомъ всѣ газеты. Молодежь окружила его обожаніемъ. Вспомнимъ горячій протестъ Горькаго противъ аплодисментовъ молодежи, которая устроила ему оваціи при появленіи

въ ложѣ театра: „Почему вы не можете оставить меня въ покоѣ?“—воскликнулъ Горькій. Вся эта рѣзкая рѣчь для молодого человѣка тридцати двухъ лѣтъ, который десять лѣтъ тому назадъ былъ грузовщикомъ на пароходѣ, звучитъ слишкомъ оригинально. Мы боимся, что въ то же время это показываетъ намъ нѣкоторую склонность къ аффектаціи со стороны оратора. Мы признаемся, что его псевдонимъ Максимъ „Горькій“ кажется намъ зловѣщимъ предзнаменованіемъ: онъ указываетъ на намѣренную позу, а художественныя произведенія весьма рѣдко создаются позерами. Горькій по своему происхожденію вышелъ изъ народа и горячо привязанъ къ народу. Онъ прекрасно знаетъ жизнь на Волгѣ и проникнутъ глубокой симпатіей къ массѣ. Его первый значительный рассказъ „Челкашъ“ появился въ 1898 г., а переводъ „Челкаша“ съ французскаго перевода былъ помѣщенъ въ декабрьской книжкѣ 1902 г. „Fortnightly Review“. О немъ говорить, что онъ „поразительно прекрасенъ“.

Такимъ, конечно, мы не можемъ признать его или развѣ только съ извѣстными оговорками. Но написанъ рассказъ этотъ дѣйствительно очень ярко. Атмосфера торговаго порта, впечатлѣнія ночи на водѣ въ маленькой лодкѣ, жадность скупого крестьянина, — все это передано съ лиризмомъ и горячностью; а послѣдняя сцена на морѣ, съ великодушнымъ отвѣтомъ вора на истерическіе вопли своего сообщника, поражаетъ насъ своей оригинальностью и силой.

Тома Гордѣевъ — только одно изъ большихъ произведеній Горькаго, переведенныхъ на англійскій языкъ. Этотъ рассказъ — исторія жизни богатаго купеческаго сына; дѣйствіе происходитъ главнымъ образомъ въ Нижнемъ-Новгородѣ — большомъ торговомъ городѣ на берегу Волги, по которой день и ночь ходятъ внизъ и вверхъ пароходы и баржи.

Постоянно предъ нами въ этомъ рассказѣ Волга; она является главнымъ театромъ дѣйствій. Это — поле преступленій, соблазновъ, разореній. Первый романъ Тома происходитъ на одномъ изъ отповскихъ пароходовъ: среди широкой русской рѣки это обыкновенная продажная *amourette*.

„Мнѣ уже тридцать лѣтъ“—говоритъ она,—„последніе деньки для женщины“ и насъ потрясаетъ пафосъ такой простой фразы. Горькій достигаетъ необыкновенной силы въ изображеніи такихъ грубыхъ, животныхъ эпизодовъ.

Отецъ Оомы умираетъ, и Оома остается въ двадцать лѣтъ обладателемъ громаднаго состоянія и хозяиномъ большого дѣла. Что же онъ предприметъ? Въ этомъ-то и заключается центръ разсказа: Оома отдается бездѣлю, не зная, почему онъ ничего не дѣлаетъ...

„И за всѣмъ этимъ онъ ощущалъ въ себѣ „какую-то бездонную томительную пустоту, которой ничто не могло заполнить: ни впечатлѣнія только что истекшаго дня, ни воспоминанія о давнихъ; и баржа, и дѣла и думы о Медынской, все поглощалось этой пустотой!“ Онъ спрашивалъ, что можетъ дать ему жизнь и съ тоской повторялъ... „и ничего лучшаго, и это все?“

Оома отдается безшабашному кутежу, хотя въ сущности онъ не чувствуетъ влеченія къ этому образу жизни. Онъ бросаетъ деньги и даетъ возможность всему громадному предпріятію выскользнуть изъ своихъ рукъ. Сильное вліяніе его крестнаго отца Маякина оказывается недействительнымъ. Слѣдующая цитата прекрасно иллюстрируетъ отношенія между этими двумя совершенно противоположными темпераментами.

— „Папаша!—воскликнулъ Оома.—Вѣдь это можно! Вѣдь было такъ... бросали все имѣніе люди и тѣмъ спасались...“

— „Не при мнѣ было, не близкіе мнѣ люди!“—сказалъ Маякинъ строго,—„а то я бы имъ показалъ“.

Постепенно Оома погружается въ пучину безцѣльнаго, безрадостнаго порока: онъ теряетъ власть надъ собой. Онъ уже ничего не ищетъ, онъ никогда не выказываетъ болѣе своей глубоко скрытой духовной жизни.

Для него все яснѣй и яснѣй становится обманъ и ложь всего, что его окружаетъ.

Презрѣніе къ купеческому классу—его собственному классу—охватываетъ его все болѣе и болѣе.

„О, сволочи,—воскликаетъ онъ,—„Что вы сдѣлали? Не жизнь вы сдѣлали, тюрьму... Не порядокъ вы устроили,—цѣпи на человѣка выковали... Душно, тѣсно, повернуться негдѣ живой душѣ... Погибаетъ человѣкъ... душегубы вы всѣ... Понимаете ли вы, что только терпѣніемъ человѣческимъ вы живы“.

Въ концѣ-концовъ онъ, оборванный, полубезумный, почти нищій, бродитъ одинокимъ, и если случайно кто-нибудь заговариваетъ съ нимъ, то лишь для того, чтобы презрительно сказать: „Эй ты, пророкъ, подь сюда!.. Ну-ка насчетъ свѣтопредставленія скажи слово, а? хе-хе-хе, пророкъ“.

Эта чисто духовная драма вводитъ насъ въ сложную и высоко-интересную сторону современной русской жизни. Нижній Новгородъ съ его разнообразной пестрой дѣятельностью, его купцы, писатели, рабочіе, пьяницы, развратники, пилигримы,—все это изображено въ тысячи видахъ, но всегда рѣзко, жестоко, грубо. Въ этомъ произведеніи авторъ точно стремится провести въ жизни свой псевдонимъ. На „позировку“ мы также постоянно наталкиваемся: во многихъ мѣстахъ поражаютъ насъ преувеличенія, намѣренная поза.

Разсказъ этотъ очень претенціозенъ, но далеко не удаченъ. Эффектный конецъ слишкомъ напыщенъ, рѣзокъ... По временамъ, правда, Горькій обнаруживаетъ необыкновенно глубокое пониманіе психологіи, но зато какъ часто онъ высказываетъ во многихъ отношеніяхъ и полное невѣжество!.. Горькій ясно высказываетъ себя, какъ писатель, который никогда не изучалъ литературныхъ приемовъ и который презираетъ всѣ эти литературные приемы. „Тома Гордѣевъ“ могъ бы быть продуктомъ или зрѣлаго таланта, по существу своему грубаго и мелодраматическаго въ обращеніи съ душами, или же это преждевременная попытка еще неразвившагося таланта, истинная чистота и тонкость котораго тонетъ въ юношескихъ преувеличеніяхъ и сумасбродствахъ.

„Супруги Орловы“—лучшая изъ всѣхъ вещей Горькаго, достигшихъ Англіи.

Несчастная, полная ссоръ, скуки и тоски жизнь, которую ведетъ Орловъ, сапожникъ, и его жена, въ своей комнатѣ



въ подвалѣ, описана съ поэтичной вѣрностью и силой: чувствуется, что въ этой средѣ Горькій совершенно дома. Орловъ идетъ по тому же пути, какъ и Тома Гордѣевъ, и также не понимаетъ, почему онъ это дѣлаетъ. Онъ ищетъ и требуетъ отъ жизни что-то, чего она ему не хочетъ дать. Можно было бы думать, что служба въ госпиталѣ удовлетворитъ его, но нѣтъ; онъ ко всему начинаетъ питать отвращеніе, ничего ему не удастся. „Такъ я никакого геройства и не совершилъ“,—говоритъ онъ.—„И по сю пору хочется мнѣ отличиться въ чемъ-нибудь... Сдѣлать что-нибудь такое, чтобы встать выше всѣхъ людей и плюнуть на нихъ съ высоты. И сказать имъ: ахъ вы, гады! Зачѣмъ живете? Какъ живете? Жутье вы лицемерное и больше ничего“... И въ концѣ-копцовъ мы видимъ его въ кабацѣ, и внутренность кабака возбуждаетъ представленіе о какой-то пасти, которая медленно, но неизбежно поглощаетъ одного за другимъ бѣдныхъ русскихъ людей, безпокойныхъ и иныхъ... Теперь еще слишкомъ рано было бы высказывать окончательное сужденіе о Максимѣ Горькомъ. У него богатое воображеніе; онъ чувствуетъ горячую любовь къ природѣ и къ тому классу людей, который стоитъ близко къ природѣ. Его полныя любви описанія моря и дерзкаго кокетства первобытной, естественной героини—въ рассказѣ Мальва, рассказъ въ сущности довольно слабомъ—даетъ ясно указанія на эту черту таланта Горькаго. Онъ обладаетъ дѣйствительно удивительнымъ знаніемъ народнаго духа; лирическія ноты сильно слышны въ его писаніяхъ и глубоко трогаютъ насъ. На ряду съ этимъ ему недостаетъ художественнаго чутія,—артистической культуры. Онъ постоянно старается показать себя презирающимъ культуру и презирающимъ искусство, являющихся достояніемъ только богатыхъ, довольныхъ и сытыхъ. Всѣ его симпатіи на сторонѣ обиженныхъ, на сторонѣ бѣдныхъ, а эти симпатіи выражаются такъ сильно, что онъ становится несправедливымъ ко всему остальному человечеству. Кромѣ того, Горькому не хватаетъ спокойствія и доброты, даже его любовь къ угнетеннымъ проявляется презрительно и грубо. Жизнь постоянно подвергается имъ разрушительной беспощадной критикѣ,

и несомнѣнно его герои возвращаются постоянно къ вѣчному „Почему“, оттого, что авторъ самъ тоскливо бьется надъ вопросами философіи существованія. Онъ беспощадно рисуетъ намъ страданія міра и настойчиво и тщетно ищетъ разрѣшенія загадки бытія \*).

---

---

\*) Было еще нѣсколько отзывовъ о Горькомъ въ различныхъ журналахъ и газетахъ, напр. въ *Atheneum*'ѣ (1901 г.), въ *Literature* 1901 г., въ *Monthly Review* № 14 въ 1901 г. и т. д.—но все это простыя замѣтки, или же пересказы произведеній Горькаго.

ОТДѢЛЪ II

НѢМЕЦКАЯ КРИТИКА.



## О Т Д Ъ Л Ъ П.

### Нѣмецкая критика \*).

**Максимъ Горькій,**

III часть, изъ книги д-ра Поритцкаго „Гейне, Достоевскій и Горькій“.

#### ПРЕДИСЛОВІЕ.

Хотя соединеніе трехъ предлагаемыхъ критическихъ очерковъ въ одномъ томиѣ вполне произвольно, но тѣмъ не менѣе не лишено нѣкотораго основанія. Точка соприкосновенія Гейне, Достоевскаго и Горькаго—Ницше.

Послѣдній былъ пламеннымъ поклонникомъ и ученикомъ Гейне и Достоевскаго, а на Горькаго въ свою очередь сильно вліяли Достоевскій и Ницше; Достоевскій, понятый имъ въ смыслъ Ницше, и Ницше, окрашенный вліяніемъ Достоевскаго.

---

\*) Почти всѣ статьи этого отдѣла нѣсколько сокращены: выпущены біографическія свѣдѣнія, повторенія и цитаты. За незначительностью не приводимъ массы статей, какъ-то изъ *Dresdener Anzeiger*, *Berliner Tageblatt*, *Pester Lloyd*, *Deutsche Heimath*, *Wage*, *Neue Freie Presse*, 2 изъ *Die Zeit* (газеты), 2 *Die Zeit* (журнала), *Die Zeit* (Берлин. журнала), *Münchener Post*, *Münchener neueste Nachrichten*, 2 *Berliner Morgenzeitung*, *Breslauer Borsen-Courrier*, *Litterarisches Echo*, 2 *Die Zukunft*, *Magazin für Litteratur*, *Tägliche Rundschau*, 2 *Berliner Börsen Courier*, *Die Post*, 2 *Beiblatt der freisinnigen Zeitung*, *Schlesische Zeitung*, *National Zeitung*, 2 *Berliner Lokalanzeiger*, *Berliner Morgenpost*, *Vossische Zeitung*, *Allgemeine Zeitung*, *Neues Wiener Tageblatt*, *Berliner Zeitung*, *Berliner Börsen-Zeitung*, *Dresdener neueste Nachrichten*, *Fränkischer Courier*, *Neue Züricher Zeitung*, *Gegenwart*, *Germanie*, *Berliner Illustrierte Zeitung*, *Die Peitche*, *Der Tag*, *Die Welt am Montag* и многихъ другихъ.

Впрочемъ, для меня менѣе важно доказать тѣсную связь тамъ, гдѣ первоначально я вовсе не намѣревался прослѣдить ее, а матеріалъ не требуетъ этого. Если бы чистая случайность сама по себѣ не вызвала объединеніе моихъ трехъ очерковъ, то я все же могъ бы указать, что всѣ они проникнуты однимъ и тѣмъ же духомъ, одушевлены одной и той же идеей и написаны подъ вліяніемъ могучаго гимна свободѣ Гейне— „Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme“, „Записокъ изъ мертваго дома“ Достоевскаго и „Пѣсни о соколѣ“ Горькаго. Всѣ три названныя произведенія дышатъ одной и той же страстью, доходящей подчасъ до пафоса: ихъ можно было бы назвать пламеннымъ кличемъ къ свободѣ, которой и я никогда не устану призывать.

### Максимъ Горькій.

Въ самый разгаръ склонности нашего времени къ неоромантизму, стремленія къ запутаннымъ метафизическимъ вопросамъ, попытокъ,—ни на чемъ не основанныхъ—вернуться къ временамъ „голубого цвѣтка“, вдругъ неожиданно появляется геній жизнерадостный, увлекательный, полный непочатыхъ силъ, разбиваетъ всѣ наши туманные идеалы, ищущіе точку опоры въ сферѣ мистицизма, и указываетъ на безконечно вновь возрождающуюся жизнь со всей ея неприглядностью и грубостью которую, однако, точно смѣясь, солнце обдаетъ золотомъ своихъ лучей. Этотъ геній вспугиваетъ насъ изъ нашего прозябанія, заставляетъ стряхнуть съ себя любовь къ мѣщанскимъ идилліямъ и гонитъ въ самую гущу жизни, туда, гдѣ наиболѣе сильно кипитъ борьба. И вотъ мы снова начинаемъ сочувствовать социальнымъ проблемамъ, а ярко выраженные индивидуальности, которыя до того вынуждены были уступить первенствующее мѣсто въ литературѣ какимъ-то безкровнымъ и безполымъ созданіямъ, теперь снова возводятся на пьедесталь.

И вновь передъ нами развертываются картины жизни, заставляющія насъ чувствовать жгучій стыдъ и горячую жажду создать новыя, лучшія, болѣе достойныя челоѣчества, формы

существованія... И сонное бѣненіе нашего пульса учащается, въ насъ загорается энергія... Вѣдь мы осуждены жить, а между тѣмъ мчимся, точно слѣпые, предаваясь какимъ-то недостойнымъ насъ фантазіямъ, навстрѣчу смерти.

Всѣ мы измельчали, всѣ выродились въ пошлыя копіи нашихъ предковъ, въ которыхъ, по крайней мѣрѣ, били ключомъ сила и чувство, сознаніе своего превосходства, здоровье, и жизнерадостность... Въ современную жизнь надо влить новое содержаніе: больше солнца, больше энергіи, больше индивидуальности и свободы, большее довѣріе къ себѣ и большую глубину.

Гнѣвъ, ненависть, мужество, стыдъ, отвращеніе и, наконецъ, злое отчаяніе—вотъ какими средствами писатель Алексѣй Максимовичъ Пѣшковъ, или Максимъ Горькій, какъ онъ подписывается, хотѣлъ бы уничтожить въ мірѣ все устарѣвшее, сгнившее, оступившее и опошлившееся.

„Можешь ты создать такіе рычаги?—спрашиваетъ онъ себя въ „Читателѣ“,—можешь привести ихъ въ движеніе? Для того, чтобы имѣть право говорить къ народу, нужно имѣть въ душѣ или великую ненависть къ его недостаткамъ, или великую любовь къ нему за его страданія“.

Что Горькій сумѣлъ пустить въ ходъ эти средства и подобно молодому бурному вихрю взбаламутилъ стоячее болото, мы постараемся доказать посредствомъ разбора его произведеній и сопоставленія разбросанныхъ по всѣмъ его работамъ отдѣльныхъ мыслей.

---

Если Мошешотъ имѣлъ право утверждать, что въ каждомъ человѣкѣ кроется частица свойствъ родителей и кормилицы, мѣста и времени, воздуха и погоды, звука и свѣта, питанія и одѣянія,—то относительно духовныхъ свойствъ писателя смѣло можно сказать, что онъ продуктъ мозговыхъ отправленій и пережитого, воспитанія и среды, случайностей и изученія, своего здоровья и общества. И если сумма всего этого еще не даетъ полной картины духовнаго облика поэта, то все-таки

можно доказать, что не одни прирожденные способности обуславливают творчество писателя. Въ исторіи человѣческаго развитія совокупность всего играетъ весьма важную роль; малѣйшее наше дѣйствіе одновременно производитъ тысячу разныхъ послѣдствій, но мы часто въ состояніи прослѣдить лишь одно изъ нихъ. Да и то не всегда, потому что каждая болѣе грубая, болѣе видная нить поступковъ въ свою очередь распадается на безчисленные тонкія развѣтвленія и ниточки, преемственную связь которыхъ не въ состояніи уловить нашъ взоръ.

Напечатанная Горькимъ въ журналѣ „Семья“ автобіографія неполна, изобилуетъ большими пробѣлами и не даетъ возможности подробно прослѣдить постепенное развитіе писателя. Но что и онъ продуктъ обстоятельствъ жизни—изъ нея видно ясно \*.

Всѣмъ хорошо извѣстна печальная судьба русскихъ писателей; всѣ герои мысли, возросшіе на плодородной почвѣ этой страны, кончали плохо: если ихъ не ссылали въ Сибирь, или они не превращались въ бродягъ, то кончали сумасшествіемъ или самоубійствомъ. Судьба Горькаго также не изъ завидныхъ. Но если онъ въ „Читателѣ“ задаетъ себѣ вопросъ: „Что я могу сказать людямъ? То, что уже давно говорили имъ и всегда говорятъ“,—то это лишь изъ излишней скромности. Впрочемъ, въ „Проходимцѣ“, „Коноваловѣ“ и „Омѣ Гордѣевѣ“ онъ нѣсколько разъ настойчиво возвращается къ той же мысли.

Но это лишь доказываетъ, что Горькій не знаетъ себѣ цѣны, потому что въ русской литературѣ онъ явленіе особое и совершенно новое. Онъ не альтруистъ, какъ Достоевскій, и не могучій потрясатель сердецъ, какъ Толстой. Но если къ вышеупомянутымъ качествамъ прибавить суровость Щедрина, объективность Гончарова, лиризмъ Тургенева, силу настроенія Короленко, сатирическую жилку Чехова и, наконецъ, экстрактъ Ницшеанской и Штирнеровской философіи, то получатся при-

---

\*) Выпускаемъ здѣсь пересказъ извѣстной русскому читателю біографіи Горькаго.



близительно наиболее характерны для творчества Горького черты. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что онъ лишь счастливый конгломератъ особенностей этихъ писателей; вѣрнѣе, онъ самъ совершенно особенный. Въ немъ такая смѣсь животнаго и человѣчнаго, философа и ребенка, ангела и бестіи, короля и нищаго, сатирика и меланхолика, обвинителя и защитника, меча и пламени, — что въ немъ, точно въ зажигательномъ стеклѣ сосредоточиваются и рефлектируются свойства каждой индивидуальности и врядъ ли найдется хоть одинъ великій славянинъ, съ которымъ у него не было бы чего-либо общаго.

Въ Горькомъ есть что-то романтическое, если можно такъ назвать жажду приключеній и любовь къ необычному. Но мнѣ сдается, что его презрительное отношеніе къ нормальной, мѣщанской жизни, жизни, втиснутой въ извѣстныя рамки быта, скованной цѣпями законности, въ которой каждое отдѣльное лицо занимаетъ лишь извѣстное, отведенное ему мѣсто и связано по рукамъ и ногамъ общественными условіями, — это отношеніе вытекаетъ не только изъ его склонности къ романтизму, но также изъ глубокаго стремленія къ истинѣ, „единственной женщинѣ, которую люди не желаютъ лицезрѣть обнаженной“, и къ свободѣ, — „женщинѣ, опьяненной жадной революціи и подстерегающей ее на улицахъ“ ни та, ни другая не находятъ себѣ пристанища въ городахъ, гдѣ почетное мѣсто предоставлено тупости и безумію.

Но на ряду съ романтизмомъ въ произведеніяхъ Горькаго ярко проступаетъ и наклонность къ реализму. Кромѣ того, его можно назвать и стойкомъ, но безъ присущаго послѣднему отсутствія всяческихъ потребностей; онъ горячій противникъ собственности, потому что она дѣлаетъ человѣка внутренно несвободнымъ и зависимымъ отъ разныхъ земныхъ благъ, надъ которыми онъ въ сущности долженъ стоять какъ можно выше. Чувство, похожее на аристократизмъ, заставляетъ его презирать закоснѣлое мѣщанство, цѣпляющееся за рубли и копейки и видящее цѣль жизни въ питьѣ и ѣдѣ.

Натуры исключительныя, каковы Проходимецъ, Тома Гордѣвъ, Челкашъ, Емельянъ Пиляй, Ханъ и его сынъ и многіе

другіе — доставляютъ автору неизъяснимое наслажденіе; это люди, похожіе на гигантскія развалины, внушающіе невольное уваженіе и заставляющіе любоваться собою подобно руинамъ. Но въ то же время Горькій не поклонникъ плебейскаго пролетаріата, способнаго на попрошайничество и не умѣющаго протестовать; людей, копошащихся въ грязи и поклоняющихся золотому тельцу, добывающихся исключительно благъ земныхъ, онъ глубоко презираетъ, будь это и пролетаріи. Его идеаль — хищное животное (Артемъ и Каинъ, „Бывшіе люди“), чело-вѣкъ — господинъ, въ какихъ бы онъ ни былъ лохмотьяхъ, ясно сознающій свое могущество (Серезжа и Мальва), даже убійца, какъ его понимаетъ Ницше (Челкашъ); онъ ненавидитъ все, что такъ или иначе походить на нищаго, въ немъ нѣтъ жалости къ малодушью людей, проводящихъ жизнь за производствомъ дѣтей, а потомъ за собираніемъ милостыни для нихъ. Одинокія, личности, рассчитывающія лишь на собственные силы, сверхчеловѣки, королевскіе тигры, бродяги, невозбранно кочующіе по степямъ и съ негодованіемъ взирающіе на копошащихся червей, проходимцы, которыхъ никакое горе не принижаетъ, а какъ бы только ласкаетъ.

И, несмотря на несомнѣнность симпатій, Горькій умѣетъ оставаться по отношенію къ созданнымъ имъ типамъ на извѣстномъ разстояніи; часто у него находится для нихъ лишь ироническая улыбка, но за нею чувствуется горячее сочувствіе (Варенька Олесова). Его иронія напоминаетъ Гейне, который подсмѣивался надъ своими идеалами и въ то же время истекалъ кровью отъ любви къ нимъ.

Описанія моря Горькаго также нѣсколько напоминаютъ манеру Гейне; какъ Гейне былъ лирикомъ могучей стихіи, такъ Горькаго можно было бы назвать эпическимъ повѣствователемъ ея... („Челкашъ“, „Пѣсня о Соколѣ“, „Буревѣстникъ“, „На плотахъ“ (?) и т. д. Наиболее ярко выразилась любовь писателя къ морю въ рассказѣ „Мальва“; основной мотивъ его — любовь отца и сына къ одной и той же женщинѣ — сильно напоминаетъ сюжетъ другого его рассказа „Ханъ и его сынъ“. Мальва — символъ моря, моря, не имѣющаго родины,

жоварнаго, причудливаго, величественно-прекраснаго и увлека-  
тельнаго по своей примитивной силѣ и страшной переменчи-  
вости настроеній, въ неизмѣримой глубинѣ котораго таится  
множество загадокъ. Природа у Горькаго всегда одушевлена,  
какъ на картинахъ Бёклина; у него даже неподвижные утесы  
чувствуютъ и думаютъ свою думу, облака сознательно прини-  
маютъ тѣ или инныя очертанія и само небо служитъ лишь  
отраженіемъ происходящаго въ душѣ читателя. Ни въ шумѣ  
деревьевъ, ни въ стоѣ вѣтра для него нѣтъ тайны. Чув-  
ствуется, что онъ благоговѣйно любитъ природою и изобра-  
жаетъ ее лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда она кажется ему одѣ-  
ленной душою, одухотворенной и доступной человѣческому  
пониманію; въ такія минуты на душѣ у человѣка становится  
свѣтло, отрадно и въ сердцѣ живо лишь одно желаніе мечтать  
и размышлять на лонѣ природы, давшей ему жизнь. Эта черта  
придаетъ многимъ изъ произведеній нашего автора что-то уди-  
вительно поэтическое и нѣжное и въ то же время сильное и  
могучее; изъ подобнаго соединенія получаются маленькіе ше-  
девры, исполненные въ стилѣ алфреско, таковы, напр., „Старуха  
Изергиль“, „Неразлучные“, „Пѣсня о соколѣ“, „Ханъ и его  
сынъ“, „Буревѣстникъ“ и т. д. Нѣкоторая приподнятость тона  
дѣлается изъ нихъ стихотворенія въ прозѣ. Иногда, какъ, напр.,  
въ „Буревѣстникѣ“ или „Пѣснѣ о соколѣ“ языкъ подни-  
мается до такого пафоса, равный которому можно найти  
только въ псалмахъ; это столь же пламенный гимнъ сво-  
бодѣ, какъ и потрясающій, словно трубный звукъ, кличъ  
Гейне „Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme!“ Но въ  
общемъ языкъ Горькаго великъ именно своей простотой и  
поражаетъ своей безыскусственностью. Нигдѣ, даже въ наи-  
болѣе драматическихъ мѣстахъ, у него не встрѣтишь напы-  
щеннаго выраженія чувствъ, готовыхъ разорвать грудь, ни  
одного изысканнаго краснаго словца, искусственнаго сочетанія  
или сліянія словъ.

Горькій послѣдователь Ницше не только въ своемъ пре-  
зрѣніи къ *misera plebs*, но и по своему отношенію къ пре-  
ступленію, совѣсти, состраданію, трусости и т. д. Привожу

лишь слѣдующія цитаты, заимствованныя отчасти изъ „Θомы Гордѣва“, отчасти изъ „Проходимца“.

— „Тогда готовъ за кусокъ хлѣба убить человѣка, ребенка... на все готовъ,—въ этой готовности къ преступленію есть своя особая поэзія... это очень цѣнное ощущеніе, и, переживъ его, больше уважаешь себя“.

— „Хорошій подлецъ всегда лучше плохого честнаго человѣка“.

— „Потому что люди всегда жалости достойны... а больше всего именно тогда, когда они другихъ жалѣютъ“.

— „Я насчетъ того больше, что очень ужъ не мудро это самое благотворительное дѣло... и даже, какъ я скажу, что не дѣло это, а одни вредные пустяки“.

— „А уважаютъ только тѣхъ, кого побаиваются“.

Но по своему взгляду на женщинъ Горькій полная противоположность Ницше и въ этомъ отношеніи его скорѣе можно было бы поставить на ряду съ Гёте.

„Любовь къ женщинѣ,—говоритъ онъ,—всегда плодотворна для мужчины, какова бы она ни была, даже если она даетъ только страданія — и въ нихъ всегда есть много цѣннаго. Являясь для больного душой сильнымъ ядомъ, для здороваго любовь—какъ огонь для желѣза, которое хочетъ быть сталью“...

Къ женщинѣ, чувство которой поругано и растоптано, къ продажной дѣвкѣ, Горькій относится съ такимъ же глубокимъ сожалѣніемъ и такимъ же уваженіемъ, какъ и Достоевскій. Въ разсказѣ „Болесь“ онъ изображаетъ проститутку, которая для того, чтобы быть въ состояніи перенести весь ужасъ и пустоту своей жизни, создаетъ въ своемъ воображеніи идеальнаго человѣка, пишетъ ему пламенные любовныя посланія, а потомъ сама же себя отвѣчаетъ на нихъ.

Поцѣлуи другой такой же дѣвушки въ „Однажды осенью“ Горькій считаетъ „лучшими поцѣлуями“ въ жизни. Да и Коноваловъ, этотъ „взрослый ребенокъ“, находитъ въ гуляшей дѣвкѣ единственнаго человѣка, къ которому привязывается и изъ-за котораго гибнетъ (?).

То же въ „Ѳомѣ Гордѣевѣ“: продажная женщина является для него самымъ дорогимъ въ мірѣ существомъ, лучшей женщиной, на груди которой онъ даетъ волю слезамъ, тоскѣ и жадѣ истинной дружбы.

Но не однѣ заклеименныя творенія находятъ себѣ пріютъ въ душѣ Горькаго; не только полнымъ вниманіемъ, но какимъ-то поистинѣ проникновеннымъ отношеніемъ пользуются съ его стороны и нищіе, пьяницы, мошенники, воры и убійцы. Познакомился онъ съ ними, шатаясь по большимъ дорогамъ въ поискахъ за заработкомъ и пропитаніемъ и съ тѣхъ поръ заключилъ ихъ въ свое сердце; тѣ, что двигаются по ровному пути, счастливые, не удѣляютъ этимъ несчастнымъ никакого вниманія, за что писатель почти что ненавидитъ ихъ.

Часто Горькій исключительно изъ желанія пойти на перекоръ выслужившимся, изъ желанія обидѣть пошляка и швырнуть въ фізіономію мѣщанамъ новое оскорбленіе, преклоняется передъ паріями общества и осыпаетъ мелочныхъ торгашей нравственности жестокими, подчасъ совершенно излишними, ударами бича.

Во всякомъ случаѣ, Горькаго заставила взять въ руки перо не одна только потребность творить, потому что въ сущности фантазіи у него мало. Но все необыкновенное, что ему пришлось видѣть, всѣ ужасы, которые самъ испыталъ, приключенія, которыя пережилъ, нуждались въ огласкѣ, мучительно рвались на свѣтъ Божій; такимъ образомъ возникли „Бывшіе люди“. Въ этомъ разсказѣ еще виденъ писатель, не имѣющій ни малѣйшаго понятія о композиціи, необходимости сжатой формы, о тонкостяхъ техники, незнакомаго съ фразой, чуждаго пафоса, не обладающаго ни малѣйшимъ опытомъ, словомъ, писателя, для котораго существуютъ какія бы то ни было законы художественности и навѣрное ни разу еще не наслаждавшагося чтеніемъ эстетики; зато у него изумительное богатство оригинальныхъ мыслей, въ которыя онъ умѣетъ вдохнуть жизнь и воплотить. Благодаря богатому запасу картинъ и образовъ, подчасъ прямо ужасающихъ, но всегда заимствованныхъ изъ непосредственно видѣннаго и пережитаго, онъ почти не

пользуется абстрактными вымыслами. Горькій никогда не молить, подобно Достоевскому, простить виноватыхъ, пожалѣть несчастныхъ и заблудшихся и направить ихъ на путь истинный,—въ нарушеніи свода законовъ онъ никого не считаетъ виновнымъ и его несчастные не нуждаются въ нашей помощи; въ горнилѣ горя они закаляются и становятся выше всѣхъ условныхъ понятій и предрасудковъ; у него не достойные сожалѣнія падшіе люди, а царственно-героическія натуры, вынужденныя шататься по проѣзжимъ дорогамъ въ сообществѣ всякаго сброда, потому что рамки мѣщанскаго благополучія для нихъ слишкомъ узки и слишкомъ мелки. Артемъ въ чудномъ разсказѣ „Артемъ и Каинъ“ классическій типъ подобныхъ людей. Какъ жалкая противоположность ему выведенъ трусливый человѣчишко съ собачьей душой, котораго всякая дрянь можетъ одѣлать пинками. И какими смѣшными кажутся намъ покорность и любовь Каина въ своему мучителю Артему! но въ то же время онъ возбуждаетъ въ насъ и жалость. Въ этомъ разсказѣ Горькій совершаетъ прямо чудо: несмотря на смѣхъ, мы, читая описаніе того, какъ Каинъ въ дождь и холодъ цѣлую ночь напролетъ просиживаетъ надъ избитымъ почти до смерти своимъ бывшимъ врагомъ Артемомъ, съ тѣмъ, чтобы ходить за нимъ, напоить и накормить его, когда онъ придетъ въ себя, мы потрясены до глубины души; искренняя молитва Каина за своего обидчика производитъ прямо-таки трагическое впечатлѣніе и заставляетъ вспомнить Покровскаго и Идіота Достоевскаго.

Чтобы заставить читателя пережить нѣчто, надо, чтобы самъ писатель былъ воодушевленъ любовью къ изображаемому предмету; если же, описывая что нибудь отвратительное, онъ все же сумѣетъ потрясти насъ, то это будетъ значить, что по той или иной причинѣ, это отвратительное кажется ему значительнымъ и онъ открылъ въ немъ такія стороны, которыя заставили его интересоваться имъ. Два разныхъ автора, напр., изображая пьяницу, только тогда вполне исчерпаютъ сюжетъ, если будутъ охвачены сильнымъ чувствомъ, причемъ оно можетъ быть положительнымъ или отрицательнымъ; другими сло-

вами, одинъ изъ нихъ можетъ относиться къ пьяницѣ съ чувствомъ величайшаго отвращенія (Зола, напр.), а другой съ чувствомъ величайшаго сожалѣнія (Достоевскій, Щедринъ и др.). У Горькаго же отвращеніе и сожалѣніе сплавляются въ одно сильное чувство и это придаетъ его пьяницамъ въ „Бывшихъ людяхъ“ ту ярко-реальную окраску, благодаря которой они стоятъ передъ нами какъ живые и возбуждаютъ въ насъ чувство полнѣйшей симпатіи. Горькій не анализируетъ и не разсуждаетъ, и его философія въ этомъ отношеніи всегда безыскусственна и проста. „Люди, мой прекрасный болванъ, судятъ о всѣхъ вещахъ по ихъ формѣ, сущность же вещей имъ недоступна по причинѣ врожденной людямъ глупости“, — говоритъ Аристидъ Кувалда, гордый содержатель жалкаго притона, отечески заботящійся о своихъ пропойцахъ.

Отвратительнаго враля онъ характеризуетъ такъ: „Воображеніе этого человѣка было неизсякаемо и могуче — онъ могъ сочинять и говорить цѣлый день съ утра и до вечера и никогда не повторялся. Въ лицѣ его погибъ, быть можетъ, крупный поэтъ, въ крайнемъ случаѣ, недюжинный разсказчикъ, умѣвшій все оживлять и даже въ камни влагавшій душу своими сверлыми, но образными и сильными словами“.

Для бродягъ у Горькаго находятся слѣдующія теплыя слова: „Могло быть, что, говоря такъ, думали иначе. У этихъ людей была одна смѣшная черта: они любили показать себя другъ другу хуже, чѣмъ были на самомъ дѣлѣ. Человѣкъ, не имѣя въ себѣ ничего хорошаго, иногда непрочъ порисоваться и своимъ дурнымъ“.

Какъ видно, онъ хорошо знаетъ своихъ товарищей по несчастью. Съ ними онъ у себя и въ ихъ изображеніи его настоящая сила. Онъ симпатизируетъ даже убійцѣ (Емельянъ Пиляй), относится и къ нему по-братски и открываетъ въ немъ мягкость, доброту и готовность спасти человѣка. То, что говорить Достоевскій въ своихъ „Запискахъ изъ мертваго дома“ о каторжникахъ, смѣло можно отнести и къ персонажамъ Горькаго. Нерѣдко случается, что въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ знаешь въ тюрьмѣ человѣка и считаешь его презрѣнной бе-

стей; и вдругъ наступаетъ такой моментъ, когда скрытыя до-  
толь душевныя его свойства прорываются наружу, и въ немъ  
открывается такое богатство чувства и доброты, такое глубо-  
кое пониманіе собственныхъ и чужихъ страданій, что съ глазъ  
точно пелена спадаетъ.

Въ разсказѣ „Бывшіе люди“ у Горькаго замѣчаются тѣ же  
недостатки, что и у Достоевскаго — неумѣнье компановать,  
вслѣдствіе чего богатый матеріалъ расплывается и размѣни-  
вается на обстоятельныя характеристики людей; поступки ихъ  
рассказываются обстоятельно, съ видимымъ удовольствіемъ,  
хотя между собою связаны лишь поверхностно, такъ что чи-  
татель въ концѣ концовъ запутывается въ толчеѣ дѣйствую-  
щихъ лицъ.

Лучше всего скомпанованъ романъ „Ѳома Гордѣевъ“. Герой,  
сынъ богатаго купца, въ которомъ въ какомъ-то странномъ  
хаосѣ перемѣшаны дикость и необузданная сила древняго бо-  
ярина, мистицизмъ героя „Мистерій“ Кнута Хамсуна - Нагеля,  
и унаслѣдованная отъ матери меланхолія („она всегда думала  
о чемъ-то, точно чуждомъ жизни, и въ голубыхъ ея глазахъ,  
всегда холодно-спокойныхъ, порой сверкало что-то темное, не-  
людимое“). Ѳома Гордѣевъ — воплощеніе злосчастной половинча-  
тости людей. Не понимая жизни, онъ начинаетъ считать ее  
сфинксомъ, преслѣдующимъ его шагъ за шагомъ и вливаю-  
щимся въ него громадными, жуткими глазищами, въ которыхъ  
таятся вѣчные вопросы: „Для чего мы живемъ? Куда спѣшимъ?  
Какое значеніе имѣетъ лично мое существованіе или гибель?  
Смотримъ мы на себя и все же не знаемъ, что мы въ сущ-  
ности такое представляемъ изъ себя? кто мы?“ Ѳома видитъ  
и ощущаетъ иначе, нежели окружающіе его люди, гораздо  
тоньше ихъ; жизнь производитъ на него дѣйствіе скрытыхъ  
булавочныхъ уколовъ, его мучаютъ вещи, кажущіяся другимъ  
пустяками и тогда, когда онъ понимаетъ себя и свои поступки,  
то онъ перестаетъ понимать другихъ людей, побудительныя при-  
чины, заставляющія ихъ дѣйствовать такъ или иначе, ихъ  
образъ жизни, и онъ напрасно мучается надъ разрѣшеніемъ  
вопросовъ, которые перешли къ нему съ кровью матери. Истед-



занный и израненный грубостью жизни, онъ безъ отдыха носится на своихъ пароходахъ по морямъ (?!!), словно странствующій голландецъ или таинственный Агасееръ, чтобы въ концѣ концовъ стать посмѣшищемъ для всѣхъ и въ качествѣ непризнаннаго и изгнаннаго пророка погибнуть въ сумасшествіи. Жизнь онъ ненавидитъ и презираетъ, потому что въ ней царитъ ложь и нѣтъ правды. Поэтому-то онъ выступаетъ въ качествѣ обличителя и является родственнымъ Идіоту Достоевскаго съ его святымъ идеализмомъ, изумительно наивностью не отъ міра сего, чисто дѣтской душой и вѣчными поисками „человѣка“ среди людской толпы.

Еще общее съ Идіотомъ Достоевскаго и Нагелемъ Кнута Хамсуна, у Ѳомы Гордѣва какое-то внутреннее ясновидѣніе, какая-то таинственная сила, дарующая какъ бы способность провидѣнія, способность внезапно прозрѣвать и угадывать никому недоступныя глубины своей собственной души и тотчасъ же съ поразительной ясностью уразумѣть всю ея исторію, духовно пережить цѣлую трагедію и, испугавшись самого себя, бросаться изъ одной крайности въ другую.

Однажды Щуровъ, разбогатѣвшій каторжникъ, говоритъ ему: „Богъ человѣка зачѣмъ создалъ? А чтобы человѣкъ ему молился... Онъ одинъ былъ и было ему одному-то скучно... Ну, и захотѣлось власти... А какъ человѣкъ созданъ по образу, сказано, и по подобію Его, то человѣкъ власти хочетъ... А что, кромѣ денегъ, власть даетъ?“ Богъ, которому на глазахъ Ѳомы поклоняются рѣшительно всѣ, зовется деньгами и только у продажныхъ женщинъ онъ замѣчаетъ подъ слоемъ всяческихъ осадковъ истинныя чувства. И вотъ онъ, самъ обойденный жизнью, истинный аристократъ, не умѣющій приспособляться и, какъ ребенокъ, задающій каждому встрѣчному вопросъ: „Скажи, братъ, что сдѣлать, чтобы жизнь имѣла внутренній смыслъ?“—чувствуетъ свою духовную связь съ отщепенцами общества. Но здѣсь, намъ кажется, мы имѣемъ дѣло уже съ личностью самого автора. Въ своей исповѣди въ разсказѣ „Читатель“ онъ говоритъ: „Въ душѣ моей много ненависти, она постоянно тлѣетъ тамъ... иногда вспыхиваетъ яркимъ огнемъ“

гнѣва; но еще больше сомнѣній въ душѣ моей. Порой они такъ потрясаютъ мой умъ, такъ давятъ сердце, что долгое время я существую внутренно опустошенный...“ И дальше: „Мнѣ нуженъ учитель, потому что я человѣкъ; я запутался во мракѣ жизни и ищу выхода къ свѣту, къ истинѣ, красотѣ, къ новой жизни,—укажи мнѣ пути! Я человѣкъ — ненавижу меня, бей, но извлекай изъ тины моего равнодушія къ жизни! Я хочу быть лучшимъ, чѣмъ есть,—какъ это сдѣлать? Учи!“

Эти мысли вполне тождественны съ рѣчами Өомы Гордѣева, слѣдовательно, Горькій въ немъ вывелъ самого себя (?) и воплотилъ тайну души своей. Это произведеніе можно было бы назвать отчаяннымъ воплемъ тоски по истинѣ.

Замѣчу еще мимоходомъ, что первыя слова Өомы Гордѣева до такой степени напоминаютъ сцену въ „Мистеріяхъ“ Хамсуна, когда Нагель выступаетъ на защиту всѣми отверженного человѣка, что съ большою вѣроятностью можно предположить, что Горькій хорошо знакомъ съ нимъ.

Коноваловъ, Митрій („На плотяхъ“), Мишка („Застѣжки“), Уповающій („Дружки“) и въ значительной степени башмачникъ Орловъ родственны по духу съ Гордѣевымъ.

Всѣ эти люди захвачены одной и той же темной волной, которая гонитъ ихъ впередъ. Большею частью они топятъ свое отвращеніе къ жизни въ водѣ или заглушаютъ страхъ, внушаемый имъ ея загадочностью, вызывающими рѣчами, и смѣло бросаются въ самую середину теченія, которое въ концѣ концовъ уничтожаетъ ихъ.

Несмотря на то, что въ „Бывшихъ людяхъ“ Горькаго можно упрекнуть за отсутствіе логики, въ недостаточной сжатости изложенія, отсутствіи внутренней связи между отдѣльными частями—все же этотъ разсказъ настолько оригиналенъ и великъ какъ по мысли, такъ и по исполненію, что его смѣло можно поставить наравнѣ съ произведеніями Достоевскаго. Тѣми же достоинствами, но безъ прежнихъ недостатковъ, отличаются „Супруги Орловы“. Психологія здѣсь тоньше и глубже, а выведенныя лица очерчены еще пластичнѣе, если это возможно. И опять—таки Горькій и тутъ своею любовью возно-

силь униженных и оскорбленных обществом на недостижимую поэтическую высоту.

Въ супругахъ Орловыхъ выведены два человека не только живущихъ въ ямѣ, но вся жизнь которыхъ подобна этой ямѣ; они не умѣютъ выкарабкаться изъ нея, не могутъ разобраться въ глубинахъ и противорѣчiяхъ своихъ душъ и вслѣдствiе этого ненавидятъ другъ друга, мучаютъ, хотя въ сущности глубоко любятъ. „Знаю, что ты у меня одна душа... — говоритъ онъ женѣ, — ну, не всегда я это помню. Понимаешь, Мотря, иной разъ глаза бы мои на тебя не смотрѣли! Вродѣ какъ бы объѣлся я тобою. И подступить мнѣ подъ сердце въ ту пору такое зло—разорвалъ бы я тебя, да и себя заодно. И чѣмъ ты передо мной правѣе, тѣмъ мнѣ больше бить тебя хочется“. Оба они съ фатальнымъ равнодушиемъ влечутъ свое жалкое существованiе изо дня въ день и, благодаря скрытности и всяческимъ суевѣрiямъ, недоступны никакимъ утѣшенiямъ и никакому просвѣтленiю. Съ грѣхомъ пополамъ скрываютъ они за искусственною храбростью тайное бѣшенство, совершаютъ даже подвиги, но только потому, что не сознаютъ опасности. Любовь вслѣдствiе взаимнаго непониманiя постепенно переходитъ въ ревность, недовѣрiе и подозрѣнiя, за которыми слѣдуютъ побои, а тѣ въ свою очередь вызываютъ потребность примиренiя и любви. Своихъ хорошихъ поступковъ они стыдятся, надъ собственными страданiями издѣваются, содрогаются при мысли о смерти, считая ее чѣмъ-то вродѣ жестокаго чуда и, несмотря на это, даже передъ лицомъ ея не утрачиваютъ прирожденнаго юмора. Въ душахъ у нихъ звучить странная музыка, симфонiя, основной мелодiи которой они не умѣютъ распознать; въ сердцахъ живетъ жажда вознестись къ небу. а между тѣмъ, они безъ толку копошатся на землѣ и жалко гибнутъ. Имъ хочется летать, но у нихъ, какъ у неуклюжихъ пингвиновъ, нѣтъ крыльевъ; ихъ ощущенiя подобны дикому хаосу, въ который писатель погружается съ любовью, чтобы на нашихъ глазахъ освѣтить его и внести въ него хоть нѣкоторую ясность.

Очень характерно для манеры Горькаго, его своеобразнаго

стиля со множеством многоточій, его психологіи, языка и логики слѣдующее мѣсто: „Такъ мнѣ тошно! Такъ мнѣ тѣсно на землѣ! Вѣдь развѣ это жизнь? Ну, скажемъ, холерные,— что они? Развѣ они мнѣ поддержа? Одни помрутъ, другіе выздоровѣютъ... а я опять долженъ буду жить. Какъ жить? Не жизнь—однѣ судороги... развѣ не обидно это? Вѣдь я все понимаю, только мнѣ трудно сказать, что я не могу такъ жить... а какъ мнѣ надо—не знаю! Ихъ, вонъ, лѣчать и всякое имъ вниманіе... а я здоровый, но ежели у меня душа болитъ, развѣ я ихъ дешевле. Ты подумай—вѣдь я хуже холернаго... у меня въ сердцѣ судорога—вотъ въ чемъ гвоздь!.. А ты на меня кричишь?.. Ты думаешь я звѣрь? Пьяница—и все тутъ? Эхъ ты... баба ты! Деревянная...“

Въ „Серебряныхъ застѣжкахъ“, „Проходимцѣ“ и „Бывшихъ людяхъ“ онъ поетъ такой же гимнъ бродягамъ и людямъ, имѣющимъ отдаленное сходство съ вѣчнымъ жидомъ. Въ „Проходимцѣ“ у Горькаго выведенъ философствующій король нищихъ, эксплуатирующій въ свою пользу великодушіе и глупость мужиковъ,—„ибо что есть мужикъ? Мужикъ есть для всѣхъ людей матеріалъ питательный, сирѣчь — съѣдобное животное“, а потомъ проводить время, предаваясь праздности и размышленіямъ. Устами этого проходимца Горькій высказываетъ мысли, которыя иначе никогда не могли бы быть произнесенными въ странѣ съ столь строгой цензурой. Это произведеніе богаче другихъ мыслями и въ то же время причудливѣе, проникнуто необыкновеннымъ юморомъ и чисто Гоголевской сатирой.

Если послѣ чтенія „Бывшихъ людей“, „Супруговъ Орловыхъ“ и „Проходимца“ перейти къ разсказу „Варенька Олегова“ и предъявить къ нему тѣ же требованія, что и къ остальнымъ произведеніямъ Горькаго, то разочарованіе неизбежно. Несомнѣнно, что и въ немъ разбросано множество красотъ и сильныхъ мѣстъ, но въ сравненіи со всѣмъ остальнымъ, что имъ написано, онъ стоитъ гораздо ниже. Главными лицами разсказа являются Варенька и Ипполитъ Сергѣевичъ Полкановъ.

• Варенька удивительно красивое и оригинальное существо, опьяненное жадой чисто физической жизни, но совершенно не облагороженное разумомъ. Это женскій типъ протестующихъ, нѣкоторымъ образомъ Артемъ или Челкашъ, переодѣянные на женскій ладъ, и съ примѣсью капельки романтизма. Она — *enfant terrible* съ здоровыми чувствами, не умѣющая обуздывать своихъ инстинктовъ, безпощадная, но не эгоистичная („А по моему—хочется вамъ стѣснить—стѣсните, хочется быть несправедливымъ—будьте!“). Это женщина—мужчина, въ которой жизнь бьетъ ключомъ, обладающая смѣлостью и силой; что-то напоминаетъ въ ней дикую кошку. Въ романахъ, которые она читаетъ, ей больше всего нравятся злодѣи въ духѣ Ницше, а люди добродѣтельные ей невыносимы; своихъ слугъ она стегаетъ хлыстомъ и бьетъ по лицу, такъ какъ не признаетъ равноправности людей. („А если ужъ борьба, значитъ—нужны побѣжденные“). Дитя природы, „очаровательное чудовище“, она со всею непосредственностью дикарки влюбляется въ конокрада за его смѣлость, не признаетъ никакихъ приличій и условностей и вообще производитъ впечатлѣніе лѣснаго цвѣтка.

Ея партнеръ — молодой приватъ-доцентъ и матеріалистъ. Ему, чтобы отдѣлаться отъ какого-нибудь чувства, необходимо сначала опредѣлить его, втиснуть въ рамки своего міровоззрѣнія; даже чувство красоты онъ пытается анализировать какъ чисто фیزیологическое ощущеніе. Мыслитель робкій, онъ лишень всякой склонности къ метафизикѣ и вслѣдствіе постоянныхъ размышленій никогда не доходитъ до дѣла; натура отнюдь не импульсивная, а чисто рефлекторная; даже любовь не дѣйствуетъ на него подобно вихрю, захватывающему всѣ чувства.—ей приходится сначала вести борьбу съ его сердцемъ, раньше чѣмъ пустить въ немъ ростки, а потомъ, когда она уже всецѣло овладѣваетъ имъ, Ипполитъ Полкановъ, какъ Сергѣй Ивановичъ въ „Аннѣ Карениной“ Толстого пропускаетъ удобный моментъ и вмѣсто того, чтобы сказать „я люблю тебя“, задыхаясь отъ страсти, спрашиваетъ: „Что съ вами?“ А когда Варенька, которая сама не понимаетъ себя какъ жен-

шину, забрасывает его вопросами, которые могли бы облегчить ему признаніе, онъ затаиваетъ отвѣтъ, самъ запрашивающійся на уста, въ глубинѣ души... а вѣдь онъ могъ бы дать ему счастье! Но приватъ-доцентъ не можетъ не привести въ извѣстную систему свои чувства, не втиснуть ихъ подъ прессъ все-разлагающаго разума, иначе ему будетъ не по себѣ. Вопреки царящему въ его собственной душѣ сумбуру, онъ не вѣритъ въ сложность человѣческой психики.

Несмотря на изобиліе остроумныхъ замѣчаній и оригинальныхъ психологическихъ черточекъ, встрѣчающихся въ этомъ. какъ и во всѣхъ остальныхъ произведеніяхъ Горькаго, оно все же вылилось изъ души автора далеко не съ такою непосредственностью и свѣжестью, какъ упомянутые выше рассказы. Читая „Вареньку Олесову“, невольно начинаешь припоминать подобные мотивы, уже раньше затронутые въ литературѣ, а этого отнюдь нельзя было сказать по поводу прежнихъ произведеній. Если тѣ рассказы были набросаны со всею нетронутостью и отсутствіемъ всякой условности свойственными генію, то этотъ уже страдаетъ нѣкоторою переуточенностью. Въ тѣхъ было больше жизни, въ этомъ больше искусства—литературы. Хотя „Варенька Олесова“ и именуется рассказомъ, но я вижу въ ней жестокою сатиру и тѣ удары, которыми героиня одѣляетъ молодого приватъ-доцента, когда онъ въ одинъ прекрасный день видитъ ее совершенно нагую купающеюся въ рѣкѣ,—легко можно счесть за символическое выраженіе того, что наука никогда не разгадаетъ тайнъ природы и всегда будетъ побѣждена ею.

Въ рассказѣ „Старуха Изергиль“ Горькій чрезвычайно оригинально очерчиваетъ странный типъ отживающей житейницы степей. Ея выцвѣтшіе глаза какъ-то жутко вспыхиваютъ, когда она начинаетъ припоминать свое преисполненное бурь прошлое; загадочными словами передаетъ она чудное сказаніе, вплетая въ него исторію собственной жизни, и ея рассказъ звучитъ точно романтическій эпосъ жизни татаръ.

„Ошибка“,—исторія безумныхъ Кравцова и Ярославцева, напоминаетъ нѣсколько „Хорла“ Мопассана. И у Горькаго со-

шедшій съ ума человѣкъ сурово и съ негодованіемъ толкуеть о страданіяхъ духа и торжественно ждетъ всеобщаго человѣческаго счастья. И здѣсь, слѣдовательно, авторъ выступаетъ пророкомъ людей, раздавленныхъ жизнью. Зато въ разскаѣ „О чортѣ“ онъ издѣвается надъ ними, подобно Гансу Саксу въ его „*Narrenschneiden*“, но съ тою разницею, что у послѣдняго врачи, вырѣзавъ у больного всѣ недостатки, какъ-то: заносчивость, скупость, злобу, пьянство и т. д., возвращаютъ ему полное здоровье; а у Горькаго какъ разъ наоборотъ: его герой, послѣ того, какъ чортъ вырѣзываетъ у него изъ сердца честолюбіе, злобу и нервность, не можетъ долѣе существовать и неизбѣжно долженъ погибнуть. Въ этомъ онъ похожъ на „*Nonestus*“, Борне (1824). Русскій писатель осыпаетъ насмѣшками человѣчество, такъ какъ извѣрился въ его искренности, громкихъ словахъ о культурѣ, образованіи и жаднѣ силы.

Можетъ быть мысли Горькаго приняли мрачный оттѣнокъ и у него вырвался цинично-меланхолическій вздохъ: „Летай иль ползай, конецъ извѣстенъ: всѣ въ землю лягутъ, все прахомъ будетъ“, тогда, когда судьба сыпала на него ударъ за ударомъ. Вѣдь его, сокола, расправлявшего крылья, насильно вернули къ землѣ и ужъ, извивавшійся въ прахѣ, воспотржествовалъ. Но душа, порывавшаяся къ небу, вновь отважилась на смертельную борьбу — полетъ къ небу, — и всей земной рати пришлось завидовать и удивляться ему. А когда соколъ замертво упалъ въ море и оно поглотило его, волны занѣли: „Въ бою съ врагами истекъ ты кровью... Но будетъ время—и капли крови твоей горячей какъ искры вспыхнутъ во мракѣ жизни и много смѣлыхъ сердецъ зажгутъ безумной жадной свободы, свѣта!“

И—о чудо! Соколъ воскресъ и скоро онъ вновь взвѣется на недосыгаемыя высоты, онъ — царь-птица, и будетъ сверху взирать на все, что ползаетъ и стонетъ подъ нимъ. И всѣ будутъ прислушиваться къ взмаху его крыльевъ и кличь его найдетъ отзвукъ во всѣхъ сердцахъ. Сила гнѣва, пламень страсти и увѣренность побѣды будутъ слышаться въ этомъ крикѣ.

## Максимъ Горькій.

Статья Брандта въ Deutsche Rundschau № 8, 1902.

На горизонтѣ русской литературы появилась новая звѣзда, возбудившая не только въ Россіи, но и въ другихъ странахъ, вниманіе самыхъ разнообразныхъ круговъ. Окажется ли эта звѣзда въ концѣ концовъ планетой, или однимъ изъ тѣхъ свѣтилъ, времени отъ времени, и притомъ совершенно неожиданно, появляющихся на мѣстахъ дотогѣ пустовавшихъ, и возбуждающихъ своимъ сильнымъ свѣтомъ всеобщее удивленіе, а потомъ снова совершенно исчезающихъ или постепенно превращающихся въ звѣзды меньшей величины—остается нерѣшеннымъ; да въ сущности оно и безразлично, разъ идетъ рѣчь, какъ въ данномъ случаѣ, объ явленіи, объясненіе которому можно искать и найти въ окружающихъ обстоятельствахъ. Изъ безпріютнаго бродяги, испытавшаго самую глубокую нищету и испившаго чашу ея до дна; жившаго трудами рукъ своихъ, а можетъ быть правильнѣе было бы выразиться пробовавшего ими жить; товарищами и сожителями котораго въ продолженіе пятнадцати лѣтъ были такіе же бродяги, а иногда и худшіе проходимцы—Горькій сразу сдѣлался знаменитымъ и глубоко-чтимымъ писателемъ; имя его часто произносится наряду съ именами величайшихъ людей его родины, а иногда даже ставится выше ихъ. Что человѣкъ, вышедшій изъ подобной среды и отдавшій свой неоспоримый талантъ на описаніе бездомной нищеты, въ которой по своей же винѣ, быть можетъ и совершенно безвинно, бьются низшіе классы русскаго народа, не могъ остаться непричастенъ къ стремленіямъ, выразившимся за послѣднее время, какъ и раньше въ студенческихъ беспорядкахъ,—само собою понятно.

---

\*) Мы пропускаемъ въ этой статьѣ біографическія свѣдѣнія о Горькомъ, такъ же какъ и многочисленныя выписки изъ его сочиненій.



Было бы совершенно ошибочно приписывать тенденцію русской литературы послѣднихъ пятидесяти лѣтъ исключительно, или даже въ большей мѣрѣ, требованіямъ молодежи. Даже и политическія тенденціи на нее имѣли меньше вліянія, нежели это можетъ показаться на первый взглядъ. Скорѣе русская литература, въ своихъ здоровыхъ и, пожалуй, еще болѣе, въ ненормальныхъ проявленіяхъ, развилась на почвѣ взглядовъ массы русскаго народа, оставшейся совершенно нетронутой западно-европейскими идеями.

Неопредѣленная мечтательная тоска степного жителя, котораго лишь слегка коснулась культура, его бессознательная жажда и исканіе истины и свѣта, уже цѣлое столѣтіе какъ порождаютъ безчисленные секты, отпадающія отъ лона православной церкви; а любовь русскаго крестьянина къ землѣ придаетъ всей русской литературѣ извѣстную окраску, характеръ народности и силу. Отношеніе къ Матушкѣ-Волгѣ, могучей рѣкѣ, широкой степи и еще болѣе безграничному морю, попытка постичь непостижимое (какъ и все, чему знаніе не отвело границы) сердце крестьянина, придало русской литературѣ ея мечтательный, неопредѣленный, трудно уловимый, чтобы не сказать, неуловимый, оттѣнокъ, что такъ глубоко захватываетъ русскихъ читателей, да и на насъ Западно-Европейцевъ, болѣе критически настроенныхъ, тоже производитъ глубокое впечатлѣніе. Толстой въ этомъ отношеніи самое характерное явленіе современной литературы и мы сдѣлаемъ попытку доказать на его примѣрѣ то, что почти невозможно выразить вообще. Большое заблужденіе видѣть въ Толстомъ новатора, учителя, вожака и пророка новой религіи; наоборотъ, онъ одинъ изъ самыхъ интересныхъ примѣровъ духовнаго возвращенія къ старому; такого возвращенія, когда человѣкъ отказывается отъ всего развитія и всѣхъ пріобрѣтеній прошедшихъ столѣтій и стремится вернуться къ первобытному состоянію, или къ состоянію, наиболѣе близкому къ нему. Но даже и въ этомъ отношеніи Толстой не самобытенъ, а является лишь послѣдователемъ всѣхъ своихъ многочисленныхъ предшественниковъ на родинѣ.

Правда, что никто изъ русскихъ писателей не послѣдовалъ за нимъ по пути христіанскаго анархизма. Соціальныя тенденціи, временами проскальзывающія въ ихъ произведеніяхъ, все же ближе къ коммунистическому направленію и оно то именно и повліяло на міровоззрѣніе Горькаго, такъ какъ почва, на которой только и могъ этически развиваться русскій народъ-земля.

Въ разсказахъ молодого писателя громадную роль играетъ водка, но на ряду съ ней мы находимъ у него чудныя изображенія неопредѣленной тоски, побуждающей каждаго русскаго простолюдина искать чего-то иного, высшаго, пробуждающаго въ немъ любовь и пониманіе безконечныхъ морскихъ и степныхъ пространствъ, далей, если можно такъ выразиться; любовь эта отрываетъ крестьянина отъ его поля, а бродягу отъ только что найденной работы, и она-то составляетъ пропасть, отдѣляющую босяка по природѣ отъ другихъ классовъ населенія, и заставляющая его гордо смотрѣть сверху внизъ на собственниковъ и людей, работой приобрѣтающихъ имущество. Русская критика часто упрекала Горькаго за то, что выводимыя имъ лица не взяты изъ жизни, а якобы выдуманы, чтобы съ помощью ихъ и на нихъ такъ сказать демонстрировать теорію Ницше; я думаю, что этотъ упрекъ несправедливъ: правда, герои его разсказовъ часто разсуждаютъ о вещахъ, которыя, повидимому, должны быть весьма чужды ихъ средѣ, но не надо забывать, что именно бродяги-то и имѣютъ возможность сталкиваться съ опустившимися интеллигентами и такимъ образомъ подхватывать мысли и фразы, совершенно чуждыя не только крестьянамъ, но даже и мелкимъ собственникамъ, всѣ помыслы которыхъ вращаются въ весьма ограниченныхъ сферахъ. Но и помимо этого было бы большимъ заблужденіемъ думать, что ни одинъ изъ всѣхъ вопросовъ, занимающихъ умы ученыхъ, не шевелится въ душѣ простолюдина; наоборотъ, и въ средѣ народа они занимаютъ какъ отдѣльныхъ личностей, такъ и толпу; но ихъ разработка и способъ выраженія совершенно иные. У дикарей, только что вступающихъ на самыя первыя ступени культуры, и у тѣхъ

слагаются свои собственные воззрѣнія на жизнь, смерть и загробное существованіе; почему же русскому бродягѣ во время своихъ шатаній все же слегка касающагося границъ цивилизации, не имѣть своихъ взглядовъ на цѣли бытія и причины классовыхъ различій?

Изъ произведеній Горькаго на нѣмецкомъ языкѣ появились его крупныя и мелкія рассказы и два романа. Дѣйствіе большинства рассказовъ происходитъ въ мірѣ босняковъ, хорошо знакомаго автору по собственному опыту, который онъ чудно изображаетъ. По всѣмъ вѣроятіямъ въ нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ выводитъ самого себя, прикрывшись какимъ-нибудь псевдонимомъ. Лучше всего среда этихъ людей изображена въ „Бывшихъ людяхъ“. Если въ этомъ рассказѣ есть тенденція, (а было бы несправедливо предположить, что ея нѣтъ), то эта тенденція сводится къ ненависти и презрѣнію къ собственникамъ и купцамъ, съ сравненія съ которыми босяки чувствуютъ себя въ нравственномъ отношеніи выше и лучше. Ненависть къ имуществу, еще больше, къ заработку, т.-е. къ работѣ, дающей болѣе того, что требуется на удовлетвореніе ежедневныхъ потребностей—вотъ красная нить, болѣе или менѣе ясно проходящая черезъ всѣ произведенія Горькаго и придающая имъ социалистическую окраску, о которой мы говорили выше. Эта окраска ярче всего проступаетъ въ томъ Гордѣевѣ. Отецъ героя умираетъ и оставляетъ томъ весьма значительное состояніе, съ которымъ тотъ, несмотря на помощь и совѣты своего крестнаго Маякина, не знаетъ какъ поступить; вскорѣ оно начинаетъ тяготить его, такъ какъ мысль, что обладаніе имъ наноситъ ущербъ другимъ людямъ и несправедливо, смутно мучаетъ его. Онъ хотѣлъ бы какъ-нибудь отдѣлаться отъ него. Для духовной жизни русскаго народа весьма характерно, что тома ни единой минуты не задумывается надъ тѣмъ, какъ бы использовать выпавшее на его долю богатство, на пользу другихъ, бѣдныхъ и обездоленныхъ, но лишь стремиться въ пьянствѣ заглушить безпокоющую его мысль. Коммунистически—социалистическія воззрѣнія, высказываемыя въ этомъ романѣ Тарасомъ, сыномъ Маякина, не особенно глубоки и не

особенно новы, но очевидно указывают на взгляд самого автора, или взгляды, которыми, онъ думаетъ, обладаетъ большинство читателей; поэтому въ данномъ случаѣ, имъ слѣдуетъ уделить большее вниманіе, нежели они заслуживали бы сами по себѣ, т. е. содержать старинное заблужденіе, будто настоящей работой можно только считать работу рукъ; этотъ взглядъ соответствуетъ самой низкой ступени культуры и съ нимъ не стоитъ считаться.

Съ одинаковымъ правомъ романъ этотъ могъ бы быть озаглавленъ „Три друга“, потому что въ немъ передается исторія развитія трехъ друзей—Оомы, Ежова и Смолина, изъ которыхъ первый—герой романа; Ежовъ—сынъ лакея, но очень уменъ; впоследствии онъ вновь появляется на сцену въ видѣ вѣчно пьянаго радикала журналиста; тогда какъ Смолинъ, сынъ богатаго кожевеннаго фабриканта, въ концѣ концовъ женится на Любѣ Маякиной и съ ея братомъ основываютъ фирму Тарасъ Маякинъ и Африканъ Смолинъ. Этотъ романъ интересенъ для насъ еще и потому, что въ немъ выведена одна изъ немногихъ у Горькаго приличныхъ женщинъ, отличающаяся однако большими странностями, Люба Маякина. Остальные его героини, за исключеніемъ Елисаветы Сергѣевны и Вареньки Олесовой, въ рассказѣ того же названія, жрецы Венеры;—всѣ онѣ изображены Горькимъ чрезвычайно правдиво, но отъ этого вовсе не болѣе привлекательны. Мы считаемъ самой интересной изъ нихъ въ психологическомъ отношеніи — Мальву. Это — русская Кармэнъ, одѣтая въ лохмотья и отъ которой воняетъ сушеной рыбой и водкой; она возбуждаетъ ревность между своимъ возлюбленнымъ Василиемъ и его сыномъ Яковымъ, ссорить ихъ, а сама въ концѣ концовъ уходитъ съ Сережкой „*Survient un troisième Larron*“. Личность пьянчуги Сережки, ниспровергающаго все что ему становится поперекъ пути, и, по его словамъ, прямо стремящагося къ достиженію своихъ цѣлей, не взирая ни на какія препятствія, до известной степени типична для рассказовъ Горькаго. Еслибы поставить себѣ задачу во что бы то ни стало отыскать вліяніе Ницше на русскаго писателя, то можно было бы, пожалуй, въ Сережкѣ

увидѣть сверхчеловѣка нѣсколько видоизмѣненнаго бытомъ русскихъ бродягъ. Къ тому же разряду принадлежитъ Артемъ въ „Каинъ и Артемъ“ и Челкашъ.

Тема соперничества между отцомъ и сыномъ еще болѣе отталкивающе, если это возможно, разработана въ рассказѣ „На плотахъ“; тамъ отецъ—любовникъ своей невѣстки, а мужъ, осыпaeмый насмѣшками и презрѣніемъ работника-плотовщика, почти гибнетъ подъ ихъ гнетомъ.

И здѣсь, какъ и въ Мальвѣ, встрѣчаются чудныя описанія природы, но и они не въ состояніи примирить читателя съ совершенно излишними нравственными диссонансами, неразрѣшенныхъ и неразрѣшимыхъ конфликтовъ. До извѣстной степени примиряюще дѣйствуетъ то, что эти люди сами сознаютъ свои грѣхи и даже въ порывѣ наслажденій чувствуютъ угрызение совѣсти. Очень яркая картина бродяжнической жизни развертывается передъ нами въ рассказѣ „Проходимецъ“—его можно назвать какъ бы апалогіей ея, которую одинъ изъ ея adeptовъ, дворянянъ Промтовъ, въ одну дождливую ночь проносить, передъ встрѣченнымъ имъ подъ навѣсомъ амбара человѣку, повидимому самому Горькому. Въ рассказѣ „Коноваловъ“ то же самое. Пекаръ Коноваловъ, славный малый, но также отъявленный пьяница, развиваетъ свои взгляды на жизнь и свободу своему помощнику—Горькому. Въ противоположность высказываемымъ послѣднимъ взглядамъ о зависимости жизни человѣческой отъ разныхъ обстоятельствъ, о значеніи среды, всеобщаго неравенства, притѣснителей и притѣсненныхъ, Коноваловъ придерживается точки зрѣнія самаго крайняго индивидуализма. Въ этомъ рассказѣ встрѣчается одно изъ красивѣйшихъ, если не самое красивое изъ описаній, разсыпанныхъ въ сочиненіяхъ Горькаго, а именно картина постройки желѣзной дороги въ Θεодосіи. Его можно сравнить съ самымъ лучшимъ что написалъ Зола въ лучшія времена своего творчества; къ тому же его не портятъ никакія примѣси соціально-коммунистическихъ взглядовъ.

Для чего въ послѣднемъ романѣ Горькаго „Трое“ главное дѣйствующее лицо Илья Луневъ убиваетъ купца Полуэктова,

выставляет на позоръ свою прежнюю возлюбленную Татьяну Власьевну, и въ концѣ концовъ разбиваетъ себѣ черепъ,— понять трудно, если не принять только за объясненіе его собственныя слова, что порядочной и чистой жизни нигдѣ нѣтъ. Но и въ этомъ произведеніи автору не удалось доказать этого положенія.

А теперь подведемъ итогъ! Произведенія Горькаго тамъ, гдѣ онъ остается самимъ собою, т.-е. рассказываетъ лично имъ пережитое и пережитое, дышать рѣдкой силой, и часто, хочется прибавить, рѣдкой красотой и это несмотря на отвратительные сюжеты. Только тамъ, гдѣ авторъ пускается въ болѣе подробный разборъ психологическихъ вопросовъ, какъ въ *Омѣ Гордѣвѣ*, у него не хватаетъ силы или же онъ нисходитъ какъ напр. въ *Варенькѣ Олесовой*, на уровень грязныхъ и безнравственныхъ французскихъ романовъ нравовъ. А это жаль. Гдѣ Горькій остается самобытно русскимъ, онъ даетъ намъ, если не болѣе, такъ хотъ вполне вѣрную картину низшихъ слоевъ и даже самыхъ подонковъ русскаго общества. И онъ совершенно правъ по своему; вѣдь въ Нидерландской школѣ напр., наряду съ мастерами, писавшими богинь, королевъ и героевъ, приобрѣли безсмертную славу и такіе, что изображали объѣвшихъ на ярмаркѣ, зубодера, деревенскаго лѣкаря и крестьянина, въ укромномъ уголкѣ облегчающихъ себя отъ излишней пищи. По крайней мѣрѣ за выведенными Горькимъ лицами та заслуга, что они жизненны; они противны, воняютъ потомъ, грязнымъ тряпьемъ, водкой, нищетой и самымъ нагляднымъ образомъ обнаруживаютъ недостатокъ мыла и воды въ своемъ обиходѣ, но за то они люди съ плотью и кровью, не блѣдные призраки, вызванные лишь на мгновеніе на сцену жизни. Поэтому-то чтеніе Горьковскихъ рассказовъ никогда не будетъ такъ расматывать нервы и такъ вредно вліять, какъ продукты сѣверной школы, особенно пьесы Ибсэна. Можетъ быть нѣкоторые его произведенія заставятъ насъ содрогнуться или отвернуться отъ отвращенія, но отрицать то, что авторъ глубоко заглянулъ въ дѣйствительную жизнь своего народа, и если не возвелъ читателя на ея высоты, такъ зато заставилъ его

опуститься на самое ея, дно—такимъ образомъ не приходится. Еслибы Горькій намѣревался доказать, что изображенные имъ слои общества уже созрѣли для свободы, то мы, конечно, не могли бы назвать этой попытки удачной; наоборотъ, его произведенія сдѣлали для насъ болѣе понятными многія правительственныя мѣропріятія. Въ состояніи ли онъ будетъ въ послѣдствіи поставить себѣ высокую задачу воспитательно вліять на свой народъ, на это въ теперешнихъ его произведеніяхъ нѣтъ указаній, а задача писателя не только разрушать, но и созидать. Что Горькій самъ по временамъ сомнѣвается и въ своихъ силахъ и въ пользѣ своего писанія, намъ сдается, можно заключить изъ его „Читателя“. Онъ говоритъ тамъ о ненависти, постоянно пылающей въ его душѣ, но на ряду съ ней упоминаетъ и о своихъ сомнѣніяхъ. *Читатель*, не вѣрить чтобы его послалъ самъ Богъ, такъ какъ Онъ возжигаетъ въ сердцахъ своихъ посланниковъ огонь страстной любви къ жизни, къ истинѣ, къ человѣку, а Горькій и ему подобные лишь „чадятъ какъ факелы торжества сатаны и чадъ ихъ проникаетъ въ умы и души, отравляетъ ихъ ядомъ недовѣрія къ себѣ“.

---

## Свобода и несвобода Горькаго.

Статья въ Neue Deutsche Bundschau F. P.

Февраль 1902 г.

Благодаря изобилію разрѣшенныхъ и неразрѣшенныхъ авторомъ переводовъ, наводнившихъ за послѣднее время нашъ книжный рынокъ, выяснилось, что литературная фізіономія Горькаго болѣе сложна и болѣе разностороння нежели казалось раньше. Передъ нами въ настоящее время не только беззаботный и удалой бродяга, скитающійся по всей землѣ русской и простирающій въ счастливомъ сознаніи своей независимости свободныя руки къ безконечному небу; не человѣкъ, переносившій и холодъ и голодъ, но никому не подчинявшійся и въ лохмотьяхъ остававшійся княземъ, которому вся человѣческая жизнь казалась не болѣе какъ представленіемъ, въ которомъ онъ самъ никогда не унижится принять участіе, ибо чувствуетъ себя гораздо выше тѣхъ людей; Ничего не требовавшій отъ жизни кромѣ непрерывнаго разнообразія, ни о чемъ не заботившійся, такъ какъ твердо вѣрилъ въ то, что вездѣ найдетъ себѣ кусокъ хлѣба. а забота сковываетъ душу.

Теперь. уже передъ нами не только человѣкъ, неуязвимый для жизни, потому что ровно ничего не боится и въ сознаніи своей власти надъ нею задорно кидаетъ остальнымъ людямъ, цѣлыми годами пресмыкающимся подъ ея ярмомъ, совѣтъ лучше почаще мѣнять ее, чтобы она не скисла; теперь у него сквозь дерзкую радость въ глазахъ проступаетъ и горе, и неуверенность, на лицѣ видны слѣды мучительныхъ думъ, вокругъ рта легла складка безнадежности и губы тихо шепчутъ о труд-



ности жизни для тѣхъ, кто размышляетъ. И тотъ, кто такъ краснорѣчиво описывалъ свободу людей примитивныхъ, чуть ли не первобытныхъ, теперь умѣетъ съ такою же убѣдительностью и жизненностью изображать весь ужасъ потери свободы и притупляющую нужду связанныхъ по рукамъ и ногамъ существъ, не умѣющихъ справиться ни съ самими собой, ни съ окружающимъ, и изъ всего и во всемъ умудряющихся отыскивать причины для самоистязанія. И онъ съ такимъ удовольствіемъ и такою горечью роется въ душахъ этихъ несчастныхъ, анализируетъ ихъ темпераменты, что для насъ становится яснымъ, что и въ немъ самомъ—восторженномъ поклонникѣ свободы,—живетъ частица ихъ мятущагося духа и что и ему на долю выпало нести часть ихъ страданій. Эти книги преисполнены страстнымъ озлобленіемъ, написаны языкомъ чловѣка, потрясеннаго до глубины души, чловѣка, который кричитъ, издаетъ какіе-то отрывочные звуки, повторяется и въ концѣ концовъ въ изнеможеніи все же желчно и упорно сызнава бормочетъ о своемъ горѣ.

Уже въ нѣкоторыхъ изъ коротенькихъ рассказовъ Горькаго встрѣчаются люди, подверженные періодическимъ приступамъ тоски, а потому являющіеся какъ бы предвозвѣстниками героевъ послѣдующихъ его романовъ. „Юма Гордѣевъ“,—исторія чловѣка, томящагося разными „мыслями“ и въ концѣ концовъ безвозвратно гибнущаго отъ собственной иссушающей его душу скорби; послѣднее же произведеніе „Трое“,—продуктъ отчаяннаго негодованія. Въ противоположность первымъ произведеніямъ, въ которыхъ дѣйствіе происходитъ подъ открытымъ небомъ, а дѣйствующія лица, такъ сказать, практическіе дуалисты, способные внѣ зависимости отъ внѣшнихъ условій существованія, создавать внутри себя новыя жизненныя цѣнности—этотъ романъ рисуетъ людей, живущихъ въ городскихъ стѣнахъ, связанныхъ и поработенныхъ не одними только жалкими внѣш. ними условіями, но прежде всего, собственнымъ сумбуромъ мыслей. Думающіе пролетаріи,—вотъ его темы; рабы жизни, обуреваемые несчастною потребностью не переставая ломать себѣ голову надъ вопросами своего внутренняго и внѣшняго

міра; будучи меланхоликами по природѣ и не обладая дисциплинированнымъ умомъ, они своими размышленіями лишь вносятъ еще большую путаницу въ свой, и безъ того хаотическій душевный міръ. Они топчатыся на одномъ мѣстѣ, вертятся какъ въ колесѣ и что-то бормочутъ о бессмысленности и безуміи жизни, а накричавшись до хрипоты, обезсиленные, гибнутъ, при чемъ Горькій въ качествѣ суфлера подсказываетъ имъ послѣдній выводъ мудрости, а именно, что жизнь ихъ всѣхъ ухватила за горло и придушила.

Въ послѣднемъ романѣ Горькаго не видно и той изумительной способности создавать живые образы и всецѣло захватывать читателя, что такъ ярко выступаетъ въ его, словно отчеканенныхъ, коротенькихъ рассказахъ. Прежде онъ умѣлъ возсоздавать удушливую и давящую атмосферу безнадежности и безутѣшности; умѣлъ также передавать глубоко-удрачающее представленіе о жизни, какъ о безтолковомъ и непрерывномъ патаніи то туда, то сюда вдоль голой сѣрой стѣны, точно людей постоянно что то гонить съ мѣста; и при чтеніи этого романа тоже представленіе охватываетъ и давить насъ словно страшный кошмаръ. Но это впечатлѣніе не прочно и вліяніе его не такъ продолжительно; уже съ середины весьма растянутой книги мы начинаемъ ощущать монотонность, замѣчать, что повтореніе однихъ и тѣхъ же положеній не есть художественный приѣмъ, но указываетъ до извѣстной степени на отчаяніе, дряблость, беспомощность и производитъ обезсиливающее вліяніе и на другихъ.

Человѣческій интересъ къ Луневу — личности не совсѣмъ здоровой въ нравственномъ отношеніи — постепенно ослабѣваетъ. Послѣ жалкаго, наполненнаго колотушками дѣтства среди подонковъ общества, оборванцу Ильѣ и дальше приходится влечать существованіе среди нужды и горя; позднѣе изъ отращиванія къ жизни и смутнаго человѣкненавистничества, онъ убиваетъ стараго ростовщика и, открывъ маленькую галантерейную лавочку, достигаетъ извѣстнаго внѣшняго довольства, но въ то же время въ душѣ у него все болѣе накинупаетъ омерзѣнне къ себѣ самому и къ людямъ, такъ что онъ

кончается тѣмъ, что громогласно, публично признается въ своемъ преступленіи.

Горькій рисуетъ намъ его такимъ, какимъ онъ самъ и остальные лица романа его видятъ; но того духовнаго ясно-видѣнія великихъ художниковъ слова, благодаря которому они словно молніей освѣщаютъ души своихъ героевъ, такъ что читатель глубже заглядываетъ въ нихъ и лучше понимаетъ, нежели они сами, мы у него не встрѣчаемъ и мало-по-малу начинаемъ убѣждаться, что писатель, въ общемъ, одинъ изъ наиболее правдивыхъ и жизненныхъ, на этотъ разъ не раскрылъ передъ нами книги жизни, а написалъ „литературное произведение“. Онъ сознательно хотѣлъ высказать передъ нами свои взгляды, діаметрально противоположныя воззрѣніямъ писателей старѣйшихъ поколѣній, проповѣдуемымъ н. пр. въ „Преступленіи и наказаніи“; онъ сознательно беретъ тѣ же положенія, что и у Толстого и Достоевскаго, чтобы на нихъ наглядно показать разницу своего взгляда на искушающее раскаяніе со взглядомъ этихъ пророковъ.

Убіиство стараго ростовщика—тотъ же поступокъ Раскольникова, а публичное, громогласное сознаніе въ преступленіи аналогично сценѣ покаянія во „Власти тьмы“. Но Илью Лунова побуждаютъ къ этому совершенно иные мотивы, нежели убійцу Достоевскаго или Никиту Толстого. У Горькаго нѣтъ и слѣда того почти мистическаго сладострастія пламеннаго раскаянія, потрясающаго душу преступника, нѣтъ тѣхъ жгучихъ слезъ жажды обновленія, тѣхъ могучихъ художественныхъ псалмовъ покаянія, отъ которыхъ содрогается сердце; не слышно рвущагося изъ души призыва — „возьмите и несите каждый свой крестъ, какъ дѣлаю это я“.

Горькаго эта, какъ и многія другія иллюзіи, заставляетъ лишь качать головой. Его Илья не чувствуетъ раскаянія, не потому, что онъ закоренѣлый преступникъ, а потому, что ему его поступокъ кажется неважнымъ въ сравненіи со всей низостью и подлостью, царящими вокругъ. Раскаяніе совершенно чуждо ему и еслибы ему предложили покорно сознаться и высказать сожалѣніе о содѣянномъ въ присутствіи

судей—онъ счелъ бы подобный шагъ безмысленнымъ и противнымъ. Его побуждаетъ открыть передъ всѣми до того тщательно хранимую тайну совершенно иная причина, заключающаяся, какъ и всѣ поступки этого человѣка, въ неясности и спутанности его понятій.

Подъ гнетомъ мрачныхъ размышлений о безполезности своего существованія онъ влечетъ жалкую жизнь, тогда какъ вокругъ себя видитъ людей, завлавающихъ отъ наслажденія, не превращающихъ жизнь въ тяжелую задачу и хорошо и удобно валяющихся на своихъ перинахъ. Его охватываетъ бѣшенство и ему кажется, что онъ долженъ передъ ихъ лицомъ отдернуть обманчивую завѣсу съ той пропасти, на краю которой они пируютъ. И вотъ въ самый разгаръ семейнаго торжества онъ швыряетъ въ лицо собравшимся гостямъ сознаніе въ своемъ преступленіи. Его признаніе—пропаганда испуга, жестокозлое наслажденіе начертать на стѣнѣ свое „мепе—факель—фаресь“. Не сокрушеніе, а чувство собственного превосходства, придаетъ настроеніе этой сценѣ, потому что это единственный моментъ въ жизни Ильи, когда онъ освобождается отъ собственныхъ оковъ, становится выше своей жизни и подводитъ ей итогъ. А чтобы значеніе этой сцены и ея рѣзкая противоположность тенденціямъ покаянія Толстого и Достоевскаго осталась внѣ всякаго сомнѣнія, Горькій заставляетъ Илью, выпрямившагося во весь ростъ и упрямо поднявшаго голову, крикнуть перепуганнымъ и смущенно жмущимся по стѣнамъ людямъ: „Вы думаете—какую я передъ вами? Дождитесь! Сидѣю я надъ вами, вотъ что“...

По понятіямъ молодаго русскаго поколѣнія это послѣдовательно-нигилистическое признаніе, конечно, весьма интересно; надо также признать и то, что Горькій отдѣльными положенія воспроизводитъ почти съ жуткой реальностью, но въ томъ какъ онъ соединяетъ ихъ между собою, въ томъ какъ сознательно и слишкомъ очевидно приспособляетъ Илью для служенія примѣромъ и проведеніемъ надъ нимъ различныхъ опытовъ, въ этомъ художественный глазъ не можетъ не усмотрѣть служенія теоріи, а не творчества.

Между тѣмъ менѣе всего можно было ожидать натолкнуться на послѣднее у Горькаго“.

## Максимъ Горькій.

Статья Евгенія Мартъ.

Симпатія, которую вначалѣ завоевалъ Максимъ Горькій своими произведеніями, перешла въ настоящее время въ любовь и даже, въ силу особенныхъ свойствъ русскихъ—въ обожаніе. Горькаго читаютъ всѣ слои общества; сочиненія его раскупаются на расхватъ; многіе изъ вѣчно жаждущей истины и борющейся за нее русской интеллигенціи смотрятъ на молодого писателя, какъ на учителя, и ждутъ отъ него проповѣди, которая бы выяснила всѣ скопившіяся за два истекшихъ столѣтія недоумѣнія и указала настоящій путь къ истинѣ.

Для очень многихъ успѣхъ Горькаго совершенно неожиданъ. Начало его надо отнести къ 1898—1899 годамъ, а затѣмъ онъ принялъ колоссальные размѣры. И тѣмъ не менѣе его нельзя назвать чѣмъ-то случайнымъ и поверхностнымъ. Горькій задѣваетъ въ душѣ читателя извѣстныя струны и извлекаетъ изъ нихъ такіе сильные звуки, какихъ давно не извлекалъ ни одинъ изъ русскихъ писателей. Это струны чисто русскія, или струны босаячества, „безумной храбрости“, неукротимой отваги и открытаго презрѣнія ко всѣмъ земнымъ благамъ. Именно поэтому знакомство съ произведеніями Горькаго является особенно интереснымъ. Значеніе ихъ не ограничивается только художественностью, — это свойство само по себѣ не вызвало бы такого выдающагося вниманія, — ихъ значеніе коренится глубже. Горькій, какъ мнѣ кажется, глубоко заглянулъ въ самую сокровенную часть некультурнаго, полу-европейскаго, полу-азіатскаго народа; онъ указалъ, что, несмотря на двухсотлѣтнюю суровую дрессировку, несмотря на европейское об-

разованіе, несмотря на капиталистическое хозяйство, включеніе въ бродяжничество старой Руси и общеславянская склонность къ меланхолиі и созерцанію, къ дикому разгулу и слѣдующимъ за нимъ раскаяніи неизгладимы въ русской душѣ и хотя ослабленныя и подавленныя, все еще продолжаютъ въ ней жить.

Литературная дѣятельность Горькаго началась очень рано и вначалѣ носила случайный характеръ. Только въ 1896 г. его имя начало всплывать въ лучшихъ журналахъ, а теперь Горькій извѣстенъ всей Россіи.

Герои Горькаго, въ сущности, тѣ же неудачники, тѣ же лишніе люди, они такіе же одаренныя, но не нашедшія подходящаго для себя круга дѣятельности, натуры, которыми такъ часто встрѣчаются въ произведеніяхъ русской литературы вообще, а за послѣднее время стали ея любимцами. Но у Горькаго они являются въ иномъ видѣ.

Оригинальность Горькаго заключается главнымъ образомъ въ томъ, что онъ, въ противоположность своимъ предшественникамъ, не чувствуетъ къ своимъ босякамъ никакого состраданія, своего участія не обнаруживаетъ и никакихъ культурныхъ интересовъ подъ свою защиту не беретъ; онъ скорѣе видитъ въ своихъ герояхъ исключительно прямыхъ, жаждущихъ правды натуры, хотя и не отрицаетъ, что они „очень злы“ и не обладаютъ ни общественнымъ, ни альтруистическимъ чувствомъ.

Въ изящной литературѣ это явленіе совершенно новое. Если хотите, этотъ необузданный, но удивительно привлекательный культъ свободы, — перчатка, брошенная въ лицо культурному человечеству, которое изолгалось какъ въ своихъ добродѣтеляхъ, такъ и въ порокахъ; это смѣлый вопросъ: почему вы такъ самодовольны и все-таки постоянно боитесь, какъ будто бы совершили преступленіе?

Горькій менѣе всего очарованъ успѣхами культуры и цивилизации. Къ интеллигенціи онъ относится съ нескрываемымъ презрѣніемъ и съ особеннымъ удовольствіемъ обличаетъ ея духовную дряблость, банальное и тупое самодовольство, не-исправимую трусость. Еще большее презрѣніе питаетъ онъ къ

идеалу узко-мѣщанской сытости, къ размѣренному, спокойному существованію, которое допускаетъ лишь инстинкты пріобрѣтенія и заставляетъ человѣка опускаться въ болото. Этихъ-то мѣщанскихъ интеллигентовъ, или просто мѣщанъ, Горькій и считаетъ главными представителями того великаго тормазы, который онъ называетъ страхомъ передъ жизнью, отнимающимъ у человѣка самое прекрасное и цѣнное — героизмъ. Въ босякѣ Горькій прежде всего видитъ субъекта преодолевшаго этотъ подавляющій, мучительный, позорный страхъ. Поэтому Горькій и стоитъ за него. Въ началѣ его литературной дѣятельности бродяги и бродяжничество какъ будто заслонили передъ нимъ все остальное человѣчество, и онъ постоянно возвращался къ своимъ героямъ-босякамъ, и сильно увлекался ихъ своеобразной и глубокой психологіей. Онъ лишь мимоходомъ касался осѣдлыхъ людей, а если и рисовалъ ихъ, то всегда въ невыгодномъ свѣтѣ. Надо послушать грубаго, дикаго Сережку въ разсказѣ „Мальва“: „Эхъ вы... землѣды тупорылые! Ни чорта вы въ жизни понимать не можете... Вамъ бы только титки были у бабы жирныя... а характера ея вамъ не надо... А въ характерѣ-то и весь цвѣтъ у человѣка... Безъ характера баба — безъ соли хлѣбъ. Можешь ты получить удовольствіе отъ такой балалайки, у которой струнъ нѣтъ? Кобель!...“ Каждому изъ своихъ босяковъ Горькій даетъ возможность показать свои лучшія стороны и подняться хотя бы лишь на одинъ моментъ до истиннаго героизма. Въ жизни босяковъ онъ видитъ не только нѣчто цѣнное, но находитъ въ ней даже своеобразную прелесть. Для Мальвы эта красота состоитъ въ томъ, что она „сама себѣ барыня“, подобно тому, какъ и для добродушнаго солдата въ степи: „Люблю я, другъ, эту бродяжную жизнь. Оно и холодно, и голодно, но свободно ужъ очень. Нѣтъ надъ тобой никакого начальства... самъ ты своей жизни хозяинъ... хоть голову себѣ откуси—никто тебѣ слова не можетъ сказать... хорошо... Наголодался я за эти дни, нализился... а вотъ теперь лежу, слотрю въ небо... Звѣзды мигаютъ мнѣ... ровно говорятъ:—ничего, Лакутинъ, ходи, знай, по землѣ и никому не поддавайся... Н-да и хорошо на сердцѣ...“

Какъ бы хорошо ни было босяку на мѣстѣ, въ немъ рано или поздно происходитъ „взрывъ“, и онъ покидаетъ свое теплое гнѣздо, свое занятіе, свою возлюбленную и грязный и голодный снова начинаетъ безцѣльное бродяжничество. Все устойчивое, постоянное, вызываетъ въ немъ тоску, презрѣніе и тяжелую скуку, которые онъ старается заглушить или водкой, или разсѣять скитаніемъ по степи. Его точно червякъ гложетъ стремленіе къ бродяжничеству и перемѣнѣ и хотя онъ, въ глубинѣ души твердо убѣжденъ, что никогда и нигдѣ ничего новаго и интереснаго не найдетъ, тѣмъ неменѣе его постоянно влечетъ въ неизвѣстную даль, за горы, закрывающія горизонтъ, туда, гдѣ восходитъ солнце или гдѣ оно исчезаетъ. Въ концѣ концовъ бродяжничество обращается въ привычку, но сначала бродяжничество и босячество представляются съ точки зрѣнія Горькаго явленіями естественными. Онъ показываетъ намъ, какъ оно распространено и непреодолимо, даже увлекается его своеобразной красотой, но не особенно старается пояснить намъ причины этого явленія.

„Настоящаго человѣка“ не можетъ удовлетворить ни жизнь въ городѣ или деревнѣ, ни существованіе среди развитой или развивающейся культуры, потому что онъ будетъ чувствовать себя въ цѣпляхъ. Это—жажда къ свободѣ, съ силой прорывающаяся наружу, желаніе порвать со всѣми обязательствами, со всѣми общественными отношеніями, стремленіе къ свободѣ ради ея самой, къ свободѣ, которая не поддается формулировкѣ, которой и не нужно никакой формулировки...

Босякъ—это человѣкъ, который хотѣлъ бы уйти, уйти отъ всего прочнаго, опредѣленнаго, привычнаго. Что же влечетъ его съ мѣста на мѣсто? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ авторъ развертываетъ передъ нами интересную картину психологіи жизни простого русскаго народа—той жизни, которая до сихъ поръ еще протекаетъ въ темнотѣ, гдѣ сознаніе лишь слабо функционируетъ и часто не знаетъ, чѣмъ себя занять. Это глухое недовольство, вполне понятное безпокойство когда человѣкъ, охваченный имъ, не можетъ отдать себѣ самъ въ немъ отчета; тоска, неимѣющая, повидимому, никакого реальнаго основанія;



яснѣ всего она выступаетъ, пожалуй, въ *Θомѣ Гордѣевѣ*, героѣ романа Горькаго, носящаго то же названіе.

Казалось бы что молодой и красивый миллионеръ *Θома* могъ бы чувствовать себя, если не счастливымъ, то, по крайней мѣрѣ, довольнымъ своей судьбой. Но даже и оно, это простое довольство, не дается ему. Послѣ прекращенія торговли и отреченія отъ своей среды, послѣ того какъ онъ много разъ грубо обманывается въ своихъ сердечныхъ склонностяхъ, онъ въ концѣ концовъ становится ко всему равнодушнымъ, начинаетъ пить и превращается въ юродиваго и идіота. Въ *Θомѣ Гордѣевѣ* особенно ясно выступаютъ мистическіе элементы босяцкой натуры. Это неясное стремленіе къ абсолютной истинѣ, абсолютной справедливости и абсолютной правдивости во взаимныхъ отношеніяхъ людей. По всему своему складу, дѣлающимъ его неспособнымъ къ компромиссамъ, *Θома* — босякъ и пролетарій, несмотря на свои миллионы; босякъ, выросшій на русской почвѣ, т.-е. человѣкъ, который не только не доросъ до борьбы, но который точно съ какимъ-то сладострастіемъ способствуетъ собственному паденію. Это паденіе манитъ его какъ пропасть, въ которую онъ ежеминутно заглядываетъ. И онъ чувствуетъ при этомъ, какъ кружится голова, какъ неровно бьется сердце, какъ сжимается грудь. Желаніе броситься туда, чтобы тамъ, внизу, найти что-нибудь неизвѣстное, недостижимое въ жизни, со страшной силой овладѣваетъ имъ. Онъ ужасно одинокъ. Это одиночество терзаетъ его, бушуетъ въ его сердцѣ, разрываетъ его на части... Онъ напрасно обращается къ людямъ со стономъ и мольбой о любви, о совѣтѣ и разъясненіи — люди остаются глухи и нѣмы.

Трудно вообще опредѣлить истинныя причины, которыя заставляютъ людей дѣлаться босиками. Западнѣй европейецъ не долженъ удивляться, если съ разумной точки зрѣнія всѣ реальныя причины этого явленія въ концѣ концовъ окажутся неосновательными и лишь сведутся къ словамъ: „Такъ... тоска отравила жизнь“. Дѣло въ томъ, что здѣсь рѣчь идетъ о естественномъ явленіи, корень котораго надо искать въ національномъ характерѣ и исторіи русскаго народа. При обсужденіи

этого явления слѣдуетъ, конечно, принять во вниманіе и гнѣтъ, тяготящій надъ русской жизнью, печальное однообразіе мелко-буржуазной среды; затѣмъ то обстоятельство, что въ Россіи дѣлается все, чтобы уничтожить всякую связь между людьми и сдѣлать этихъ людей разочарованными и одинокими. Но это еще не все. Остаются расовыя и историческія причины, побуждающія идти въ босіе. Это стремленіе служить благопріятной почвой для увеличенія пролетаріата и для усложненія жизни: и поэтому Горькій правъ, утверждая, что босіе сдѣлалось социальнымъ явленіемъ и что босіе образуютъ особый классъ.

„Такъ... тоска довела меня до этого“ — вотъ мотивъ, который повторяется въ большинствѣ произведеній Горькаго. Это основной мотивъ его босіекой психологіи, хотя, однако, не исчерпывающій ее, всю, до дна, и оставляющій для разнообразнѣйшихъ варіацій еще много простора. Но эти варіаціи были бы еще разнообразнѣе, не будь сознаніе босіековъ столь притуплено и ихъ мысли не такъ трудно поддавались формулировкѣ. Этотъ основной мотивъ наиболѣе ясно звучитъ у Коновалова; у другихъ босіековъ къ нему присоединяются еще мистическіе элементы или негодованіе на реальныя условія и гнѣтъ жизни. Босіеки Горькаго представляютъ скорѣе продуктъ недоѣданія, чѣмъ пресыщенія, и потому они еще больше приближаются ко всѣмъ жаждущимъ и тоскующимъ. Въ нихъ пылаетъ гнѣвъ противъ жизни, презрѣніе ко всему условному, обыденному, такъ называемому обезпеченному существованію; ихъ ненависть ограничивается однако мѣщанскими элементами, потому что помимо этого чувства, босіеки проникнуты еще сильной и глубокой жаждой жизни, которая часто выливается у удивительно симпатичнаго молодого писателя, въ прекрасную, даже нѣжную форму. Въ разсказѣ „Болесь“ бѣдная проститутка пишетъ письма къ воображаемому возлюбленному, хотя очень хорошо знаетъ, что онъ не существуетъ. Но кромѣ этого у нея нѣтъ ничего въ жизни, дѣйствительность похитила у нея все, что украшаетъ человѣческое существованіе, а письма даютъ иллюзію, создаютъ особый фантастическій міръ, въ

которомъ она чувствуетъ себя любимой женой и матерью. Это показываетъ, что Горькій видитъ въ своихъ герояхъ не только несчастныхъ и страдающихъ людей, но также и людей, потребности которыхъ дѣйствительность не могла удовлетворить. Они цѣпляются за каждую мечту, за каждый призракъ, за каждую иллюзію, наполняющую ихъ жизнь и могущую отвѣчать ихъ чистымъ духовнымъ потребностямъ. Эту тему Горькій разработалъ въ одномъ изъ своихъ лучшихъ рассказовъ: „Двадцать шесть и одна“ (появившейся на нѣмецкомъ языкѣ въ *Socialistische Monatshefte* за прошлый годъ).

Заключенные въ темномъ, сыромъ подвалѣ, занимаясь ненавистной работой, разѣдаемые сифилисомъ, чесоткой и другими отвратительными болѣзнями, эти двадцать шесть все-таки не забыли, что они люди, и тоскуютъ о солнечномъ лучѣ, который освѣтилъ бы ихъ пасмурную жизнь. И когда они находятъ этотъ лучъ солнца въ лицѣ бѣдной горничной, то окружаютъ ее какимъ-то религиознымъ почитаніемъ, цѣломудренно охраняютъ отъ грязи даже въ своихъ мысляхъ. Это настоящий культъ Маріи; что прежде всего для Горькаго и для насъ дѣлаетъ этихъ людей привлекательными—это ихъ настроеніе, которое особенно бросается въ глаза въ наше время, когда у каждого написано на лбу: если хочешь наслаждаться жизнью, будь остороженъ; гдѣ каждого изъ насъ преслѣдуетъ страхъ, мучительный, унижительный страхъ, лишиться рано или поздно всего. Но паріи не знаютъ страха, не знаютъ унижительной заботы о будущемъ, они научились великому искусству наслаждаться всей прелестью момента. Они непобѣдимы, они не поддаются никакому соблазну, никакая сила не согнетъ ихъ, нигдѣ и никогда не вырветъ у нихъ слово лжи (неправды) и лицемерія, потому что они не знаютъ страха. Имъ нечего терять, такъ какъ они все носятъ въ себѣ, носятъ этотъ общій имъ духъ, постигшій ничтожество жизни, пустоту и мучительность всѣхъ человѣческихъ склонностей. Они видятъ передъ собой то трусливую, то ожесточенную борьбу изъ-за радостей жизни, видятъ людей съ искаженными отъ жадности чертами, видятъ ненависть и зависть,—а

сами стоять въ сторонѣ и взирають на всё преисполненные гордости и высокомернаго презрѣнія.

---

Босяки Горькаго—символь неудовлетвореннаго протестующаго духа, поднимающаго челоуѣка изъ грязи и пошлости жизни и заставляющаго его въ борьбѣ съ этой пошлостью напругать всѣ свои некультурованныя и недисциплинированныя, дикія, но великія силы. Горькій не зоветъ насъ съ собой, не даетъ ничего положительнаго, никакой философіи и никакого жизненнаго кодекса, но наученные жизнью и прошлымъ русской литературы, проповѣдями гр. Толстого, который, въ сущности говоря, представляетъ собой такую же босяцкую натуру, мы поняли стонъ смѣлаго, героическаго духа, изнывающаго въ узкихъ тискахъ сѣрой будничной жизни и привлекающаго къ себѣ всю нашу симпатію. То обстоятельство, что въ каждомъ русскомъ, даже и въ образованномъ, сидитъ что-то босяцкое, что то напоминающее Михаила Бакунина, хотя Бакунина, не теоретизирующаго, дало намъ возможность такъ быстро понять Горькаго и такъ глубоко проникнуться его настроеніемъ. Его юный чудный романтизмъ, представляющій такое счастливое явленіе въ нашей литературѣ, облегчилъ намъ эту задачу. Горькій разсказалъ намъ о свободѣ, о возможности свободной жизни даже подъ гнетомъ нашего мѣщанскаго времени; онъ объяснилъ намъ наше безпокойство, нашу трусость, которая сама себя стыдиться,—почему же удивляться, что онъ завоевалъ всю нашу любовь?

---

## Бытописатель русского пролетариата.

Статья въ Litterarisches Echo Febr. 1901.

„Не бойтесь! Не кричите! Жизнь все-таки прекрасна! Въдѣ я пришелъ снизу, со дна жизни, оттуда, гдѣ грязь и тьма, гдѣ человѣкъ—еще полуживѣрь, гдѣ вся жизнь—только трудъ ради хлѣба... Тамъ она льется медленно, темнымъ, густымъ потокомъ, но и тамъ сверкають на солнцѣ неоцѣненные алмазы великодушія, ума, героизма, и тамъ есть любовь, и тамъ красота—всюду, гдѣ есть человѣкъ, есть и хорошее! Въ крупницахъ, въ малыхъ зернахъ, да! но есть! И зерна не гибнутъ всѣ: они растутъ и разцвѣтають и дадутъ плодъ своей жизни, о дадутъ! Дадутъ! Повѣрьте мнѣ, что человѣкъ всюду носить въ себѣ Бога, и гдѣ бы и чѣмъ бы онъ ни былъ, онъ останется человѣкомъ и есть лучшее на землѣ! Право мое вѣрить такъ, я дорого купилъ, да! — но зато я имѣю это право на всю жизнь! И въ этомъ правѣ другое я имѣю—право требовать, чтобы и вы вѣрили такъ же, какъ я, ибо я есть правдивый голосъ жизни, грубый крикъ тѣхъ, которые остались тамъ, внизу, отпустивъ меня къ вамъ для свидѣтельства о страданіяхъ ихъ! Они тоже хотятъ наверхъ—къ самосознанію, къ свѣту, свободѣ!..“

Въ этихъ словахъ, которыя Горькій вкладываетъ въ уста героя своего недоконченнаго романа „Мужикъ“, отражается прежняя жизнь самого писателя. Трудно рѣшить, насколько Горькій обязанъ своимъ выдающимся, завоеваннымъ чуть ли не моментально, положеніемъ въ литературѣ могучему дарованію, и насколько современному, не совсѣмъ нормальному, положенію вещей въ Россіи. Несомнѣнно одно—во всей русской литературѣ не найти второго такого разительнаго случая, когда бы давно бродящія въ обществѣ, отчасти даже противурѣчивыя мечты, нашли столь блестящее выраженіе.

Пророчество Достоевскаго на могилѣ Некрасова, что слѣдующій послѣ покойника, равный корифеямъ русской литературы, писатель, выйдетъ изъ среды самаго народа; страстное стремленіе русской читающей публики, которой давнымъ давно наскучило преемственное развитіе литературы въ тѣсныхъ рамкахъ реальнаго изображенія разныхъ соціальныхъ вопросовъ, къ новымъ художественнымъ формамъ, а также перенесенное на русскую почву западно-европейское индивидуалистическое направленіе, которое дотолѣ не могло найти своего оригинальнаго выразителя,—все это мы находимъ въ поэтическомъ творествѣ Горькаго, да еще выраженное съ чрезвычайной яркостью. Безконечная русская степь, по которой свободно разгуливаетъ вѣтеръ и морскіе прибои—вотъ, что пробудило первыя смутныя ощущенія поэта. Онъ воочію видѣлъ ожесточенную борьбу миллионовъ людей изъ-за куска насущнаго хлѣба, тяжелую работу, стирающую всякую индивидуальность и превращающую человека въ гигантскую машину, изобрѣтенную отдѣльнымъ даровитымъ индивидуумомъ. И въ томъ же мірѣ людей умныхъ, любящихъ жизнь, жаждущихъ чего-то, бродягъ или босяковъ, какъ ихъ называютъ. По своей внѣшности, своеобразному жаргону, безграничной любви къ независимости, способности и стремленію въ каждую данную минуту совершенно отрѣшиться отъ всевозможныхъ обязанностей, привычекъ и т. п., они тотчасъ же привлекаютъ къ себѣ вниманіе. Вѣчно переходя съ мѣста на мѣсто, они лишь на короткое время селятся въ подозрительныхъ притонахъ столицъ и еще чаще большихъ приморскихъ городовъ, и до тѣхъ поръ живутъ въ нихъ въ обществѣ воровъ, дѣвокъ и пьяницъ, пока потребность перемѣны и новыхъ впечатлѣній не разбудитъ въ нихъ болѣзненной ненависти къ однообразію своего случайнаго образа жизни и мѣстопребыванія, и не заставитъ покинуть его съ тою же легкостью, съ какою раньше они остановились на немъ. Душевная неуравновѣшенность, неспособность вести правильный образъ жизни и вѣчная безпокойная жажда неограниченной свободы въ связи съ ненасытной потребностью сбросить съ себя всѣ оковы,—вотъ не-

измѣнные признаки этихъ удивительныхъ людей. Въ культурныя сферы Горькій уже вступаетъ съ богатымъ запасомъ наблюдений надъ вѣшнимъ бытомъ и внутреннимъ міромъ этого обособленного круга людей; въ своихъ произведеніяхъ онъ постоянно выступаетъ, какъ поэтъ-бытописатель и разьяснитель его и въ то же время исключительно рассказываетъ то, что пережито имъ лично въ ихъ обществѣ. Лучшимъ доказательствомъ этого служить выдержанность мѣстнаго колорита въ его разсказахъ, неисчерпаемое богатство вполнѣ реальныхъ образовъ и картинъ и часто неожиданные взрывы чувствъ, которыми проникнуто все, чтобы онъ ни писалъ. Но поразительная вѣрность изображенія русской дѣйствительности, очаровывающая всякаго знакомаго съ нею, далеко не исчерпываетъ главнаго содержанія его творчества. Въ каждой дышащей жизнью фигурѣ, выведенной имъ, въ каждой картинѣ, можно прослѣдить мысли и желанія самого автора, придающія его творчеству сильно субъективный и индивидуальный отпечатокъ. Даже при поверхностномъ знакомствѣ съ произведеніями Горькаго бросается въ глаза въ его манерѣ характеризовать известное лицо или положеніе, въ настроеніи, вызываемомъ авторомъ, въ получаемомъ впечатлѣніи, — нераздѣльность, единство, какъ бы органическая связь выведеннаго передъ нами жизненнаго объекта съ душой и взглядами и могучей индивидуальностью самого автора. Невидимыми нитями переплетается единичное съ цѣлымъ; желаніямъ и чувствамъ отдѣльныхъ личностей противопоставляется вѣчная власть элементарныхъ силъ, а имъ въ свою очередь столь же могучая жажда людей найти новые пути. Все вытекаетъ изъ ярко-развившейся художественной индивидуальности автора и все стремится обратно къ ней же. Отсюда и реализмъ Горькаго, который въ сущности вовсе и не реализмъ въ общепринятомъ смыслѣ слова; отсюда и его вѣчножаждущіе, гордые, преисполненные презрѣнія къ окружающему міру, ненавидящіе его, упрямые, свободолюбивые характеры, очерченные съ поразительной реальностью и все-таки далеко не всегда производящіе впечатлѣніе живыхъ лицъ. Если бы понадобилось дать точное и краткое опредѣленіе этого оригинальнаго,

свободнаго отъ сознательнаго воспріятія чьего бы то ни было вліянія дарованія, то его можно было бы окрестить русскимъ неоромантикомъ. Чисто-національный характеръ его заключается въ сравнительно слабой связи изображаемаго и наблюденнаго авторомъ съ общечеловѣческимъ, міровымъ элементомъ, но это же обусловливаетъ и большую интенсивность мѣстнаго колорита. Если неоромантизмъ вообще стремится достигнуть въ извѣстномъ смыслѣ сліянія субъективнаго съ абсолютномъ, то произведеніямъ русскаго писателя, слабо расположеннаго къ метафизикѣ и философіи, ту же окраску придаетъ исключительно элементарно-общій характеръ окружающей дѣйствительности.

Въ этой чертѣ заключаются почти всѣ элементы и мотивы творчества Горькаго: увлекательная красота его описаній природы, такъ и манящей къ неограниченному развитію всѣхъ силъ человѣка, и необузданно-гордое *Я* его ободренныхъ героевъ, сбрасывающихъ съ себя всѣ оковы и свободно бродящихъ по міру... Вспомнимъ какъ бы опьяненныхъ избыткомъ фантазіи—старуху Изергиль и Макара Чудра въ его восточныхъ легендахъ, жаждущихъ или испить всю чашу жизни до дна, не только съ ея наслажденіями но и страданіями, а въ противномъ случаѣ упрямо отрицающихъ ея цѣну; въ символическихъ произведеніяхъ (Пѣснь о соколѣ и др.), такія же смѣлыя желанія самого автора и силу и мощь, сквозящія въ нихъ... и все это выражено со всѣми особенностями свойственными художественному темпераменту Горькаго. То въ страстныхъ, полныхъ тоски, жалобахъ изливаетъ онъ свое томленіе по чему-то (Однажды осенью), то приходитъ въ злое отчаяніе при видѣ оковъ, опутывающихъ человѣческую жизнь (Скуки ради), то въ его пѣснѣ полно и властно звучитъ горячій призывъ и жажда могущества... (къ послѣднему разряду относится большинство его рассказовъ).

Горькій выбираетъ своихъ героевъ въ самыхъ низшихъ слояхъ общества. Полу-преступники, полу-опустившіеся пролетаріи, они разсыяны по всей Россіи. Определить ихъ мѣсто-нахожденія и свойства путемъ этнографическимъ невозможно—ибо они вербуются изъ всевозможныхъ элементовъ русскаго насе-



ленія. Въ большинствѣ случаевъ, они добровольно, изъ различныхъ побужденій, разорвали связь съ прошедшимъ и пустили свою ладью по бурнымъ волнамъ жизни. Въ противоположность своимъ историческимъ предкамъ—вольницѣ прежнихъ временъ — полу-разбойничьихъ, полу-военныхъ шаекъ, возникшихъ подъ давленіемъ крѣпостного права и занимавшихъ въ государствѣ мѣсто почти автономныхъ организацій,—каждый герой Горькаго обладаетъ своей собственной индивидуальностью, хотя всѣ развиваются подъ одинаковыми социальными-психическими воздѣйствіями. Этимъ обуславливается ихъ своеобразная психологія, выясненіе которой и составляло до сихъ поръ главное содержаніе творчества Горькаго. Какъ явленіе конкретное его бродягу или босняка можно считать воплощеніемъ вѣчной неудовлетворенности. Его стремленіе къ абсолютной свободѣ доходитъ иногда до героизма. Несмотря на всѣ внѣшніе признаки отверженца, на самомъ дѣлѣ не общество отвергаетъ его, а онъ самъ общество. Все отбросить, ко всему, что безчисленными петлями затягиваетъ человѣка, огнестись съ презрѣніемъ,—вотъ, что составляетъ ядро босняцкой натуры. Горькій жадно и чутко прислушивается къ самонамѣтамъ проявленіямъ подобныхъ типовъ и затѣмъ воплощаетъ ихъ въ жизненныхъ образахъ.

Передъ нами проходитъ цѣлый рядъ натуръ героическихъ—Челкашей,—силой воли подавляющихъ въ себя всякое движеніе прежнихъ мирныхъ чувствъ и создающихъ въ себѣ свой собственный, новый міръ, преисполненный опасныхъ подвиговъ и страстнобурныхъ ощущеній; они пьянствуютъ, бродяжничаютъ, упорно и сознательно отрицаютъ какія бы то ни было принудительныя силы во вселенной и чувствуютъ себя господами человѣчества. Затѣмъ меланхолики Коноваловы, находящіеся въ вѣчномъ разладѣ съ самими собой, не понимающіе себя, считающіе себя опасными для жизни, а потому и требующими самыхъ строгихъ законовъ противъ себя самихъ; и они принимаютъ далекія странствія, но лишь въ надеждѣ на то, что бури морскія и буйныя вѣтры успокоятъ ихъ мятуційся духъ. Обыкновенно они находятъ преждевременную смерть или въ тюрьмѣ, куда попадаютъ въ качествѣ бродягъ, или гдѣ-

нибудь на проѣзжей дорогѣ, а то и въ зараженномъ, грязномъ трактирѣ. Далѣе идутъ горячіе сердцемъ Орловы (супруги Орловы), которые мучительно чувствуютъ всю грязь и неприглядность окружающей ихъ жизни; вслѣдствіе неудовлетворенности они вѣчно бросаются отъ одного плана къ другому и, вѣчно волнуясь, влечать жалкое существованіе, жадая необыкновенныхъ подвиговъ. Къ числу ихъ принадлежатъ и бывшіе люди; среди вспышекъ гнѣва, сѣтованія на несбыточность своихъ желаній и философскими разсужденіями о жизни, проходитъ ихъ досугъ и въ то же время они всѣми силами стараются вытравить въ себѣ прежнія прирожденные чувства и мечтаютъ о переоцнѣтѣ всѣхъ цѣнностей. Къ этой категоріи принадлежитъ и Тома Гордѣевъ, выродившійся потомокъ богатаго купца на Волгѣ (въ романѣ того же имени). Отстаивая въ неравной борьбѣ съ гнетомъ и бездушимъ окружающей среды свое собственное я, воспринимающее все, какъ нельзя болѣе непосредственно и элементарно — онъ доходитъ до отчаянія и гибнетъ.

Рядомъ съ героями мы видимъ еще цѣлый рой голодныхъ, преисполненныхъ жаждой жизни, тоскующихъ, но протестующихъ полунагихъ пролетаріевъ. Несмотря на грязь окружающей ихъ дѣйствительности, они до конца сохраняютъ все ту же жажду извѣдать жизнь во всей ея полнотѣ и широтѣ, все такъ же непостоянны въ проявленіяхъ своихъ необузданныхъ душъ. А бокъ-о-бокъ съ мужчинами, авторъ рисуетъ намъ такихъ же женщинъ (Мальва, Орлова), болѣзненно наслаждающихся терзающими ихъ чувствами. Онѣ охотно переносятъ самыя грубыя истязанія мужей, иногда даже намѣренно вызываютъ ихъ, единственно потому, что побои озлобляютъ, а злоба возбуждаетъ всю душу... Вышедшія изъ самыхъ грязныхъ притоновъ, онѣ лишены реальныхъ чертъ. Безконечную тоску, глоющую этихъ людей, можетъ передать развѣ только полная грусти пѣсня широкой безграничной степи; лишь расхлывшіяся силы [природы, когда вѣтеръ гоняетъ по небу грозовыя тучи, а буря вотъ-вотъ смоетъ съ лица жалкой и несчастной земли всю покрывающую ее грязь, и бѣды, и горе

и затынетъ побѣдную пѣснь неугомонной и непобѣдимой силѣ—  
могутъ пробудить въ человѣкѣ тѣже надежды и то же чувство,  
тѣже желанія. Всѣ эти чувства находятъ выраженіе въ фан-  
тастическомъ царствѣ восточныхъ легендъ, въ волшебныхъ  
образахъ Лойко Зоборъ и Радды и т. п.; освобожденные отъ  
всего земного, они носятъ печать того же неугомоннаго духа.  
А надъ всѣми этими образами невидимо парить духъ самого  
автора; онъ, подобно своимъ героямъ, неукратно разбиваетъ  
всѣ цѣпи жизни, и подобно природѣ своей родины, противупо-  
ставляетъ лѣнивому покою вѣчную готовность борьбы. Изъ глу-  
бины его измученной души несется воинственный кличъ и при-  
зывъ къ борьбѣ, къ расторженію всѣхъ людскихъ оковъ,  
дѣлающихъ изъ людей лишь обломки человѣка.

---

## Максимъ Горькій.

„Die Neue Welt“ 1901 г., № 44.

Вотъ уже три года, какъ имя Максима Горькаго переходитъ въ Россіи изъ устъ въ уста. Съ неожиданностью кометы появилось это новое свѣтило на литературномъ горизонтѣ гигантскаго царства Сарматовъ, и взоры всѣхъ сразу устремились на него съ выраженіемъ жгучаго любопытства и радостной надежды. Едва достигши 33-хъ лѣтъ, Горькій уже увѣнчанъ лаврами, имя его ставится рядомъ съ именемъ великаго старца Льва Толстого, какъ бы признавая этимъ равное ихъ вліяніе на умы современниковъ; о немъ безконечно много пишутъ, его прославляютъ и чествуютъ, какъ избраннаго любимца народа.

Причина такого успѣха станетъ вполне понятной, если припомнить, что въ Россіи слово „писатель“ имѣетъ совершенно иное значеніе, чѣмъ въ наше время у насъ въ Германіи. Русская муза—воинственная женщина, и кто хочетъ служить ей, долженъ быть отважнымъ воиномъ, готовымъ пасть на полѣ сраженія, когда пробьетъ его часъ. И въ настоящее время тамъ смотрятъ еще на народъ, какъ на безгласное стадо, удѣлъ котораго терпѣніе и покорность (подобный взглядъ господствовалъ и въ эпоху Ивана Грознаго); писатель является единственнымъ истолкователемъ того, что происходитъ въ душѣ народа, и чѣмъ талантливѣе и живѣе даетъ онъ выраженіе подавленнымъ чувствамъ поработенныхъ миллионовъ, чѣмъ глубже затрагиваетъ назрѣвшія потребности времени, тѣмъ радостнѣе будутъ привѣтствовать его, но съ тѣмъ большею вѣроятностью можно ожидать, что онъ падетъ жертвой мести и настойчивыхъ преслѣдованій. Исторія русской литературы читается какъ собраніе жизнеописаній мучениковъ. Висѣлица, тюрьма, сибирскіе рудники играютъ большую роль въ судьбѣ

русскихъ писателей. Одни изъ нихъ кончили сумасшествіемъ, другіе умерли съ голоду, третьи насильственнымъ образомъ отданы въ солдаты, иные же предались съ отчаянія пьянству или умерщвлены на дуэли, являясь жертвой низкихъ интригъ. И только немногіе покинули міръ „естественнымъ“ путемъ, — умерли съ горькимъ чувствомъ печали и скорби о судьбѣ своего народа, для котораго такъ горячо билось ихъ сердце и которому они тщетно старались помочь.

50-е и 60-е годы XIX столѣтія были эпохой полного расцвѣта русской литературы. Тургеневъ, Толстой, Достоевскій, сатирикъ Салтыковъ-Щедринъ, драматургъ Островскій, поэтъ-публицистъ Некрасовъ написали тогда свои лучшія, наиболѣе зрѣлыя произведенія. Потомъ на руссійскомъ Парнасѣ наступило затишье; только отъ времени до времени раздавался могучій пророческій голосъ убѣленного сѣдинами старца Толстого, да Антонъ Чеховъ въ своихъ многочисленныхъ, полныхъ желчной ироніи, рассказахъ осыпалъ насмѣшками безцвѣтную буржуазію и погрязшую въ рутинѣ бюрократію.

Но вдругъ въ воздухѣ послышались новые звуки: съ береговъ Чернаго моря, изъ далекихъ южно-русскихъ степей, пришелъ босаякъ и затащилъ полною грудью незнакомую пѣснь, какой до того времени еще не раздавался въ предѣлахъ русской земли. Онъ пѣлъ о свободѣ, о свободѣ цыганъ, свободѣ бродягъ, гуляющихъ по степямъ, о свободѣ „отверженныхъ“, стоящихъ внѣ закона и общества. Такимъ образомъ оказалось, что еще есть свобода въ крѣпкой рабствомъ Руси, хотя бы то была свобода „лишенныхъ покровительства законовъ“. И вѣсть эту, въ которой странно мѣшалась истина съ горькой насмѣшкой, принесъ русскому народу „пѣвецъ степей“. Его новые напѣвы заключали въ себѣ нѣчто такое непривычно-освѣжающее, бодрящее, что послѣ покаянныхъ проповѣдей Толстого и холодной ироніи Чехова, дѣйствовали какъ купанье въ пѣнящемся чистомъ горномъ ручьѣ. Какъ чудо природы поразило всѣхъ появленіе этого писателя изъ народа, выступившаго на литературную арену въ рабочей блузѣ, въ шароварахъ и грубыхъ юфтяныхъ сапогахъ. Русскіе литераторы и

поэты писали почти исключительно о народѣ и для народа, но они по большей части принадлежали къ привилегированнымъ классамъ общества и только „ходили“ въ народъ, изучали его или соболѣзновали о немъ, но, несмотря на усиленные старанія, не могли достигнуть совершеннаго сліянія съ нимъ. Въ лицѣ же Максима Горькаго этотъ старательно изучаемый, многострадальный народъ заговорилъ самъ; изъ суровыхъ испытаній собственной жизни узналъ онъ его душу, его нужду, лишения, тяжелый трудъ, міровоззрѣніе, радости и надежды — все это онъ не только „изучалъ“, но лично, съ самыхъ раннихъ лѣтъ, пережилъ и перечувствовалъ. И этотъ выходецъ явился не затѣмъ, чтобы требовать состраданія или смиренно выпрашивать милостей для притѣсненныхъ и обездоленныхъ, напротивъ, онъ выступаетъ гордо и самонадѣянно, какъ одинъ изъ героевъ давнихъ казачьихъ мятежей, приводившихъ въ трепетъ все царство; выступаетъ какъ Стенька Разинъ или Пугачевъ; онъ призываетъ падшихъ духомъ собратій вспомнить о своихъ неотъемлемыхъ правахъ, о своемъ человѣческомъ достоинствѣ. И словно по волшебству всѣ, кто со скрежетомъ зубовъ, переносилъ современное иго, признали въ немъ своего излюбленного писателя; особенно студенчество, женщины и просвѣщенные рабочіе привѣтствовали въ лицѣ Максима Горькаго своего желаннаго вождя.

Автобіографія Горькаго представляетъ собою полную приключеній романтическую поэму изъ современной жизни. Повторять ее мы не будемъ — она всѣмъ извѣстна.

Въ 1898 году было издано въ двухъ объемистыхъ томахъ первое собраніе его сочиненій: русская критика съ увлеченіемъ заговорила о немъ, какъ о звѣздѣ первой величины, какъ о крупномъ писателѣ, обогатившемъ отечественную литературу новыми типами изъ новой среды. Его называли „пѣвцомъ протестующей міровой скорби“, „философомъ свободныхъ стремленій“, „Колумбомъ босяцкаго царства“.

Живая, увлекательная манера изложенія, смѣлость и непосредственность сужденія по самымъ сложнымъ социальнымъ, психологическимъ и философскимъ вопросамъ, немедленно

вызвали образованіе партій „за“ и „противъ“, и вскорѣ онъ приобрѣлъ, рядомъ съ многочисленными противниками изъ консервативнаго лагеря, громадное количество почитателей и приверженцевъ. Журналъ „Жизнь“ обязанъ своимъ распространеніемъ преимущественно его сотрудничеству. Въ немъ печаталась повѣсть „Юма Гордѣвъ“ и первая часть романа „Трое“.

Русская публика съ большимъ нетерпѣніемъ ждетъ „новаго слова“ отъ своего любимаго писателя.

Мы сообщили здѣсь въ главныхъ и общихъ чертахъ все, что извѣстно до сихъ поръ о замѣчательной судьбѣ этого человека. Горькій еще молодъ и окончательный приговоръ надъ его произведеніями не можетъ быть произнесенъ. Но можно съ увѣренностью сказать, что и написанное до сихъ поръ составляетъ признать его въ высшей степени оригинальною личностью среди остальныхъ литераторовъ. Удовлетворяетъ ли онъ строгимъ требованіямъ литературнаго слога — это уже другой вопросъ. Достоевскій сотни разъ грѣшилъ въ слогѣ, почти въ каждой его повѣсти найдутся промахи въ этомъ отношеніи, между тѣмъ, онъ по справедливости считается величайшимъ гениемъ XIX столѣтія, тогда какъ изящный по формѣ Тургеневъ наполовину уже забытъ. Максимъ Горькій во многихъ отношеніяхъ напоминаетъ Достоевскаго и Толстого, но его манера изложенія болѣе увлекательна, непосредственна и груба. Въ то время, какъ Достоевскій и Толстой приписываютъ всѣ бѣдствія сильнымъ міра, стараются усовѣститъ ихъ и обратиться къ покаянію, стремленія Горькаго направляются къ тому, чтобы усилить оппозицію слабыхъ и притѣсненныхъ, поднять ихъ внутреннее достоинство, пробудить ихъ отъ приниженного сознанія своего ничтожества въ сравненіи съ тѣми, кто надъ ними господствуетъ. Горькій съ любовью выбираетъ своихъ героевъ изъ среды „отверженныхъ“, изъ презрѣннаго пролетаріата, который живетъ сегодняшнимъ днемъ, гнѣздится въ трущобахъ большихъ городовъ, иногда немного работаетъ, въ лѣтнее время бродитъ по степямъ и находитъ утѣшеніе въ наслажденіи свободой, такъ что въ очень незначительной сте-

пени пользуется благами цивилизации. Босяки Горькаго — философы горячей крови, они не переносят свою судьбу съ тупой собачьей покорностью, напротивъ, обыкновенно очень ясно разсуждаютъ на всѣ темы, которыхъ мимоходомъ касаются, и подвергаютъ весьма радикальной критикѣ установившійся порядокъ человѣческихъ отношеній, государство, общество, культуру.

Большую часть разсказовъ Горькій посвящаетъ этому социальному элементу, для котораго онъ настойчиво требуетъ выдѣленія въ особый „классъ“, а въ нѣкоторыхъ разсказахъ — „Бывшіе люди“, „Коноваловъ“, „Мальва“, „Проходимецъ“ — онъ перечисляетъ всѣ примѣты этой новой общественной группы съ документальною точностью.

Горькому ставили въ упрекъ, что онъ не довольствуется фотографическимъ изображеніемъ среды, а придаетъ своимъ описаніямъ сентиментальную окраску. Такъ часто бываетъ — прежніе писатели, пользовавшіеся большой популярностью, впадали въ подобный тонъ, когда рѣчь шла о бѣдствіяхъ несчастныхъ и угнетенныхъ. Но именно въ томъ то и заключается существенное преимущество Горькаго, что онъ оставляетъ въ сторонѣ всякую сентиментальную жалость, описываетъ явленія, не прикрашивая дѣйствительности, не заботясь о томъ какое они произведутъ впечатлѣніе; помимо его воли, благодаря яркому освѣщенію, въ которомъ являются его герои, вопіющія общественныя условія, порождающія подобныхъ людей рѣзко выступаютъ изъ мрака.

Горькаго осуждали еще за то, что онъ будто бы вкладываетъ въ уста своихъ босяковъ собственную горькую философію и этимъ вводитъ читателя въ заблужденіе, представляя свои типы въ ложныхъ краскахъ. Но вѣдь онъ почерпнулъ эту философію, вращаясь въ обществѣ тѣхъ же босяковъ; среди тѣхъ же презрѣнныхъ проходимцевъ рано развившійся и упорно пробивавшій себѣ дорогу юноша нашелъ высоко-честныхъ друзей, и онъ только исполняетъ долгъ высшей справедливости, содѣйствуя своими поэтическими сочиненіями распространенію въ обществѣ босяцкихъ воззрѣній, имѣющихъ глубокое социаль-



ное значеніе. Созданные имъ образы потому и увлекаютъ насъ, что онъ воплотилъ въ нихъ всю силу своего мощнаго таланта, и именно это выдвигаетъ его изъ узкихъ національныхъ рамокъ и возводитъ на степень всемірнаго писателя. Гдѣ еще можно найти подобные драгоценные перлы истинной новѣйшей поэзіи, какими изобилуютъ небольшіе эскизы Горькаго? Взять, на примѣръ, „Двадцать шесть и одна“, незамѣтную трагедію изъ быта пекарей, или „Однажды осенью“, эту болѣзненно сжимающую сердце „Исторію поцѣлуя“, или „Товарищей“, „Емельяна Пиляй“, „Скуки ради“, „Болесь“, „Баина и Артема“ — найдутся ли у Мопассана, прославленнаго художника слова, такіа задушевныя, полныя захватывающаго интереса, страницы? Национальная русская „Тоска“, неудовлетворенность, или „мировая скорбь“ неоднократно являются темой разсказовъ Горькаго. Внутреннее недовольство и самимъ собой и окружающими условіями — причина той „меланхоліи“, которая топить въ винѣ жаждущаго подвиговъ сапожника Орлова, равно какъ и философа-богатыря Коновалова, осужденнаго на всю жизнь печь хлѣбы. Сельскій ростовщикъ Тихонъ, „тоска“ котораго имѣетъ въ основѣ своей не болѣе какъ угрызенія не совѣстѣ чистой совѣсти, также заглушаетъ виномъ этотъ внутренний голосъ, чтобы отдѣлаться отъ его непріятныхъ напоминаній. Этотъ разсказъ, гдѣ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является Тихонъ, — превосходная общественная сатира, живо напоминающая Гоголя: Горькій любитъ своихъ тоскующихъ угрюмыхъ героевъ; таковъ же и Ѳома Гордѣевъ, молодой сынъ новгородскаго милліонера, открыто порицающій пошлость и бесполезность существованія богачей, подобныхъ себѣ, и за это ими признается за сумасшедшаго. Въ этомъ же родѣ Ілья Луневъ, одинъ изъ „Троихъ“, о судьбѣ котораго повѣствуетъ Горькій въ своемъ послѣднемъ разсказѣ. Въ этомъ разсказѣ Горькій поднимается на такую высоту творчества, которая заставляетъ ожидать отъ него величайшихъ литературныхъ произведеній.

Страстная любовь къ людямъ и природѣ, красоты которой Горькій умѣетъ описывать съ законченнымъ совершен-

ствомъ, непримиримая ненависть ко всякаго рода притѣсненіямъ и несправедливости, проникательный взглядъ на сущность и самое важное въ жизни, смѣлый, широкій взмахъ кисти въ изображеніи ея, рядомъ съ удивительной яркостью и наглядностью въ описаніи деталей, при этомъ богатый запасъ личнаго опыта и поразительное трудолюбіе,—вотъ тѣ художественныя данныя, которыя снискали этому поэту-пролетарію и сыну народа, палму высшаго успѣха.

*Августъ Шольцъ.*

## Новый міръ Горькаго.

Статья Феликса Поппенберга изъ „Nation“.

До послѣдняго времени излюбленными типами Горькаго были люди свободы, сбросившіе съ себя общественныя оковы—неисправимые бродяги. Въ своихъ разсказахъ онъ постоянно возвращается къ этимъ номадамъ, нашедшимъ свободу въ полной безпритязательности; они, несмотря на то, что голодная смерть преслѣдуетъ ихъ по пятамъ, все же по-своему разрѣшили одинъ изъ труднѣйшихъ вопросовъ жизни, а именно: вполне сознательно и ясно опредѣлили свое отношеніе къ остальному міру.

Бояться имъ нечего, такъ какъ жизнь, которую они ведутъ, выбрана ими самими и имъ по вкусу. Изображая этихъ людей, давая намъ живой образъ побѣдителей жизни въ лохмотьяхъ, Горькій воодушевляется, характеризуетъ ихъ со страстью, почти влюбленностью. Похоже, будто самъ онъ нѣсколько завидуетъ цѣльности ихъ натуры. То же чувство, но еще яснѣе, проглядываетъ въ произведеніяхъ писателя, въ которыхъ дѣйствіе переносится въ инныя сферы, въ міръ пошлости—городъ; жизнь тамъ сушитъ людей; это міръ, гдѣ люди, ослѣпшіе отъ вѣчнаго мрака, обезсиленные постояннымъ принужденіемъ, въ вѣчной борьбѣ съ самими собой, недовольные, страдающіе, никогда несознающіе собственныхъ желаній и вслѣдствіе этого метущіеся изъ стороны въ сторону—съ трудомъ переносятъ ярмо жизни.

Вотъ эту-то глухую, безпросвѣтную, притупляющую умъ, душевную путаницу, Горькій изображаетъ съ тѣмъ же проникновеніемъ и тою же страстностью, какъ и беззаботную философію и принципъ „что намъ за дѣло!“ тѣхъ, равнодушія и спокойствія которыхъ уже ничто на свѣтѣ не въ состояніи поколебать. Съ болью и горечью передаетъ онъ намъ

жалобную пѣсню отупѣнія и до боли жаждать, чтобы люди вышли побѣдителями изъ этого состоянія. Характерно то, что какъ разъ наиболѣе крупныя его произведенія занимаются не судьбою уже освободившихся, а разыгрываются въ глухихъ тупикахъ, куда загоняетъ жизнь своихъ рабовъ.

Уже первый его крупный романъ, „Томъ Гордѣвъ“, справедливѣе было бы озаглавить „Картина нравственной каторги“. Вся жизнь героя, начиная съ ранняго дѣтства вплоть до гибели, проходитъ на нашихъ глазахъ. Мучительное сознаніе безсмысленности своего существованія, постоянныя сомнѣнія и терзанія переполняютъ его душу и, какъ смолей, склеиваютъ ее, т.-е. у него хватаетъ ума лишь на то, чтобы ясно подмѣтить всѣ противорѣчія, все зло, разлитое вокругъ, но не на то, чтобы создать себѣ какое бы то ни было, но свое собственное, міросозерцаніе: для этого онъ не достаточно зрѣлъ и дисциплинированъ—и онъ гибнетъ.

Это одна изъ разновидностей нищихъ духомъ; ни тѣ, что имѣютъ надежду попасть въ царствіе небесное, какъ обѣщано въ Евангеліи, не истинно смиренные и чистые сердцемъ, а неловкіе самоистязатели, непризванные философы, которымъ уже на ряду написано окончательно запутаться въ хаосъ вещей. Они и слишкомъ неразвиты и умъ у нихъ слишкомъ тяжело-вѣсный для того, чтобы они могли разобраться въ окружающемъ, и все уяснить себѣ. Изъ нихъ вырабатываются упрямые и безпомощные жизнененавистники съ озлобленіемъ фанатиковъ вкатывающихъ на гору свой Сизифовъ камень, пока онъ, сорвавшись внизъ, по пути не раздавитъ ихъ же самихъ.

И въ коротенькихъ рассказахъ Горькаго встрѣчаются подобные фигуры, напр. сапожникъ Орловъ, на котораго временами неизбѣжно нападаетъ хандра, и Коноваловъ, который, несмотря на безграничную любовь къ бродяжничеству, однако, тоже не можетъ избѣжать тоски.

Ту же тему разрабатываетъ Горькій и въ своемъ новомъ крупномъ романѣ „Трое“. Намъ онъ кажется какъ бы дополненіемъ къ Томѣ Гордѣву.

Богатый купеческій сынъ въ первомъ, и Илья Луневъ во второмъ, товарищи по несчастію. Различна только обстановка, въ которой они живутъ, но одинаковъ гнетъ, не дающій имъ свободно дышать, одинакова путаница мыслей, изъ которой они не находятъ выхода, и разбиваютъ себѣ черепъ.

Всѣхъ насъ жизнь ухватила за глотку и придушила—вотъ конечный выводъ, къ которому приводитъ подобныхъ людей постоянное ломанье головы надъ вопросами жизни; словно высокая стѣна, въ которую они упираются. Жалкіе, безпомощные, спотыкаясь на каждомъ шагу, бесполезно бросаясь изъ стороны въ сторону, точно попавшая въ ловушку крыса, бѣгаютъ они взадъ и впередъ вдоль этой стѣны, толкаются въ нее, что-то бормоча, и ни на одинъ шагъ не подвигаются впередъ, не приближаются къ разгадкѣ задачъ и жизни. И то, что Горькій заставляетъ Илью въ концѣ романа раскроить себѣ черепъ объ стѣну—заключаетъ въ себѣ глубокій символъ.

Но Илья не только раздумывалъ, но и дѣйствовалъ; совершилъ поступокъ Раскольниковъ, убилъ стараго ростовщика.

Вспышка ревнивой ненависти къ богатому старику, съ которымъ Ильѣ приходится дѣлить обладаніе возлюбленной,—мотивъ чисто—внѣшній, минутный порывъ, толчокъ, на самомъ же дѣлѣ его побуждаетъ къ убійству бѣшенство и жажда мести за свою неудавшуюся жизнь.

Повидимому, авторъ не случайно, а вполне сознательно заставляетъ Илью совершить преступленіе Раскольниковъ; также какъ сознательно заканчиваетъ романъ сценой сознанія Ильи въ убійствѣ старика, въ присутствіи цѣлаго общества; эта сцена сколокъ типичнѣйшей для Толстого сцены всенароднаго покаянія Никиты.

Мы утверждаемъ: сознательно, потому что Горькій, повидимому, этимъ самымъ хотѣлъ еще больше отгѣнить родовое различіе между тѣми людьми и своими героями, рѣзко подчеркнуть ихъ коренное отличіе.

Раскольниковъ и Никита—кающіеся преступники, изнемогающіе подъ тяжестью сознанія своей вины; усталые и измученные, они жаждутъ очистительнаго огня искупленія; придав-

ленные непосильной тяготой, которую дольше не въ состояніи нести одни, — они томятся желаніемъ во что бы то ни стало освободиться, очиститься и ради этого готовы перенести всяческое возмездіе, погибнуть отъ меча, но лишь бы избавиться отъ ужасной неизвѣстности и вѣчной угрозы, висящей надъ ихъ головой. Они сами всячески унижаютъ себя, чтобы потомъ воскреснуть.

У Горькаго мы также встрѣчаемъ подобнаго кающагося грѣшника, родственнаго по натурѣ героямъ Достоевскаго и Толстого—это одинъ изъ предковъ Ильи, Антипъ Луневъ; проживши 50 лѣтъ въ грѣхѣхъ и порокахъ, онъ потомъ дѣлается аскетомъ и даетъ обѣтъ молчанія и воздержанія до самой смерти. Но у его потомка Ильи вырабатывается уже иное міросозерцаніе, а потому и его сознаніе въ преступленіи носитъ совершенно иной характеръ. Илья ни на минуту не раскаивается въ своемъ поступкѣ, наоборотъ, онъ сознательно указываетъ на то что вокругъ него постоянно совершаются вещи гораздо болѣе жестокія и ужасныя нежели убійство, хотя они и не осуждаются законами. И подобно князю въ „Воскресеніи“ онъ приходитъ къ сумасбродному заключенію, что судимые нравственно не хуже своихъ судей.

Но такъ какъ онъ ни князь и не присяжный, а просто пролетарій, то ему и не представляется случая показать собою примѣръ самообличенія и сложить, такъ сказать, всяческія отличія и должности. Наоборотъ, онъ только сильнѣе озлобляется. И для него было бы не облегченіемъ стоять въ качествѣ обвиняемаго передъ людьми, которыхъ онъ презираетъ, а только тяжело и гадко. И если онъ въ концѣ-концовъ все-таки бросаетъ свѣту свое признаніе въ убійствѣ, то не вслѣдствіи желанія принять на себя крестъ или жажды раскаянія, какъ у Толстого и Достоевскаго, а вслѣдствіи совершенно иныхъ побужденій. Но тутъ мы должны вернуться отъ Ильи, совершившаго извѣстный поступокъ, къ Ильѣ-мыслителю.

Когда передъ веселымъ, въ корнѣ испорченномъ, но наружно столь приличномъ обществѣ, собравшимся праздновать семейное торжество Автономовыхъ, онъ рѣзко срываетъ по-

крывало съ своего поступка, то этимъ самымъ доходить въ своемъ мышленіи до крайняго предѣла. Онъ не умѣетъ разобратся въ жизнь—не изъ-за убійства, а вѣрнѣе, несмотря на него. Совѣсть не мучаетъ его—она у него крѣпкая, но тягостная и смутная неясность понятій, не переставая, терзаетъ его и послѣ совершенія поступка, отъ котораго онъ ждалъ облегченія. Онъ никакъ не можетъ ни на чемъ успокоиться; даже когда, благодаря мелочной торговлѣ, ему удастся до нѣкоторой степени внѣшне упорядочить свой образъ жизни, глухое недовольство не исчезаетъ, а продолжаетъ досаждать, и все ему противно и отвратительно. Ему сдается, что съ каждымъ днемъ, онъ все глубже и глубже падаетъ въ бездонную пропасть.

Оглядываясь кругомъ и видя сытое самодовольство людей, обманывающихъ и обманутыхъ, не задумывающихся надъ жизнью, а принимающихъ ее такою, какова она есть, Илья доходитъ до бѣшенства, стремится во что бы то ни стало пробудить ихъ, запугать и, подобно анархисту, бросающему бомбу, швыряетъ въ общество беззаботно-болтающихъ и чирикающихъ по-птичьему признаніе въ преступленіи. То же побужденіе заставляетъ болѣе безбиднаго Орлова совершить дикій, вызывающій поступокъ въ госпиталѣ: „Приливъ дикой удали, страстнаго желанія все опрокинуть, вырваться изъ гнетущей душу путаницы горячей волной охватило Гришку. Ему показалось, что вотъ сейчасъ онъ сдѣлаетъ что-то необыкновенное и сразу разрѣшитъ свою темную душу отъ путъ, связавшихъ ее.“

Потому-то сознаніе Ильи не есть добровольное принятіе на себя креста, а сведеніе счетовъ съ обществомъ, то же, что совершаетъ его болѣе богатый собратъ по духу—Ома Гордѣевъ, отчитывающій купцовъ, представителей лучшаго сословія.

Это такъ сказать, выставка на показъ собственной души, чтобы показать людямъ, съ такимъ трогательнымъ единодушіемъ прикрывающимъ свои общіе пороки, какъ выглядить человѣкъ, помѣченный самою жизнью, безъ ка-

нихъ бы то ни было прикрасть и покрововъ. Онъ жаждетъ указать имъ на бездну, зіяющую у ихъ ногъ, для того, чтобы и они, хоть однажды, почувствовали то, что вѣчно преслѣдуетъ его самого, почувствовали ужасъ жизни. И въ этотъ моментъ, единственный разъ за всю свою жизнь, онъ чувствуетъ себя свободнымъ и удовлетвореннымъ. Въ этотъ моментъ въ немъ проявляется даже что-то сатанинское: „Онъ стоялъ, не чувствуя подъ собою пола, какъ на воздухѣ, и ему казалось, что онъ тихо поднимается все выше. Плотный, крѣпкій, онъ выгнулъ грудь впередъ и высоко вскинулъ голову. Курчавые волосы осыпали его большой блѣдный лобъ и виски, глаза смотрѣли насмѣшливо и зло.“ А когда въ комнатѣ водворяется тишина и жалкіе, испуганные людишки молча жмутся по стѣнамъ, — онъ громогласно заявляетъ: „Вы думаете — каюсь я передъ вами? Дождитесь! Смѣюсь я надъ вами, вотъ что.“

Эта сцена ясно доказываетъ, до какой степени сознательно Горькій отмѣчаетъ разницу подобныхъ же поступковъ у героевъ писателей-художниковъ „раскаіянія“.

Мы считаемъ этотъ романъ въ высшей степени характернымъ для міросозерцанія молодого русскаго поколѣнія. Если же на него смотрѣть не какъ на документъ, но исключительно съ строго-художественной точки зрѣнія, то придется поставить его далеко ниже удивительныхъ разсказовъ Горькаго.

Всѣ его разсказы отличаются чрезвычайной ясностью, опредѣленностью, преисполнены жизни и силы; въ нихъ люди и событія очерчены увѣренно, правдиво и производятъ полную иллюзію жизненности — кажется, что иными эти люди и не могли быть, иначе не могли сложиться обстоятельства. Въ нихъ мы становимся лицомъ къ лицу съ инстинктивной страстностью полудикихъ людей, отъ нихъ вѣетъ горячимъ дыханіемъ натуръ примитивныхъ. Въ своихъ же романахъ Горькій выводитъ вѣчно рефлектирующихъ людей; на протяженіи почти 500 страницъ онъ заставляетъ Илью размышлять, сомнѣваться, толочься на одномъ мѣстѣ, а это утомительно. Не чувствуется, чтобы авторъ, вполне владѣлъ своимъ сюжетомъ, а кажется, будто онъ вмѣстѣ съ героемъ беспомощно уткнулся



въ голую, сырую стѣну. Чтобы заставить и читателя испытать то же чувство, онъ томить его тяжелой, какъ свинецъ, монотонностью, все снова и снова заставляя переживать тѣ же положенія. Сверхъ того Илья и его товарищи слишкомъ однородны, ради примѣра настроены слишкомъ однообразно, чтобы ихъ жизнеописаніе могло съ успѣхомъ наполнить столь растянутую книгу.

И еще слѣдуетъ замѣтить, что чѣмъ больше знакомишься съ произведеніями Горькаго—а они появляются теперь словно грибы послѣ дождя, сразу въ двухъ, трехъ переводахъ каждое—тѣмъ больше убѣждаешься въ постоянствѣ его приемовъ и одинаковости обстановки, въ которую онъ любитъ ставить своихъ героевъ. И въ этомъ романѣ повторяется опять тоже: громадный домъ—пріютъ всякой голи, съ утра до вечера наполненный шумомъ и гамомъ, ревомъ пьяныхъ, воплями бабъ, которыхъ колотятъ, плачемъ дѣтей... въ сумерки же онъ выплываетъ во дворъ своихъ обитателей. Тѣ же глубоко падшіе люди, производящіе впечатлѣніе будто ихъ только что кто-то отколотилъ; тѣ же, кутающіяся по угламъ дѣти, которыхъ всячески притѣсняютъ, и въ видѣ контраста хитрый, жадный трактирщикъ — гроза всѣхъ. Въ довершеніи сходства, на лицо и два остальныхъ, неизбѣжныхъ у Горькаго, типа—философъ-алкоголикъ, башмачникъ, и человекъ смиренномудрый, богобоязненный, радующійся своему униженію и ожидающій награду за него въ небѣ; на землѣ эти люди большею частью надѣлены горбомъ или же собираютъ тряпки... собственно говоря, ихъ истинный творецъ Толстой, а Горькій приходится имъ лишь пріемнымъ отцомъ.

Изъ числа женскаго персонала, первое мѣсто принадлежитъ падшимъ женщинамъ, жертвамъ общества; своей наивной испорченностью, состраданіемъ и добродушіемъ онѣ составляютъ рѣзкую противоположность съ фальшивыми, развращенными до мозга костей и лишь драпирующимися въ корректность и добродѣтель, буржузками.

И онѣ не впервые открыты, и ихъ типы не созданы Горькимъ, а ведутъ свое происхожденіе отъ Толстого и Достоев-

скаго. Поэтому-то получается впечатлѣніе, будто Горькій въ этомъ романѣ утерять почву, не черпаетъ изъ запаса собственной наблюдательности,—а лишь даетъ представленіе съ различными встрѣчающимися въ литературѣ типами. Онъ заимствуетъ у другихъ своихъ дѣйствующихъ лицъ и заставляетъ ихъ плясать подъ дудочку своего новаго міровоззрѣнія. Но отъ этого получается нѣчто фальшивое, искаженное,

Что Горькій по своимъ взглядамъ и смѣлѣе, и идетъ дальше, нежели всѣ кающіеся герои Достоевскаго и Толстого и что его взгляды гораздо симпатичнѣе—по крайней мѣрѣ для меня—взглядовъ тѣхъ—это статья особая; для художественнаго творчества не столь важно міросозерцаніе автора, сколько художественная сила, съ которой онъ его воплощаетъ. А въ этомъ отношеніи оба пѣвца покаянія и искупленія разъ въ семь выше поэта твердой совѣсти.

## Максимъ Горькій.

Статья доктора Alkalay въ Norddeutsche allgemeine Zeitung  
январь, 1902 г.

Рѣдко удавалось иностранному писателю настолько быстро завоевать симпатіи нѣмецкой читающей публики, какъ это было съ Горькимъ. Въ настоящее время у насъ въ рукахъ уже достаточно матеріалу, чтобы дать о немъ обстоятельный отзывъ, не обусловленный невольнымъ удивленіемъ, охватившимъ насъ въ первую минуту его появленія. Этому было двѣ причины: во-первыхъ, странная, столь отличная отъ нашей правильной и развѣренной жизни судьба писателя, а во-вторыхъ, новизна того міра, въ который онъ вводилъ насъ.

Европейской литературѣ страшно вредитъ то, что между народными массами и образованными классами лежитъ цѣлая пропасть. Писатели же большею частью выходятъ изъ интеллигенціи, плохо знаютъ народъ и не имѣютъ возможности общаться съ нимъ. Этимъ объясняется, что большая часть литературныхъ произведеній посвящена исключительно интересамъ и жизни образованныхъ классовъ, а то великое единеніе духа писателя съ духомъ народа, благодаря которому творенія Шекспира доступны всѣмъ безъ исключенія—у насъ утрачено окончательно. Въ русскихъ писателяхъ, въ большинствѣ случаевъ, получившихъ первоначальное воспитаніе въ усадьбахъ, и вслѣдствіе этого хорошо знающихъ привычки, обычаи и образъ жизни своего народа, этотъ недостатокъ замѣчается гораздо рѣже. Къ тому же образованіе большею частью не успѣло еще окончательно перевоспитать ни ихъ ума, ни души, такъ что они не утратили еще желательной и крайне необходимой связи съ духомъ своего народа. Судьбѣ было угодно, чтобы Горькій долгое время прожилъ съ народомъ, какъ одинъ изъ нихъ, и также, какъ и они, зарабатывалъ себѣ пропитаніе

тяжелымъ физическимъ трудомъ. И эта жизнь, кажущаяся намъ на первый взглядъ столь тяжелой и вредной для развитія писательскаго таланта, доставила ему именно то, чего такъ недостаетъ большинству нашихъ писателей: знанія жизни, и знакомства съ людьми самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества, и множествомъ различныхъ ремеслъ и занятій.

Натуралисты ввели насъ въ среду рабочихъ; Горькій идетъ дальше, знакомить съ людьми по тѣмъ или инымъ причинамъ, очутившимся за бортомъ общественной жизни, влачащихъ свое существованіе изо дня въ день, работающихъ когда можно и что попало, а если работы не находится, просящихъ милостыню. Эти люди не заботятся ни о кровѣ ни о пропитаніи и считаютъ излишнимъ ломать голову надъ тѣмъ, какъ прожить завтрашній день. Если нѣтъ пристанища—они ночуютъ подъ открытымъ небомъ; нѣтъ пропитанія—будутъ голодать, воровать, вымогать или обманывать. До сихъ поръ мы мало обращали вниманія на этихъ людей; когда иногда въ сумеркахъ мимо насъ прошмыгивалъ оборванецъ въ лохмотьяхъ, то мы всячески старались избѣжать встрѣчи съ нимъ; случалось ли намъ проходить мимо притоновъ, гдѣ возсѣдали подозрительныя личности и ихъ сильные голоса доносились до насъ, какъ мы тотчасъ же спѣшили прочь. Они жили среди насъ, но мы не обращали на нихъ никакого вниманія. Теперь же мы знаемъ ихъ, интересуемся ихъ своеобразной жизнью, ихъ философій, въ большинствѣ случаевъ сводящейся къ возгласу: „а плевать я хочу на всѣхъ и на все!“, ихъ настроеніемъ, всегда приподнятымъ и съ минуты на минуту грозящимъ взрывомъ. Слѣдовательно, мы проникли въ невѣдомую намъ дотоѣ сферу, познакомились съ писателемъ, непосредственность, правдивость и духовная связь съ народомъ котораго насъ одновременно и удивила и обрадовала. И вотъ у меня почти является желаніе, чтобы жизнь такъ же сурово обходилась съ нашими поэтами, какъ съ Горькимъ, но при этомъ, конечно, нужно бы было, чтобы на ряду съ поэтическимъ дарованіемъ они обладали такою же смѣлостью и устойчивостью, какъ и онъ, давшими ему возможность преодолѣть всѣ препятствія

и сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ предназначила ему сдѣлаться сама природа.

Теперь рождается вопросъ: не были ли удивленіе и особенно новизна среды, которую изображаетъ Горькій, причиной того, что мы переоценили его заслуги? Могутъ ли его произведенія съ успѣхомъ выдержать строгій критическій анализъ и послѣ того, какъ мы нѣсколько освободимся отъ ошеломляющаго впечатлѣнія, вызваннаго первымъ знакомствомъ съ нимъ?

Въ настоящее время мы имѣемъ его рассказы и романы и изъ другого быта. Возможно, что и въ нихъ онъ лишь перерабатывалъ впечатлѣнія, полученные во время странствій; но въ нихъ героями являются уже не „Бывшіе люди“. Напр. сюжетомъ разсказа „Супруги Орловы“ служитъ невидная, но глубокая семейная драма молодыхъ и красивыхъ супруговъ; благодаря однообразію и безцвѣтности жизни, благодаря окружающей ихъ грязи и гадости, въ нихъ развивается раздражительность, доводящая ихъ до дракъ. Разражается эпидемія холеры, сапожникъ Орловъ съ женой поступаютъ служителями въ бараки. И вотъ въ первый разъ въ жизни они чисто одѣты и живутъ по-людски—какая въ этомъ глубокая иронія! Орлова находитъ въ себѣ силы и умѣнье окончательно подняться надъ прежней жизнью, а онъ попрежнему остается пьяницей и опускается все ниже. Сюжетъ романа „Ома Гордѣевъ“ чисто психологическій; герой „Вареньки Олесовой“ — приватъ-доцентъ. Очевидно, Горькій не ограничивается разсказами исключительно изъ одного круга. Что же онъ даетъ намъ, когда новизна и странность матеріала не заинтересовываютъ насъ сами по себѣ?

Въ этихъ разсказахъ и романахъ русскій писатель обнаруживаетъ тѣ же достоинства, которыми мы восторгаемся въ „Бывшихъ людяхъ“. У него много общаго съ дарованіемъ Мопассана. Та же способность нѣсколькими краткими, но выразительными чертами охарактеризовать внѣшность и внутренній міръ людей, то же умѣнье давать яркія и разнообразныя картины человѣческой жизни, какъ бы невзначай, развертывать передъ читателемъ, даже въ самыхъ незначительныхъ своихъ разсказахъ, обширныя перспективы; умѣнье вы-

водить интересныхъ людей, очерчивать полную захватывающаго интереса жизнь ихъ, давать настроенія, которыя каждый изъ насъ испытывалъ или желалъ бы испытать, раскрывать скрытый смыслъ различныхъ жизненныхъ явленій,—все это и еще многое другое пробуждаетъ въ насъ чтеніе произведеній Горькаго. Наглядность, пластичность, жизненность—вотъ качества, которымъ мы поклоняемся у Мопассана и которыя въ высокой степени повторяются и у русскаго писателя. Подобно французу, онъ умѣетъ давать намъ яркія картины извѣстныхъ мѣстностей со всѣми ихъ особенностями, напр. какой-нибудь гавани, каменоломни, степи, моря и обнажить передъ читателемъ самую ихъ душу, такъ что ему не трудно воспріять въ себя. Горькій любитъ природу, особенно море; поэтому большинство его разсказовъ разыгрывается какъ бы на фонѣ природы, на которомъ весьма выгодно выдѣляются выведенныя лица. Настроеніе дѣйствующихъ лицъ всегда тождественно съ настроеніемъ природы, которую Горькій, чтобы сдѣлать понятной для насъ, очеловѣчиваетъ. Онъ говоритъ: „Море смѣялось“ и далѣе „оно улыбалось голубому небу тысячью серебряныхъ улыбокъ“. Или „Солнце прикасается краемъ къ землѣ и лѣниво уходитъ въ нее или за нее“. Или еще: „закованныя въ гранитъ свободныя волны моря, подавленные громадными тяжестями, скользящими по ихъ хребтамъ, бьются о борта судовъ, о берега, бьются и ропшутъ, вспѣнные ударами, загрязненные разными хламомъ“.

Форма его разсказовъ также напоминаетъ форму Мопассана: въ началѣ всегда или излагается фактъ, или дается какая-нибудь картина, потомъ выводятся люди и описывается ихъ наружность, а вслѣдъ за этимъ уже начинается само дѣйствіе. Но остроуміе и иронію Мопассана у Горькаго замѣняетъ лиризмъ.

Главное же различіе этихъ писателей въ томъ, что Горькій строго субъективенъ. Онъ—романтикъ—хотя манера писать у него чисто натуралистическая. Душа романтика прежде всего страдаетъ отъ раскола между идеаломъ и дѣйствительностью. онъ жаждетъ найти новыя формы существованія, потому что

современная жизнь кажется ему и грубой и однообразной. Странное, ничѣмъ необъяснимое безпокойство безпрестанно охватываетъ его и побуждаетъ искать новой жизни. Въ Горькомъ мы видимъ возрожденіе духа Байрона и Клейста. Но, спрашивается, чего онъ жаждетъ, чего ищетъ? Повидимому, вѣчное безпокойство и недовольство окружающимъ—прирожденные свойства подобныхъ ему людей—и причина этого чисто физиологическая. Они сознаютъ, что сами виноваты въ своемъ несчастіи, а что они глубоко несчастны, это несомнѣнно. А всѣ герои Горькаго одержимы этимъ вѣчнымъ безпокойствомъ; у него даже башмачникъ страдаетъ тою же болѣзнью, которая до сихъ поръ наблюдалась лишь у людей культурныхъ. Орлову жизнь кажется однообразной, будничной, онъ жаждетъ чего-то великаго, какого-нибудь подвига. Пекаръ Коноваловъ страдаетъ тѣмъ же безпокойствомъ и тоской. Ему очень хорошо живется въ кучерахъ, гдѣ онъ становится любовникомъ хозяйки. И вдругъ на него нападаетъ тоска, все ему становится противнымъ, онъ не можетъ долѣе оставаться на мѣстѣ и отправляется странствовать. Въ разсказѣ „Проходимецъ“, Промтовъ такъ характеризуетъ большинство героевъ Горькаго: „На свѣтѣ есть особый сортъ людей, родившихся, должно быть, отъ вѣчнаго жида. Особенность ихъ въ томъ, что они никакъ не могутъ найти себѣ на землѣ мѣста и прикрѣпиться къ нему. Внутри ихъ живетъ тревожный зудъ, желаніе чего-то новаго... мелкіе изъ нихъ никогда не могутъ выбрать себѣ штановъ по вкусу, и отъ этого всегда неудовлетворены и несчастны, крупныхъ ничто не удовлетворяетъ—ни деньги, ни женщины, ни почеть. Вѣдь большинство людей „пятакки, ходовая монета“. Вотъ этимъ-то сознаніемъ, что они „другіе“, нежели всѣ, которымъ въ высокой мѣрѣ надѣлены натуры артистическія, Горькій награждаетъ почти всѣхъ своихъ героевъ. Таковъ у него и Тома Гордѣевъ, но у него это чувство доходитъ до безумія, онъ ни на чемъ не можетъ успокоиться, страшно тоскуетъ, мечется и мучается. Кромѣ этого, Горькій одѣляетъ своихъ героевъ еще метафизическимъ пессимизмомъ, присущимъ ему самому. Метафизическій пессимизмъ—явленіе не новое и все.

что можно было сказать печальнаго по поводу вопроса— „Для чего мы живемъ?“ давнымъ давно уже сказано. Но Горькому до этого нѣтъ дѣла, онъ самый отчаянный пессимистъ въ Европѣ послѣ Шопенгауэра. „И зачѣмъ это нужно, чтобы я жилъ, жилъ и померъ, а?“ спрашиваетъ Орловъ. „Зачѣмъ я живу на землѣ и кому я на ней нуженъ?“— вопрошаетъ и Коноваловъ. Затѣмъ Банинъ въ разсказѣ „Артемъ и Банинъ“ жалуется „Зачѣмъ я живу на землѣ? И зачѣмъ только несчастія знаю я... и въ солнцѣ нѣтъ луча для меня!“ Но менѣе всѣхъ съ подобными вопросами способна справиться такая личность какъ Ома Гордѣевъ, и его жизнь разбивается объ нихъ. Какъ ему жить? Вотъ что постоянно мучаетъ его и на что онъ не находитъ отвѣта! ни въ чемъ онъ не видитъ для себя точки опоры, ни въ чемъ цѣли, къ которой стоило бы стремиться, а потому предается разнымъ излишествамъ, совершаетъ одно безуміе за другимъ, только для того, чтобы избавиться отъ мучительныхъ сомнѣній. Человѣкъ, гибнущій изъ-за мучительной тоски и склонности къ метафизикѣ— вотъ какъ можно было бы резюмировать чрезвычайно интересное содержаніе этого романа.

Можетъ быть, безконечнымъ пессимизмомъ Горькаго можно объяснить неясность его мышленія. Всѣ его герои одержимы склонностью къ безконечнымъ философскимъ разсужденіямъ и всѣ ихъ разсужденія отличаются страшной неясностью, запутанностью. Первый попавшійся аргументъ ставить ихъ въ тупикъ и опровергаетъ истину, которую за минуту до того они считали непреложной, и этимъ самымъ повергаетъ и ихъ самихъ и автора въ невообразимый хаосъ. Коноваловъ напр. задумываетъ хорошій поступокъ, но изъ его благого намѣренія въ результатъ получается зло, и онъ тотчасъ же теряетъ всякую нить, ни въ чемъ не можетъ разобраться и ищетъ спасенія въ водѣ. Эта-то неясность мышленія и странность понятій является причиной того, что герои Горькаго ни въ чемъ не находятъ себѣ опоры и блуждаютъ въ жизни, точно слѣпые. Только что увѣровавъ въ какую-нибудь истину, Горькій вслѣдъ за тѣмъ тотчасъ же начинаетъ сомнѣваться въ ней, а



потому понятно, не можеть найти отвѣта на мучающій его вопросъ „Что дѣлать?“ У Горькаго всегда опредѣленное настроеніе, опредѣленные чувства и фантазіи, но весьма совершенно неясное мышленіе. Въ *Томѣ Гордѣевѣ*, противопоставляя другъ другу совершенно неравносмысленныя доказательства, онъ производитъ въ головѣ читателя такой сумбуръ, что у того начинаютъ колебаться и безнадежно перепутываться буквально все понятія. При этомъ еще Горькій любитъ развивать разныя „идеи“, что придаетъ его мелкимъ рассказамъ особую прелесть.

Я отмѣтилъ общія всемъ героямъ Горькаго черты—романтизмъ, метафизическій пессимизмъ и спутанность мышленія. Но у всехъ у нихъ есть еще двѣ общія черты. Первая—самая суть ихъ характера и внѣшнія его проявленія—то и другое кажется намъ чисто русскимъ. Вторая—настроеніе. Общее въ ихъ натурахъ — самые грубые инстинкты и желанія, внезапно пробуждающіеся и которые они не въ состояніи разумно обуздать. Такъ напр. *Томъ Гордѣевъ* въ одинъ прекрасный день перерѣзываетъ канаты, соединяющіе барку, на которой пируетъ цѣлое общество, съ берегомъ. Волны уносятъ ее по рѣкѣ и такимъ образомъ она подвергается всяческимъ случайностямъ и опасностямъ. Въ другой разъ онъ намеренно вызываетъ столкновеніе своего парохода съ баркой. Затѣмъ проходимецъ *Промтовъ*, напр., будучи актеромъ, однажды ощущаетъ непреодолимую потребность обругать со сцены публику... Дѣйствовать порывами, вспышками,—черта чисто русская. За подъемомъ духа, слѣдуетъ упадокъ его; за излишествами—самобичеваніе.

Общее у этихъ людей также настроеніе—все они любятъ свободу и ненавидятъ долгъ, любятъ перемѣну мѣстъ, новизну и рискъ, которому ежеминутно подвергаются. Но за всемъ этимъ кроется скопившаяся ненависть къ будничной жизни, досада на собственную судьбу, иногда ненависть къ богатству и фарисейству. Чувства эти постепенно накапливаются въ нихъ и, наконецъ, вызываютъ взрывъ. *Ротмистръ Кувалда* въ „Бывшихъ людяхъ“ ведетъ постоянную войну съ полиціей, *Орловъ*

что можно было сказать печального по поводу вопроса— „Для чего мы живемъ?“ давнымъ давно уже сказано. Но Горькому до этого нѣтъ дѣла, онъ самый отчаянный пессимистъ въ Европѣ послѣ Шопенгауэра. „И зачѣмъ это нужно, чтобы я жилъ, жилъ и померъ, а?“ спрашиваетъ Орловъ. „Зачѣмъ я живу на землѣ и кому я на ней нуженъ?“—вопрошаетъ и Коноваловъ. Затѣмъ Банинъ въ разсказѣ „Артемъ и Банинъ“ жалуется „Зачѣмъ я живу на землѣ? И зачѣмъ только несчастія знаю я... и въ солнцѣ нѣтъ луча для меня!“ Но менѣе всѣхъ съ подобными вопросами способна справиться такая личность какъ Ома Гордѣевъ, и его жизнь разбивается объ нихъ. Какъ ему жить? Вотъ что постоянно мучаетъ его и на что онъ не находитъ отвѣта! ни въ чемъ онъ не видитъ для себя точки опоры, ни въ чемъ цѣли, къ которой стоило бы стремиться, а потому предается разнымъ излишествахъ, совершаетъ одно безуміе за другимъ, только для того, чтобы избавиться отъ мучительныхъ сомнѣній. Человѣкъ, гибнущій изъ-за мучительной тоски и склонности къ метафизикѣ—вотъ какъ можно было бы резюмировать чрезвычайно интересное содержаніе этого романа.

Можетъ быть, безконечнымъ пессимизмомъ Горькаго можно объяснить неясность его мышленія. Всѣ его герои одержимы склонностью къ безконечнымъ философскимъ разсужденіямъ и всѣ ихъ разсужденія отличаются страшной неясностью, запутанностью. Первый попавшійся аргументъ ставятъ ихъ въ тупикъ и опровергаетъ истину, которую за минуту до того они считали непреложной, и этимъ самымъ повергаетъ и ихъ самихъ и автора въ невообразимый хаосъ. Коноваловъ напр. задумываетъ хорошій поступокъ, но изъ его благого намѣренія въ результатъ получается зло, и онъ тотчасъ же теряетъ всякую нить, ни въ чемъ не можетъ разобраться и ищетъ спасенія въ водѣ. Эта-то неясность мышленія и странность понятій является причиной того, что герои Горькаго ни въ чемъ не находятъ себѣ опоры и блуждаютъ въ жизни, точно слѣпые. Только что увѣровавъ въ какую-нибудь истину, Горькій вслѣдъ за тѣмъ тотчасъ же начинаетъ сомнѣваться въ ней, а

потому понятно, не может найти отвѣта на мучающій его вопросъ „Что дѣлать?“ У Горькаго всегда опредѣленное настроеніе, опредѣленные чувства и фантазіи, но весьма совершенно неясное мышленіе. Въ *Томѣ Гордѣевѣ*, противопоставляя другъ другу совершенно неравносмысленныя доказательства, онъ производитъ въ головѣ читателя такой сумбуръ, что у того начинаютъ колебаться и безнадежно перепутываться буквально всѣ понятія. При этомъ еще Горькій любитъ развивать разныя „идеи“, что придаетъ его мелкимъ рассказамъ особую прелесть.

Я отмѣтилъ общія всѣмъ героямъ Горькаго черты—романтизмъ, метафизическій пессимизмъ и спутанность мышленія. Но у всѣхъ у нихъ есть еще двѣ общія черты. Первая—самая суть ихъ характера и внѣшнія его проявленія—то и другое кажется намъ чисто русскимъ. Вторая—настроеніе. Общее въ ихъ натурахъ—самые грубые инстинкты и желанія, внезапно пробуждающіеся и которые они не въ состояніи разумно обуздать. Такъ напр. *Томъ Гордѣевъ* въ одинъ прекрасный день перерѣзываетъ канаты, соединяющіе барку, на которой пируетъ цѣлое общество, съ берегомъ. Волны уносятъ ее по рѣкѣ и такимъ образомъ она подвергается всяческимъ случайностямъ и опасностямъ. Въ другой разъ онъ намеренно вызываетъ столкновеніе своего парохода съ баркой. Затѣмъ проходимецъ *Промтовъ*, напр., будучи актеромъ, однажды ощущаетъ непреодолимую потребность обругать со сцены публику... Дѣйствовать порывами, вспышками,—черта чисто русская. За подъемомъ духа, слѣдуетъ упадокъ его; за излишествами—самобичеваніе.

Общее у этихъ людей также настроеніе—всѣ они любятъ свободу и ненавидятъ долгъ, любятъ переменъ мѣсть, новизну и рискъ, которому ежеминутно подвергаются. Но за всѣмъ этимъ кроется скопившаяся ненависть къ будничной жизни, досада на собственную судьбу, иногда ненависть къ богатству и фарисейству. Чувства эти постепенно накапливаются въ нихъ и, наконецъ, вызываютъ взрывъ. *Ротмистръ Кувалда* въ „Бывшихъ людяхъ“ ведетъ постоянную войну съ полиціей, *Орловъ*

оскорбляетъ доктора, котораго въ сущности глубоко уважаетъ. Юма Гордѣевъ въ собраніи богачей каждому изъ нихъ бросаетъ въ лицо горькую правду—слѣдовательно и онъ бунтуетъ противъ общества. Изъ этого ясно, что кореннымъ настроеніемъ Горькаго является возмущеніе, протестъ, бунтъ, но не столько противъ великихъ міра сего и власть имущихъ, сколько противъ будничной пошлости жизни и жи, насквозь пропитавшей все общество.

Но хотя Горькій очень часто возвращается къ этимъ излюбленнымъ своимъ типамъ, но доказалъ, что можетъ дать и нѣчто новое. Я былъ удивленъ романомъ „Варенька Олегова“.

Правда, путанность взглядовъ осталась, но зато нѣтъ и слѣда романтизма или пессимизма, нѣтъ никакого протеста, нѣтъ, можно сказать, почти ничего специально русскаго. Герой сильно напоминаетъ героевъ Бурже; это — приватъ-доцентъ, подвергающій всѣ свои ощущенія замѣчательно ясному и тонкому анализу; человекъ, желающій подчиняться исключительно требованіямъ разсудка и раньше чѣмъ отдаться какому бы то ни было чувству, долго анализирующій его.

И этого-то холоднаго, разсудочнаго аналитика Горькій сводитъ съ дѣвушкой рѣдкой красоты, но совершенно непосредственной. Какъ въ ученомъ мужѣ, несмотря на борьбу съ самимъ собой, самообманомъ и всяческимъ умствованиемъ, пробуждается чувственность; какъ во время прогулки съ нею по лѣсу, его внезапно охватываетъ непреодолимое желаніе поцѣловать ее и прижать къ себѣ, хотя онъ стыдится этого чувства; какъ подъ конецъ онъ до того обезумѣваетъ отъ желаній, что начинаетъ вѣрить и безъ всякаго основанія надѣяться, что молодая дѣвушка сама сдѣлаетъ первый шагъ къ сближенію съ нимъ, какъ мучительно проводитъ ночь, предаваясь яркимъ фантазіямъ, безумнымъ снамъ и сгорая отъ желаній,—все это авторъ изображаетъ съ такой тонкой психологіей и такой правдой, что этотъ романъ можно смѣло причислить къ самымъ очаровательнымъ любовнымъ исторіямъ новѣйшаго времени.

Герой послѣдняго романа „Трое“ вновь сильно напоминаетъ героевъ его прежнихъ разсказовъ и Оому Гордѣева. И онъ также романтикъ, котораго вѣчно мучаетъ тоска; и онъ метафизикъ, но слишкомъ необразованъ, чтобы распутаться въ мучающихъ его вопросахъ. „У него въ головѣ катаются какіе-то тяжелые шары“ и тѣмъ не менѣе, онъ ощущаетъ постоянную потребность философствовать. Луневъ—фамилія героя—племянникъ горбатаго приказчика въ трактирѣ; отца его, за поджогъ, сослали въ Сибирь; дядя былъ отшельникомъ и жилъ въ одиночествѣ, чтобы замолить свои грѣхи. Съ самаго ранняго дѣтства Лунева преслѣдуетъ мысль о людской несправедливости. На его глазахъ трактирщика, хитраго плута, всѣ уважаютъ; честныхъ, но бѣдныхъ людей обижаютъ; въ школѣ, и то дѣлаютъ различіе между богатыми и бѣдными; купецъ, къ которому его отдаютъ въ обученіе, прогоняетъ его за излишнюю честность. Напрасно онъ бьется надъ разрѣшеніемъ разныхъ вопросовъ жизни, ему это не удастся. Даже любовницы и то онъ не можетъ имѣть для себя, и ее содержитъ старикъ—мѣняла. Внутренній разладъ постепенно растетъ въ немъ и, наконецъ, достигаетъ такой силы, что ищетъ выхода, все равно какого. Слѣдуетъ первый взрывъ—онъ душитъ мѣнялу. Но идя къ нему для того, чтобы лучше разсмотрѣть предметъ своей ненависти, онъ не думалъ, что совершить это. На него вдругъ что-то находитъ, онъ бросается на старика и душитъ его, самъ не зная зачѣмъ. Но потомъ онъ вовсе не раскаивается, подобно Раскольникову, въ своемъ поступкѣ—для него онъ является освобожденіемъ; сверхъ того, онъ убѣжденъ, что рано или поздно, но понесетъ наказаніе за него. Наконецъ, завѣтная цѣль достигнута—онъ открываетъ самостоятельную торговлю. Но и тутъ прежняя тоска не покидаетъ его; къ ней прибавляются еще мученія за участь своихъ товарищей дѣтства, Павла и Машу. Машу отецъ продаетъ старику-лавочнику, который замучиваетъ ее до смерти. А возлюбленную Павла запираютъ въ острогъ за то, что она обкрадываетъ купца, чтобы достать денегъ себѣ и своему другу. Во время судебнаго разбора въ Луневѣ съ новой силой вспы-

живаетъ давно скоплавшаяся ненависть, такъ какъ въ числѣ пржеяжныхъ онъ узнаетъ людей заведомо нечестныхъ, и эти-то илуты осуждаютъ дѣвушку, совершившую кражу изъ-за великодушія. Онъ окончательно перестаетъ понимать жизнь, и происходитъ второй взрывъ. Какъ *Ома Гордѣевъ* онъ, придя въ гости, обличаетъ каждаго присутствующаго въ какомъ-либо преступленіи или какой-нибудь гадости, а затѣмъ сознается въ собственной винѣ, но не въ силу раскаянія, а изъ-за ненависти, чтобы доказать непонятность и несправедливость жизни, кончаетъ самоубійствомъ. Пессимизмъ Горькаго всестороненъ; онъ не предлагаетъ, подобно Толстому, различныхъ реформъ, но признаетъ жизнь безсмысленной и проповѣдуетъ возмущеніе противъ нея и—смерть.

Въ художественномъ отношеніи романы Горькаго далеко ниже его рассказовъ. Они слишкомъ растянуты, а въ „*Варенькѣ Олесовой*“, сверхъ того, весь интересъ сосредоточивается на психологіи героя. Въ „*Омѣ Гордѣевѣ*“ и въ „*Троихъ*“ душевное развитіе главныхъ лицъ не выясняется послѣдовательно, а лишь въ отдѣльные моменты, а внѣшнимъ событіямъ и вводнымъ сценамъ отведено слишкомъ много мѣста.

## Великій Босякъ

(Максимъ Горькій).

Neues Wiener Tageblatt, № 214. Mittwoch den 1. August. 1901.  
Otto Felix.

Однимъ изъ наиболѣе популярныхъ писателей въ Европѣ въ настоящее время является бывший „босякъ“. Имя его Максимъ Горькій. Всѣ настоящіе и прошлые гениальные члены всемирной литературной богемы, всѣ начавшіе съ низкихъ ступеней и упорнымъ, непрерывнымъ трудомъ завоевавшіе себѣ симпатіи читающей публики, всѣ они, по сравненію съ нимъ, лишь босяки салоновъ. Онъ превзошелъ даже собрата своего Поля Верлена, ибо сдѣлалъ то, на что никто до него не отваживался: описать истиннаго босяка, каковъ онъ есть, слоняющагося по притонамъ нищеты, а не костюмированнаго для литературнаго маскарада.

Быть можетъ, онъ лишь фотографируетъ ихъ? Возможно; но несомнѣнно, что поэтъ - босякъ предпочитаетъ изображать своихъ собратьевъ; онъ не гордится тѣмъ, что ему уже не приходится болѣе просить милостыни, но и не скорбитъ и не чувствуетъ себя униженнымъ оттого, что когда-то совершилъ кражу со взломомъ ради куска насущнаго хлѣба и вспыхнувшей искры любви. Онъ не выдаетъ себя за человѣка, попавшаго въ среду ниже той, которой онъ принадлежитъ по рожденію, — ибо дѣдъ его былъ богатымъ купцомъ; но и не держитъ себя подобно парвеню, хотя издатели наперерывъ заискиваютъ передъ нимъ. Онъ съ горделивой скромностью носитъ свое званіе босяка.

Онъ босякъ — вотъ и все. Званіе босяка такое же, какъ и всякое другое, какъ и званіе дворянина, мѣщанина, крестья-

нина или званіе рабочаго. Люди этого званія не лучше и не хуже людей прочихъ сословій; наравнѣ съ привилегированными классами у нихъ то преимущество передъ остальными, что въ ихъ распоряженіи много, очень много свободного времени для размышленій. Такимъ образомъ, въ великой православной Россіи графъ Толстой и босаякъ Горькій размышляютъ о смыслѣ жизни и о безсмыслии смерти. Но въ виду того, что босаякъ обладаетъ свободой, недоступной графу, ибо онъ не связанъ ни имуществомъ, ни наслѣдственнымъ правомъ владѣнія, онъ болѣе прямыми путями и гораздо скорѣе графа приходитъ къ одинаковымъ съ нимъ конечнымъ результатамъ. Мировоззрѣніе Горькаго въ двадцать пять лѣтъ сводится къ тому же, къ чему пришелъ Толстой въ пятьдесятъ. Тѣмъ не менѣе, нельзя сказать, чтобы мировоззрѣнія ихъ были тождественны. Они какъ два рудокопа въ многоярусномъ рудникѣ, которые пробираясь по двумъ различнымъ шахтамъ, одинъ сверху внизъ, другой снизу вверхъ, доходятъ до одинаковаго уровня. Если они не остановятся и не сойдутся другъ съ другомъ, то весьма вѣроятно разойдутся въ разныя стороны, ничего другъ о другѣ и не подозревая. Графъ Толстой дошелъ въ своихъ религіозныхъ и социальныхъ воззрѣніяхъ до мертвой точки, до полного отрицанія существующихъ формъ общества; но этому поэту общественной критики не хватило силы создать нѣчто новое на мѣсто того, что онъ разрушалъ.

Кто можетъ опредѣлить, на чемъ остановится Горькій? Ему всего тридцать три года и можно сказать съ увѣренностью, что онъ еще далеко не сказалъ своего послѣдняго слова.

Всякій, мало-мальски интересующійся литературными явлениями послѣдняго времени, навѣрное прочелъ за этотъ годъ одинъ изъ сборниковъ рассказовъ Горькаго или же его романъ „Гома Гордѣвъ“. Склады издателей положительно переполнены хорошими переводами его произведеній. Въ одномъ изъ этихъ изданій находится краткая біографія этого автора Феофанова, въ другомъ его очеркъ „Читатель“. Рекомендую прочесть этотъ очеркъ и краткое жизнеописаніе Горькаго всѣмъ желающимъ убѣдиться въ томъ, что можетъ выйти изъ „дегене-



рата". Ибо Горькій несомнѣнный „дегенератъ“, — по крайней мѣрѣ, во мнѣніи людей, носящихся съ этимъ важно-парадоксальнымъ, но въ сущности столь обыденно-плоскимъ боевымъ словечкомъ современной критики, — стоитъ только припомнить его біографію.

Бѣе жить такою жизнью съ душой поэта, кто не упалъ въ эту тьму съ такъ называемой блестящей высоты, а началъ жизнь во тьмѣ, тотъ многое расскажетъ обществу. Трудно ему будетъ отличить лично пережитое отъ того, что ему приходилось наблюдать. Когда Горькій пишетъ „я“, то мудро сказано, гдѣ кончается автобіографическая правда и гдѣ это „я“ приписываетъ себѣ лишь пережитое другими... „Однажды осенью мнѣ привелось стать въ очень непріятное и неудобное положеніе: въ городѣ, куда я только что пріѣхалъ и гдѣ у меня не было ни одного знакомаго человѣка, я очутился безъ гроша въ карманѣ и безъ квартиры“. Такъ начинается рассказъ „Однажды осенью“ и это навѣрное автобіографія такъ же, какъ и горькія философскія разсужденія, которыми продолжается рассказъ и которыя по всей вѣроятности приходили Горькому на умъ, когда онъ находился въ описанномъ имъ „неудобномъ“ положеніи. Затѣмъ слѣдуетъ рассказъ о томъ, какъ они вдвоемъ съ одной проституткой, чтобы утолить голодъ, крадутъ хлѣбъ изъ запертаго торговаго ларя, а послѣ этого старая, но вѣчно новая исторія этой дѣвушки, которая даритъ его своей любовью. Гдѣ здѣсь кончается дѣйствительность и начинается вымыселъ? По художественной цѣльности этотъ рассказъ напоминаетъ Мопассана, съ тою разницей, что въ немъ звучитъ субъективная нотка, какая-то спокойная горечь и почти иронизирующая жалость. Босякъ слѣдующими словами заканчиваетъ свое повѣствованіе про Наташу, которую онъ послѣ этой ночи съ полгода тщетно разыскивалъ: „Какъ это хорошо для нея, если она уже умерла—въ мирѣ да почіеть! А если жива—миръ душѣ ея! И да не проснется въ душѣ сознаніе своего паденія... ибо это было бы страданіемъ излишнимъ и бесплоднымъ...“ Что лежитъ въ основѣ подобнаго желанія, — альтруистическая благодарность или пессимистическое міросозерцаніе?

Когда Бонуваловъ, герой разсказа того же имени, возражаетъ на социальныя толкованія Горькаго: „Каждый человекъ самъ себѣ хозяинъ, и никто въ томъ неповиненъ, ежели я подлецъ есть!“—нужно ли это понять въ смыслѣ Штирнеровскаго презрѣнія къ обществу или же это просто только иное выраженіе идеала Толстовскаго „Царства Божія“ на землѣ, гдѣ бы не было признаковъ общества и гдѣ бы порядокъ охранялся одной любовью къ ближнему безъ вмѣшательства начальства? Горькій, повидимому, не вѣритъ въ такое совершенство. Въ своемъ разсказѣ „Еще о чортѣ“ Иванъ Ивановичъ Ивановъ „стремится къ достиженію духовнаго совершенства“; это его профессія. Благодаря содѣйствію чорта, который извлекаетъ ему изъ сердца все, что есть въ немъ этически несовершеннаго, Ивановъ, достигшій духовнаго совершенства, становится идиотомъ съ пустой головой и пустымъ сердцемъ, пригодный только на то, чтобы служить необычайно оригинальной погремушкой для забавы сатаны, когда его наполнять горохомъ. Нравственныя инстинкты Горькаго слишкомъ сильны, чтобы жаждать такого созерцательнаго, нирванообразнаго спасенія отъ самого себя, извинѣ. Само совершенствованіе зачинается внутри и вырабатывается постепенно. Мы уже упоминали о разсказѣ „Читатель“ это разговоръ писателя со своею совѣстью, какъ бы программное толкованіе не только этого писателя, но и всей русской литературы вообще, которая въ своихъ лучшихъ произведеніяхъ прошлаго и настоящаго все-таки остается литературой тенденціозной. „Не въ счастіѣ смыслъ жизни. — говорить тутъ Горькій,—и довольствомъ собой не будетъ удовлетворенъ человекъ — онъ все-таки выше этого. Смыслъ жизни въ красотѣ и силѣ стремленія къ цѣлямъ, и нужно, чтобы каждый моментъ бытія имѣлъ свою высокую цѣль. Это было бы возможно... но не въ старыхъ рамкахъ жизни, въ которыхъ всѣмъ такъ тѣсно и гдѣ нѣтъ свободы духу человека...“

„Свобода даетъ возможность находить высокую цѣль въ каждый моментъ бытія“. Вотъ поученіе, которое Горькій проповѣдуетъ своему народу въ каждомъ изъ своихъ произведе-

ній. Привать-доцентъ въ „Вареньѣ Олесовой“ не имѣетъ уже этой возможности, онъ утратилъ ее, профилософствовалъ, вотъ почему онъ и не женится на свѣжей, дышащей смѣлой Вареньѣ; Ома Гордѣевъ, дикій сынъ миллионера, мечтающій о томъ, чтобы изъ грязи и оргій медленно подняться къ высокой цѣли, опять-таки гибнетъ изъ-за „старыхъ рамокъ жизни“, совѣтъ освободиться отъ которыхъ у него не хватаетъ энергій. Сапожника Орлова („Супруги Орловы“), мечтавшего о томъ, чтобы совершить какой-нибудь геройскій подвигъ, губитъ водка и грубый инстинктъ властвованія надъ женой; но Орлова, пройдя тяжелый путь работы при холерномъ госпиталѣ, вырабатываетъ изъ себя полезнаго члена общества. Босяки „Бывшіе люди“ Горькаго тоже находятъ истинный путь, но лишь въ мечтахъ, и никогда не дѣлаютъ попытки вступить на него; да даже и мечты-то о немъ доступны далеко не всѣмъ, и лишь у сильныхъ, избранныхъ натуръ порою мелькнетъ сквозь нужду, нищету и пьянство сознаніе иной, не личной, физической, босяцкой свободы, сознаніе „иныхъ рамокъ жизни“, въ которыхъ бы ихъ силы не пропадали для цивилизаціи, вѣчно стремящейся къ новымъ, высокимъ идеаламъ. Какъ прекрасенъ, напримѣръ, закоренѣлый воръ портовыхъ городовъ Челкашъ. Въ этическомъ отношеніи онъ неизмѣримо выше крестьянина, котораго онъ же подбиваетъ на первое воровство, но который тутъ же задумываетъ совершить гнусное убійство ради добычи. Съ какимъ презрѣніемъ Челкашъ бросаетъ ему въ лицо деньги! Что онѣ для него! Ему, сильному духомъ, нужна опасность, необычная приподнятость нервовъ, сопровождающая преступный способъ наживы. А старая, презрѣнная колдунья Изергиль, которая тономъ салоннаго разговора передаетъ свои похождения,—что за дивная пѣснь высокой любви къ ближнему звучитъ въ ея чудномъ сказаніи о народномъ предводителѣ Данко, вырвавшемъ изъ груди свое горячее сердце! Всѣхъ этихъ людей одушевляетъ и ведетъ къ гибели жажда лучшаго, болѣе высокаго поля дѣятельности. Всѣ они Люциферы или Прометеи. Всѣ они и наружно и внутренно полны противорѣчій. Самъ Горькій весь сотканъ изъ массы

противорѣчій, но таковы, начиная съ Толстого, всѣ интеллигенты въ Россіи, въ той Россіи, гдѣ на ряду съ высшей культурой Запада уживается средневѣковая тьма Востока.

Горькій окружаетъ своихъ героевъ сказочно - прекрасной, изобилующей яркими красками природой, которую онъ рисуетъ съ неподражаемымъ знаніемъ человѣка, наблюдавшаго ее во всякую минуту дня и ночи, во всякое время года и во всякую погоду. Слогъ Горькаго краткій, сильный, богатый красками; дѣйствіе сжатое, сосредоточенно на немногихъ кульминаціонныхъ пунктахъ. Суровый сынъ большихъ дорогъ однимъ штрихомъ создаетъ настроеніе, даетъ намъ заглянуть въ поразительныя глубины души; его можно сравнить въ этомъ отношеніи развѣ только съ ультра-деликатнымъ, субтильнымъ, но „дѣланымъ“ Якобсономъ.

Нужно признать, что въ настоящее время русскій босякъ овладѣлъ скиптромъ Мопассана, сдѣлался царемъ коротенькихъ рассказовъ. Романъ „Юма Гордѣевъ“ не имѣетъ такого художественнаго значенія, какъ его мелкіе рассказы; мѣстами въ немъ даже замѣчаются утомительныя длинноты. Но вѣдь Горькій человѣкъ будущаго и не только по годамъ... Повидимому, на его долю выпало засѣять умственную и нравственную ниву которую воздѣлалъ для будущихъ поколѣній Толстой. Графъ безпощадно выпалывалъ и проводилъ глубокія борозды, но ничего не посѣялъ, кромѣ цвѣтка мистицизма. А онъ не можетъ принести плода, не хочетъ принести его. Толстой проповѣдуетъ пассивныя добродѣтели, пассивную свободу: „ты свободенъ духомъ, — слѣдовательно, не защищайся, или тебя закуютъ въ кандалы“. Горькій же жаждетъ *активной свободы*.

И оба получили соотвѣтственное своимъ убѣжденіямъ возмездіе!

## Поэтъ бывшихъ людей.

Neue frei Presse, августъ 1901 г.

Разговоръ происходилъ за завтракомъ въ одномъ изъ небольшихъ отелей Ривьеры.— Вотъ цыганкой мнѣ бы больше всего хотѣлось быть,—сказала, свернувъ чудными, бархатистыми глазами, англійская романистка, уже составившая себѣ извѣстность въ отечественной литературѣ.

Дамы-кальвинистки изъ Женевы высоко подняли брови; по лицу парижанки изъ высшего общества скользнула насмѣшливая улыбка;—я осторожно замѣтилъ:

— У васъ, вѣроятно, составилось слишкомъ романтическое представленіе о цыганахъ.

— Почему вы думаете?—спросила англичанка.

— За границей ихъ считаютъ, кажется, за очарованныхъ принцевъ, за артистовъ или странствующихъ гениевъ. Въ дѣйствительности же это только попрошайки и воры.

— Я бы съ большой охотой стала воровать,—откровенно возразила моя собесѣдница.

Лица присутствовавшихъ снова выразили сильнѣйшее изумленіе.

— Но, конечно, только въ воображеніи,—сказалъ галантный швейцарецъ, содержатель отеля, какъ бы желая смягчить впечатлѣніе,—чтобы мысленно пережить какой-нибудь интересный романъ.

— Совсѣмъ нѣтъ. Вполнѣ серьезно. Но только, вѣдь, я слишкомъ труслива для этого. Какъ всѣ мы.

— Да какую же привлекательность могло бы имѣть для васъ воровство?—спросилъ я. Любопытство мое возросло.

— Но какой же другой исходъ вы укажете тѣмъ, для кого тѣсны рамки, установленныя нашимъ корректнымъ обществомъ?

Какъ достигнуть того, чтобы избавиться отъ людей съ условными взглядами, чувствами, фразами, высокими стоящими воротниками, общепринятыми туалетами? Какъ иначе страхнуть съ себя бремя привычки и традицій, если не бѣгствомъ къ тѣмъ людямъ, которые живутъ внѣ общества, какъ его враги, живутъ самовластно, слѣдуя лишь свободному влеченію? О, бродяга или воръ—герой въ сравненіи со всѣми нами.

Парижанка постаралась дать разговору другой оборотъ.

Затѣмъ въ длинные вечера не разъ представлялся случай возвращаться къ этой темѣ, но уже въ болѣе близкомъ кругу. Маленькая поэтесса оказалась въ высшей степени кроткимъ и нѣжнымъ созданьемъ; но когда рѣчь касалась современнаго общества, по ея удачному выраженію „не способнаго послужить темой даже для самаго ничтожнаго стихотворенія“, негодование ея не знало границъ и доходило до степени идіосинкразии.

На дняхъ ея образъ, какъ живой предсталъ передъ моими глазами, а въ ушахъ вновь прозвучали ея страстные нападки на дисциплину, порядочность и современное общество вообще, когда я прочелъ слѣдующія строки.

„Нужно родиться въ культурномъ обществѣ, для того, чтобы найти въ себѣ терпѣніе всю жизнь жить среди него и ни разу не пожелать уйти куда-нибудь изъ сферы всѣхъ этихъ тяжелыхъ условностей, узаконенныхъ обычаемъ маленькихъ ядовитыхъ лжей, изъ сферы болѣзненныхъ самолюбій, идейнаго сектантства, всяческой неискренности,—однимъ словомъ, изъ всей этой охлаждающей чувство и развращающей умъ суеты суетъ. Я родился и воспитывался внѣ этого общества и по сей пріятной для меня причинѣ не могу принимать его культуру большими дозами безъ того, чтобы, спустя нѣкоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти изъ ея рамокъ и освѣжиться нѣсколько отъ чрезмѣрной сложности и болѣзненной утонченности этого быта.

Въ деревнѣ почти такъ же невыносимо тошно и грустно, какъ и среди интеллигенціи. Всего лучше отправиться въ трущобы городовъ, гдѣ хотя все и грязно, но все такъ просто и искренно, или идти гулять по полямъ и дорогамъ родины, что

весьма любопытно, очень освѣжаетъ и не требуетъ никакихъ средствъ, кромѣ хорошихъ, выносливыхъ ногъ“.

Авторъ этого характернаго отрывка—Максимъ Горькій, босякъ литературнаго міра и быто-писатель босяковъ. Вѣсть о томъ, что Горькій „пострадалъ“, сразу поставила его въ фокусъ литературнаго интереса. Съ этого момента растетъ, какъ грибокъ послѣ дождя, литература о Горькомъ, и тысячи людей, которые при иныхъ условіяхъ едва ли когда прочли бы хоть строчку самобытнаго русскаго писателя, теперь торопятся ознакомиться съ произведеніями человѣка, столь знаменитаго въ настоящее время.

Понемногу создается культъ Горькаго, что само собою понятно при вышеупомянутыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ его появленіе на литературномъ поприщѣ; но не одна только „судьба“ русскаго писателя возбуждаетъ интересъ къ его произведеніямъ — Горькій, не будь даже внезапнаго переворота въ его жизни, рано или поздно возбудилъ бы и завоевалъ всеобщее вниманіе.

М. Горькій—натуралистъ, какъ сотни другихъ европейскихъ писателей настоящаго времени. Но другіе усвоили себѣ лишь извѣстные приемы и методы, тогда какъ у него талантъ и темпераментъ. Кромѣ того онъ интересенъ, какъ человѣкъ, какъ самобытная личность; онъ увлекаетъ насъ и своими произведеніями и тѣмъ, что онъ самъ думаетъ и чувствуетъ. Раздутая слава дня исчезнетъ вмѣстѣ съ этимъ днемъ, но и послѣ отлива кое-что останется на берегу и, какъ драгоценность, сохранится для потомства.

Если откинуть все наносное и преувеличенное въ сужденіяхъ о Горькомъ, то все же останется писатель, который открываетъ новыя шахты, разрабатываетъ новыя залежи. Есть писатели, все значеніе которыхъ заключается только въ этомъ, и другіе, извѣстность которыхъ создавалась изъ сочетанія интереса къ новымъ разрабатываемымъ имъ сюжетамъ съ интересомъ къ ихъ собственной выдающейся личности. Такова напрм. слава Бретъ-Гарта, впервые познакомившаго насъ съ дикой преисполненной разныхъ приключеній жизнью на дальнемъ западѣ, причемъ самъ онъ воз-

буждалъ глубокий интересъ, какъ весьма талантливый юмористъ. Такова извѣстность Рюдикарда Киплинга, чудесно изобразившаго сказочный міръ индійскихъ джунглей, будучи самъ въ то же время истиннымъ поэтомъ; наконецъ, такова же извѣстность и М. Горькаго, возбудившаго всеобщій интересъ къ городскимъ трущобамъ и въ то же время обладающаго замѣчательной способностью изложенія и своеобразнымъ взглядомъ на людей и общество. Можетъ быть, его внезапной славъ на западѣ болѣе всего способствовало именно это обстоятельство. Онъ выразитель новѣйшихъ вѣяній, котораго поджидали тысячи людей, и его философію можно назвать философіей *du dernier cri*. Этотъ русскій, ночевавшій въ стогахъ сѣна у береговъ Чернаго моря и описывающій намъ свои бесѣды съ товарищами-оборванцами, съ большимъ успѣхомъ могъ бы въ настоящее время проповѣдывать свои убѣжденія на парижскихъ бульварахъ безъ того, чтобъ показаться страннымъ. Европейская богема еще задолго до появленія Горькаго на восточномъ горизонтѣ, какъ бы служила его предвѣстникомъ и теперь радостно привѣтствуетъ его, какъ утреннюю звѣзду. Въ этомъ, конечно, заключается главная причина, почему его значительный талантъ сразу встрѣчаетъ нѣсколько тенденціозную и преувеличенную оцѣнку. Какова его философія — было уже указано выше: Это философія пресыщенія цивилизаціей съ ея неизбѣжнымъ стѣсненіемъ свободы и невыносимыми шаблонами, философія отвращенія, овладѣвающаго нами по крайней мѣрѣ хоть разъ въ годъ, и гонящая насъ на высочайшія горы или въ глубочайшія долины, куда-нибудь, гдѣ нѣтъ узкихъ галстуконъ, гдѣ не встрѣтишь ни Вѣнцовъ, ни нѣмцевъ, ни Парижанъ. Вовсе не надо, какъ думаетъ Горькій, родиться внѣ цивилизаціи, чтобы въ одинъ прекрасный день она опостылѣла: англійская писательница, вышедшая изъ лучшаго общества, любимица Лондонскаго свѣта, чувствуетъ это пресыщеніе временами такъ же сильно, какъ сынъ трущобъ, который принять въ общество, благодаря своему таланту.

Во всемъ обширномъ культурномъ мірѣ не найдется ни одного человѣка, который никогда не чувствовалъ бы искрен-



няго желанія уйти отъ людей и вздохнуть хоть разъ свободно, полной грудью среди лѣсовъ и полей; ни одного человѣка, который никогда не подумалъ бы, что въ набитыхъ биткомъ углахъ дышется, все-таки свободнѣе, чѣмъ въ преисполненныхъ ложью салонахъ. Этимъ настроеніемъ проникнуты рассказы Горькаго; въ нихъ онъ выражаетъ полное презрѣніе къ эlegantнымъ паразитамъ большихъ городовъ и развертываетъ предъ нами картины морского берега, гдѣ въ обществѣ босняковъ находить истинное удовлетвореніе. Чѣмъ сильнѣе напрягаются нервы въ житейской травлѣ, тѣмъ утонченнѣе становится наша неоткровенность, тѣмъ мучительнѣе ежеминутное стѣсненіе свободныхъ стремленій; жажда свободы дѣлается все страстнѣе и неудержимѣе и охватываетъ все большіе и большіе круги. Кажется, мы опять, какъ передъ французской революціей, достигли крайнихъ предѣловъ этого напряженія; п какъ тогда выступилъ Ж.-Ж. Руссо, такъ теперь эту роль принялъ на себя М. Горькій.

Въ странѣ, о которой величайшій ея писатель говоритъ страшныя слова:—„Для порядочнаго человѣка есть только одно приличное мѣсто—тюрьма“ должно считаться за подвигъ явное или скрытое презрѣніе ко всему, что такъ или иначе соприкасается съ высшими слоями общества. Что на западѣ способствуетъ успѣху и пониманію Горькаго анархическій инстинктъ, должно быть ясно для всякаго, кто читаетъ не одними лишь глазами. Его произведенія доставляютъ его почитателямъ тайное наслажденіе, подобно запрещенному крѣпкому напитку. Восхищеніе образами Горькаго не имѣетъ ничего общаго съ восторгомъ, который вызывали въ нашихъ старшихъ братьяхъ деревенскіе рассказы Ауэрбаха. Здѣсь не встрѣчаетъ „свѣжихъ какъ роса“ поселянъ, полу-Спинозовъ по мудрости, нѣтъ также филантроповъ въ вязаныхъ фуфайкахъ — герои Горькаго пьянствуютъ, дерутся и плюютъ на весь міръ. Въ глазахъ истиннаго буржуа онъ долженъ казаться много опаснѣе Зола. Вѣдь еще всѣмъ памятно, что до того, какъ Зола, мужественно выступилъ борцомъ за истину, онъ слылъ въ обширнѣйшихъ кругахъ приличнаго мѣщанства за пошлаго, неопрятнаго

человѣка, способнаго испортить своими мерзкими изображеніями нищеты почтенному труженику буржуа заслуженное наслажденіе культурой, гарантирующей его отъ воровъ. И все-таки Зола не болѣе, какъ благопристойный гражданинъ, не умѣющий преодолѣть своего ужаса при видѣ происходящаго въ глубинѣ народныхъ массъ, среди такъ называемыхъ „подонковъ“ общества; въ послѣднее время онъ даже съ помощью своихъ сочиненій старался содѣйствовать очищенію этихъ клоаковъ. Горькій же не смотритъ удивленно на своихъ героевъ глазами „порядочнаго“ человѣка, живущаго согласно предписаніямъ полиціи и требованіямъ хорошаго тона. Напротивъ, онъ издѣвается и надъ гражданами съ ихъ извращенными инстинктами, и надъ безпомощностью полиціи по ту сторону закодированнаго круга. Для него его оборванцы, босяки и бродяги истинные представители необузданной народной силы; и не ожидая отъ нихъ даже обновленія одряхлѣвшаго общества, онъ все-таки, очевидно, даритъ имъ всѣ свои симпатіи. Это пристрастіе къ людямъ, сбившимся съ пути, къ стоящимъ внѣ общества, дѣлаетъ его столь популярнымъ и дѣйствуетъ такъ возбуждающе на читателя.

До какой степени крайніе анархическіе съ одной стороны, и аристократическіе и антидемократическіе инстинкты съ другой, могутъ не только совмѣщаться, но и сливаться, извѣстно болѣе, чѣмъ изъ одного примѣра. Подобное же смѣшеніе мы находимъ и у Горькаго. Вѣроятно, онъ читалъ Ницше; насколько намъ извѣстно адепты, анархическаго, враждебнаго народу направленія уже готовятъ статьи о Горькомъ и Ницше. Дерзкіе босяки Горькаго всѣ исповѣдуютъ Ницшеанскую мораль господства стихійной силы личности, какъ бы доказывая этимъ, что сверхчеловѣкъ въ дѣйствительности есть подъ-человѣкъ въ смыслѣ общественнаго положенія. Съ такими феноменами, какъ Ницше и Горькій, нельзя, однако, порѣшить, презрительно махнувъ на нихъ рукой. Они требуютъ разъясненія; вѣдь и разныя болѣзненные явленія нельзя уничтожить съ помощью раздраженія или презрѣнія. Нынѣшніе анархисты не сплошь врожденные преступники, которые въ благоустроенномъ обществѣ чувству-

ютъ себя стѣсненными въ проявленіи своихъ болѣзненныхъ наклонностей. Даже вдохновенные друзья человѣчества и люди науки, а также философы-біологи обнаруживаютъ иногда анархическія стремленія. Это указываетъ только, что государственн-ый строй и всеобщее объединеніе, какъ и все хорошее, имѣеть однако, и свою обратную сторону. Защита слабыхъ неизбѣжно ведетъ къ обузданію сильныхъ, а кто такъ дорожитъ свободой, что находитъ большее удовольствіе въ единичномъ драгоценномъ экземплярѣ вида „*homo Sapiens*“, чѣмъ въ цѣломъ стадѣ мирно пасущихся двурукихъ, тотъ, конечно, будетъ негодовать на государство, ставящее преграды человѣку-хищнику, и будетъ считать его отвѣтственнымъ за медленное, но неуклонное обращеніе въ овецъ рода человѣческаго. Вотъ въ чемъ лежитъ зародышъ враждебнаго отношенія къ общественному строю, а также и истинной анархической идеи вмѣстѣ съ антидемократическимъ инстинктомъ. Такимъ образомъ становится яснымъ кажущееся противорѣчіе во взглядахъ Ницше и Горькаго. Можетъ быть, нивелирующее дѣйствіе настоящаго государства прежде всего становится ненавистнымъ натурамъ-артистическимъ, глубоко одареннымъ. Они не хотятъ никакого равенства, а лишь естественности; они не хотятъ такихъ личностей, которыя цѣликомъ завязли въ ходячихъ принципахъ, а такихъ, которыя вполне самобытно живутъ исключительно сообразно личнымъ наклонностямъ.

А между тѣмъ въ жизни, сообразной врожденнымъ инстинктамъ по его мнѣнію, вообще не можетъ быть никакого счастья. Онъ даже питаетъ искреннее отвращеніе къ людямъ, которые цѣнятъ общую, ходячую мораль и сообразуются съ нею въ своихъ поступкахъ, вмѣсто того, чтобы рѣшительно слѣдовать своимъ инстинктамъ. Какъ Ницше не устаетъ громить послѣдователей Сократа, до Канта включительно, какъ враговъ чело-вѣчества, за то, что они на мѣсто чуднаго природнаго инстинкта ставятъ регламентъ,—такъ и Горькій осмѣиваетъ педантовъ, при каждомъ своемъ поступкѣ задающихъ себѣ предварительный вопросъ—а подходитъ ли онъ подъ категорическій императивъ Канта, принимаемый ими за норму во всѣхъ слу-

чаяхъ жизни. Въ одномъ изъ его разсказовъ дочь полковника, непосредственное дитя природы, во время разговора со своимъ поклонникомъ, философствующимъ доцентомъ, восклицаетъ: „Ахъ ты, Господи! Ну и скучно же вамъ, должно быть, жить... всегда въ удилахъ! А по-моему—хочется вамъ стѣснить—стѣсните, хочется быть несправедливымъ — будьте!..“ Какъ могло бы существовать общество при подобныхъ принципахъ — это, конечно, другой вопросъ.

И все же всѣ старанія всѣхъ ученыхъ мужей соединенными усилиями мобилизирующихъ всѣ правила священной морали противъ такого писателя, какъ Горькій, будутъ напрасны. Свѣжесть и острота его ученія заставятъ пренебрегать всѣми запрещеніями. И это не потому, что добродѣтель во всемъ культурномъ обществѣ пришла въ упадокъ, а потому, что нравственность опять-таки какъ и всякое благо, также имѣетъ и свои обратныя стороны—это бесспорная истина. Добродѣтель, какъ природное качество, есть нѣчто возвышенное, вѣнецъ творенія. Добродѣтель, которая является продуктомъ ученія о нравственности, безцвѣтна, какъ помой; мало того—она обезцвѣчиваетъ человѣка, дѣлаетъ изъ него существо, которому вмѣсто крови налили въ жилы какой-то тягучей слизи. Намъ возразятъ—общество не могло бы существовать, если бы самоотреченіе и подчиненіе не стояли въ числѣ общихъ заповѣдей; хорошо, согласимся съ этимъ. Но можно принять за аксіому и то, что въ цѣляхъ прочности этого общества миллионы и миллионы людей вынуждены быть не тѣмъ, что они есть въ дѣйствительности, и лишаются гармоничнаго и здороваго развитія своего „я“ ради интересовъ и выгодъ совмѣстнаго существованія. Это понятно само собою и ученые мужи доказываютъ, что общественная жизнь требуетъ отъ каждаго отреченія даже отъ своей относительной свободы. Но они не знаютъ того, что слишкомъ продолжительное отреченіе отъ своего „я“, вмѣсто охраненія общественныхъ интересовъ, влечетъ за собой тяжелый органическій ущербъ и доводитъ до того, что человѣчество внутренне слабѣетъ и извращается. Во избѣжаніе такихъ плачевныхъ послѣдствій всегда отъ времени до

времени должны появляться софисты, подобные Горькому и Ницше, и горячими проповѣдями выступать въ защиту полной неприкосновенности личности. Повидимому и преступники, босяки и гении, если только не являются представителями атакизма, также имѣютъ свою опредѣленную функцію въ экономіи поколѣній. Они по временамъ распатываютъ рѣшетку кѣтокъ цивилизаціи, обновляютъ кровь и предохраняютъ потомство отъ окончательнаго занесенія иломъ. Во времена всеобщей необузданности бывають болѣе необходимы проповѣдники дисциплины и добродѣтели; но теперь, когда большинству стало не подъ силу чувствовать на себѣ вѣчныя оковы, когда чрезмерное стѣсненіе индивидуальности привело человѣчество къ угрожающему однообразію вымуштрованныхъ по одному образцу людей, теперь насъ будутъ увлекать проповѣдники величія стихійной силы личности и заносчивой непокорности. Опасаться ихъ нѣтъ основаній. Подавляющее большинство умѣренныхъ всегда представляетъ изъ себя крѣпчайшія оковы для самовольныхъ, да и вездѣ больше цѣпей, чѣмъ злыхъ собакъ. Такъ и въ настоящее время проявленія свободы личности чрезмерно стѣснено сплоченнымъ большинствомъ. Только стремленіемъ къ протесту и можно объяснить увлеченіе произведеніями, гдѣ воплощается, хотя бы въ литературныхъ образахъ, идея сопротивленія.

Не слѣдуетъ переоцѣнивать Горькаго какъ поэта и художника. Большею частью своего вліянія онъ обязанъ современному состоянію общества, а также новизнѣ изображенной имъ среды. Но не слѣдуетъ и умалять его достоинствъ, какъ писателя. По жизненности образовъ и мѣткой наблюдательности его можно поставить на ряду прежде всего съ Мопассаномъ; правда, онъ не можетъ сравниться съ послѣднимъ въ изяществѣ изложенія, но зато превосходитъ теплотой и непосредственностью. Вообще всѣ произведенія Горькаго читаются съ одинаковымъ интересомъ: нѣкоторая растянутасть и обиліе разсужденій искупаются вѣрностью изображенія типовъ бродягъ, проходящихъ передъ нашими глазами, какъ живыя, а это до нѣкоторой степени примиряетъ насъ съ ними. Какъ самобытны

его сужденія и свободны отъ какого бы то ни было нравственнаго догматизма, такъ же самобытна и оригинальна его способность творчества. Онъ натуралистъ и какъ таковой любитъ объектъ своихъ наблюденій. Онъ полонъ бодрости, энергіи и совершенно не похожъ на измученныхъ, усталыхъ нашихъ писателей эскизовъ, которымъ лучше было бы вовсе не выступать. Въ общемъ надо признать въ Горькомъ явленіе весьма характерное и вмѣстѣ съ тѣмъ оживляющее для нашего времени. Но ставить его рядомъ или выше Толстого, какъ это дѣлали нѣкоторые критики въ порывѣ преувеличеннаго восторга, было бы, конечно, преступленіемъ. Это все равно, что поднести къ глазамъ мизинецъ и закрыть имъ Монбланъ.

*Гуго Ганцъ.*

## Пьеса Горькаго.

Статья Евгенія Шикъ въ Tageblatte aus Möhren und Schlesien  
№ 206.

Довольно-таки искалѣченная цензурой драма „Мѣщане“ шла въ Петербургѣ и имѣла тамъ большой и вполне заслуженный успѣхъ, что было признано съ рѣдкимъ единодушіемъ. Впрочемъ этому не въ малой степени способствовало, вѣроятно, извѣстное настроеніе или, скорѣе, разстройство всего общества въ имперіи. Но въ чемъ уже теперь ни въ какомъ случаѣ нельзя болѣе сомнѣваться, такъ это въ томъ, что Максимъ Горькій — извѣстная сила, съ которой приходится считаться даже официальной Россіи. Любимцемъ учащейся молодежи онъ уже былъ давнымъ давно, а теперь вся русская интеллигенція взираетъ на него почтительно и съ ожиданіемъ...

По своей натурѣ Горькій революціонеръ, не въ политическомъ смыслѣ слова, не въ качествѣ члена какой-либо партіи, а въ томъ же смыслѣ, въ какомъ былъ революціонеромъ Ибсенъ въ свое время, т.-е. цѣль его произвести возмущеніе, такъ сказать, встряску въ душѣ людей. Онъ проповѣдуетъ и толкуетъ извѣстное міровоззрѣніе, которое западнымъ европейцамъ съ трудомъ приходится себѣ усваивать изъ чтенія сотни философскихъ книгъ, а Горькій выработалъ и развилъ цѣликомъ изъ самого себя; истины, какія онъ обрѣлъ за время своей одинокой и многострадальной жизни, онъ въ настоящее время безсознательно, точно ребенокъ, разбрасывающій нарванные цвѣты по вѣтру, разсточаетъ направо и налево. Но такъ какъ онъ одновременно съ этимъ умѣетъ облекать свои революціонныя идеи въ столь народную форму, что онѣ становятся понятными буквально всѣмъ, — то этимъ и объясняется его необыкновенное вліяніе на самые широкіе слои об-

щества. Уже какъ-то раньше, излагая исторію жизни этого писателя, преисполненную всяческихъ приключеній, я указывалъ на странное сходство — болѣе того, тожество его философскихъ взглядовъ, разсѣянныхъ по разсказамъ и философіи Ницше и Штирнера. Но, въ разсказахъ у него общее съ Ницше любованіе „Красивыми, хищными бестіями“ и прославленіе безгранично-свободныхъ „людей дѣйствія“, а въ „Мѣщанахъ“ этотъ умственный паралелизмъ идетъ еще дальше — вся пьеса въ сущности блестящая парафраза на тему „Смотрите, я учу васъ новому человѣку“. Уже раньше въ очень забавной и смѣлой сатирѣ „Читатель, который зазнался“. Горькій, хотя отрицательно, но все же намѣтилъ типъ новаго смѣлаго и сильнаго человѣка. Онъ говоритъ: „Ну, много ли среди васъ настоящихъ-то людей? человѣкъ пять на тысячу найдется, которые страстно вѣрятъ, что человѣкъ есть владыка и творецъ жизни, а право его свободно думать, говорить, ходить — святое право. Можетъ только пять изъ тысячи способны бороться за это право безъ страха погибнуть въ борьбѣ за него: большинство изъ васъ — рабы жизни или наглые хозяева ея. Всѣ вы кроты и мѣщане, временно заступающіе должность настоящихъ людей. То, что есть въ васъ человѣческаго, только зоологическое. Я вотъ смотрю въ ваши тусклые и робкіе глаза и со страхомъ вижу, какъ мало среди васъ смѣлыхъ, какъ мало честныхъ. Бѣдна страна моя людьми сильными, а уже вновь наступило время, когда ей нужны герои. Хорошій, живой человѣкъ всегда куда-нибудь стремится, чего-нибудь ищетъ, а вы живете тихо, смирно, неподвижно такъ, какъ приказываютъ вамъ жить. Жить вамъ тѣсно, думать лѣнь, двигаться вы боитесь, вокругъ васъ точно у коготки въ гостиной, бездѣлушки на полочкахъ, полусгнившія традиции, да разныя житейскія правила, ни къ чорту негодныя. Все это мѣшаетъ вамъ свободно рукой шевельнуть, но все это ваши маленькіе идолы и вы не смѣете низвергнуть ихъ, хотя они какъ оковы вамъ. И когда вѣтеръ съ поля приноситъ въ затхлый воздухъ вашихъ норъ новые свѣжіе запахи, вы, опасаясь флюса въ сердцѣ, закрываете всѣ форточки“. И дальше: „Вы не люди, вы — зри-



тели, публика. Вы стойки, потому что рабы: васъ бьютъ, вы молчите, васъ оскорбляютъ, вы улыбаетесь“. „Вамъ говорятъ, жизнь мрачна, жизнь страшна, она вся сочтена кровью, вы не въ-рите, ваша жизнь только пошловата и скучна“. И еще: „Слышали ли вы что-нибудь объ истинѣ, о справедливости, о желаніи видѣть встѣхъ людей гордыми, свободными, красивыми?“

Въ пьесѣ же временами кажется, что дѣйствующія лица произносятъ коментаріи на Ницше и Штирнера. „Считаете вы добро и зло равноцѣнными или же нѣтъ?“ на прямки вопрошаетъ напр. пѣвчій Тетеревъ, одинъ изъ типичнѣйшихъ Горьковскихъ героевъ, и самъ себѣ отвѣчаетъ: „Когда вы говорите, что зло слѣдуетъ оплачивать добромъ, вы ошибаетесь. Зло есть качество, приращенное вамъ и потому — малоцѣнное. Добро — вы сами придумали, вы страшно дорого платили за него и потому — оно есть драгоцѣнность, рѣдная вещь, прекраснѣе которой нѣтъ на землѣ ничего. Отсюда выводъ: уравнивать добро со зломъ невыгодно для васъ и бесполезно. Я говорю вамъ: добромъ платите только за добро. И никогда не платите больше того, сколько получено вами, дабы не поощрять въ человѣкѣ чувство ростовщика. Ибо человѣкъ — жаждень. Получивъ однажды больше того, сколько слѣдовало ему, въ другой разъ захочетъ получить еще больше. А также не платите ему меньше, чѣмъ должны, ибо, если вы его разъ обсчитаете, человѣкъ злопамятенъ, онъ скажетъ про васъ „банкроты“, перестанетъ уважать и въ другой разъ не добро уже сдѣлаетъ вамъ, а только подастъ милостыню. Братіе! будьте строго точны въ уплатѣ за добро, содѣянное вамъ! Ибо нѣтъ на землѣ ничего печальнѣе и противнѣе человѣка, подающаго милостыню ближнему своему! Но за зло — всегда платите сторицею зла. Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближняго за зло его вамъ. Если онъ, когда вы просили хлѣба, далъ камень вамъ, опрокиньте гору на голову его“. И развѣ когда тотъ же Тетеревъ провозглашаетъ: „Жалѣть я не умѣю“ — эти слова нельзя принять за цитату изъ Штирнера?

Въ техническомъ отношеніи драма напоминаетъ „Одинокихъ“ Гауптмана, или его же „До солнечнаго восхода“. Но, несмотря

на свою манеру рисовать все *gris en gris*, несмотря на безусловную правдивость. Горькій умѣетъ временами все освѣтить и согрѣть теплыми солнечными лучами — къ такимъ мѣстамъ принадлежитъ напр. глубоко-трогательная сцена любовнаго объясненія Нила со швеей Полей въ концѣ второго акта.

„Мѣщанами“ Горькій опять совершилъ далеко не малую культурную работу; а въ послѣднее время во всемъ, чтобы онъ ни писалъ, это стремленіе выступаетъ все яснѣе и яснѣе: для него, конечно, цѣлью является разрѣшеніе культурныхъ задачъ.

Тѣмъ, чѣмъ онъ подарилъ за сравнительно короткое время своего творчества родину, Горькій уже обезсмертилъ себя въ исторіи умственнаго развитія русскаго народа, и его имя еще долго будутъ вспоминать послѣ того, какъ многіе изъ признанныхъ „безсмертными“ русской академіей наукъ, давнымъ давно будутъ забыты и обратятся въ прахъ.

## Статья Энгельса изъ „Münchener Zeitung“

Представимъ себѣ, что на стѣнѣ комнаты въ какомъ нибудь нѣмецкомъ семействѣ виситъ русская картина. Пусть она будетъ даже первокласснымъ художественнымъ произведеніемъ, но такъ сильно и глубоко трактуетъ чисто-русскій душевный и матеріальный міръ, что можетъ затронуть въ обитателяхъ комнаты лишь ихъ эстетическое чувство, — что же выйдетъ изъ этого? А то, что ихъ старанія увидать въ картинѣ близкаго друга будутъ напрасны — они ежедневно могутъ испытывать десятки разныхъ чувствъ, могутъ и другихъ заставлять переживать ихъ и ни разу въ самый разгаръ возбужденія имъ не придетъ въ голову искать въ картинѣ подтвержденія или — отрицанія своихъ поступковъ; чудная картина, которая въ Россіи могла бы повліять на всѣ стороны психики зрителя, навсегда останется чужда имъ и будетъ возбуждать лишь эстетическій и этнографическій интересъ, а отнюдь не чисто человеческій. Къ ней будутъ относиться какъ къ курьезу, чему-то пришлому и экзотическому.

Что можно сказать о картинѣ, можно повторить и о драмѣ. Мы удивляемся Горьковскимъ мѣщанамъ, но по всѣмъ вѣроятіямъ никогда не поймемъ, чѣмъ они должны бы быть для насъ, а мы для нихъ. Насъ они занимаютъ, удивляютъ, удовлетворяютъ нашу жажду знанія, даже вызываютъ въ насъ что-то въ родѣ почтенія къ гениальности автора, но ни единое слово въ нихъ не проникаетъ въ нашу душу, ни единое лицо не возбуждаетъ нашего сочувствія, ни одинъ изъ вопросовъ надъ рѣшеніемъ которыхъ они мучаются, не заставляетъ подняться изъ темной глубины нашей души вопросы, мучающіе насъ. Величайшее достоинство пьесы — ея глубоко-національная особенность и значеніе становятся на нѣмецкой сценѣ самымъ

плохимъ качествомъ—мы такъ же мало какъ и Гамлетъ въ состояніи понять, что имъ „Гекуба“...

Мѣщане написаны русскимъ, въ Россіи и для русскихъ; они обязательно требуютъ русской публики и русскихъ актеровъ. Поставленные въ соответствующей обстановкѣ, они должны производить сильное, почти подавляющее впечатлѣніе. Тогда каждое слово будетъ попадать въ точку, каждая фигура возвысится до типа цѣлаго класса, каждая нота настроенія вызоветъ стоголосное эхо и главная мысль молніей прорѣжетъ ночное небо и освѣтитъ сокровеннѣйшія тайны націй. Россія — страна самыхъ рѣзкихъ противорѣчій: рядомъ со всесильнымъ правительствомъ мы видимъ тамъ безсильный народъ: съ утонченнымъ, но ложнымъ богомольемъ самую наивную безнравственность и съ громадной массой народа, отставшей въ своемъ развитіи на цѣлыя тысячелѣтія отъ вѣка, небольшое меньшинство, посвященное во всѣ тонкости западной культуры. Горькому, всѣмъ сердцемъ любящему народъ, хотѣлось бы указать, какъ подобные ненормальные контрасты могутъ довести страну до окончательной гибели. Патріархальная стойкость перерождается въ неразбирающее никакія средства стремленіе впередъ, а воодушевленіе талантливѣйшихъ личностей разбивается объ сопротивленіе самаго бессмысленнаго самодурства. Всѣ дѣйствующія лица пьесы, за исключеніемъ двухъ, неудачники. Повидимому, Горькій считаетъ неизбежной, прямо непредотвратимой судьбой русскихъ мѣщанъ въ концѣ концовъ нравственно сломаться. Въ ихъ середѣ все половинчато, все низменно, ползаетъ по землѣ, исходитъ въ жалобахъ и вздохахъ или ищетъ забвенія въ легкомысленной веселости. Да въ сущности у нихъ ничего нѣтъ, за что бы они могли ухватиться. Самое лучшее, что есть у человѣка — способности, личность и сила, — для нихъ обращается въ наказаніе, а не счастье. т. к. возбуждаетъ недовѣріе начальства и тогда, чтобы не казаться опаснымъ властямъ, приходится душить эти качества водкой. Если же способности лишь посредственны, такъ что для ихъ заглушенія не требуется ни Сибири, ни водки, то имъ никогда не суждено проявиться, такъ какъ собственная жажда

жизни и зависть людей ограниченных и самодуровъ медленно, но зато вѣрно уничтожаютъ ихъ. А самодуры и понынѣ живутъ точь-въ-точь такъ же, какъ жили пятьсотъ лѣтъ тому назадъ—они отлично приноровились къ жизни, также какъ приноравливаются къ ней собаки, а именно лаютъ только въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ риску получить за это пинекъ ногой...

Воплотить эти три основныхъ мысли пьесы во всемъ богатствѣ и разнообразіи жизни дѣло нелегкое, а потому Горькій выбралъ форму драмы. Передъ нами семья зажиточнаго старшины малярнаго цеха, дѣти котораго пожелали учиться и вслѣдствіе этого по своему развитію далеко ушли за предѣлы родительскаго пониманія. Происходитъ сильное столкновеніе патриархальной косности и безсильной жажды новаго. Положительными типами являются машинистъ и его возлюбленная — они не копаются въ безплодныхъ думахъ, но дѣйствуютъ и смѣло идутъ навстрѣчу судьбѣ. Горькій безъ сомнѣнія видитъ въ ихъ образѣ дѣйствія тотъ путь, которымъ можно пробраться между скалами современнаго положенія вещей въ Россіи, но, говоря по совѣсти, именно эти лица и кажутся мнѣ наименѣе правдоподобными. Идеаль дѣятельности абсолютно не въ характерѣ славянъ и по всѣмъ вѣроятіямъ также мало можетъ быть воспроизведенъ поэтомъ - славяниномъ какъ и перейти въ жизнь славянскихъ мѣщанъ. Въ техническомъ отношеніи пьеса смотрится легко и отличается сценнчностью, а акты оканчиваются почти музыкальными аккордами. Но написана она скорѣе въ лирическомъ, нежели драматическомъ тонѣ; описаніе среды, но не дѣйствіе, настроеніе, а не движеніе — вотъ что составляетъ ея прелесть. Два послѣднихъ акта дали автору замѣтно труднѣе, въ нихъ масса неровностей, они фрагментарнѣе первыхъ. Очень пріятно поражаетъ безпристрастіе, съ которымъ авторъ распределяетъ свѣтъ и тѣни; прекрасное впечатлѣніе производитъ также юморъ и шутовскій тонъ, съ которымъ онъ обнажаетъ самыя болѣзненные язвы своего народа. Но съ другой стороны, повторяю, національное значеніе пьесы на много превышаетъ ея обще-человѣчскій и

эстетическій интересъ, такъ что даже изображенія въ ней всяческихъ горестей не могутъ заставить насъ забыть это.

Подчеркиваю это, потому что въ Берлинѣ въ настоящее время уже ставится вторая, еще болѣе сильная пьеса того же автора „На днѣ“, и намъ приходится заблаговременно принять мѣры, чтобы снова не впасть въ давно отжившую слабость запружать сцену изображеніемъ всяческихъ низинъ общества.

---

## **„На днѣ“ Максима Горькаго.**

Статья Гольдмана въ „Neue Freie Presse“, 6-го февраля  
1903 года.

Малый театр, завоевывающій въ художественной жизни Берлина все большее и большее значеніе, поспѣшилъ познакомить публику съ новѣйшимъ произведеніемъ Максима Горькаго „На днѣ“. Постановка этой пьесы, разыгранной мѣстами поистинѣ мастерски, нужно считать однимъ изъ выдающихся событій нынѣшняго сезона. Ни одинъ изъ четырехъ актовъ не заканчивается какой-нибудь эффектной заключительной сценой, и все же во время перваго представленія публика не разъ разражалась такой бурей аплодисментовъ, какой еще ни разу не приходилось слышать въ эту зиму. Горькій назвалъ свою пьесу сценами изъ жизни „на днѣ“, подобно тому, какъ „Мѣщанъ“ — сценами изъ жизни въ домѣ Безсѣменова. Эти подзаголовки не могутъ помѣшать критикѣ указать на недостатки обѣихъ пьесъ, тѣмъ болѣе, что сами они указываютъ на нихъ.

Что значитъ — сцены? Въ театрѣ существуетъ лишь одинъ родъ литературнаго творчества, а именно — драма. Нѣчто среднее между драмой и недрамой, что бы называлось сценами — не существуетъ. И если авторъ пишетъ вещь, исключительно состоящую изъ отдѣльныхъ сценъ, то изъ этого слѣдуетъ, что она, какъ драматическое произведеніе, сильно хромаетъ, именно благодаря тому, что не составляетъ цѣльной драмы. То, что авторъ своимъ подзаголовкомъ заявляетъ, будто и не желалъ ничего дать, кромѣ сценъ, въ расчетъ итти не можетъ. Критикъ не приходится считаться съ тѣмъ, что *хотѣлъ* написать авторъ, а лишь съ тѣмъ, что онъ *долженъ* былъ написать. И если онъ заявляетъ, что желалъ дать лишь отдѣльныя сцены, то изъ этого, къ сожалѣнію, слѣдуетъ лишь то, что

онъ самъ сознается, что не создалъ драмы, хотя долженъ былъ бы создать ее.

Во время игры очень ясно выступаютъ всѣ техническіе недочеты послѣдней пьесы.

Содержаніе главнымъ образомъ заключается въ томъ, что жители ночлежнаго дома разговариваютъ о жизни вообще и о своей жизни — преимущественно. Четыре длинныхъ акта состоятъ почти исключительно изъ однихъ разговоровъ.

Когда опускается занавѣсъ, нельзя понять, почему именно онъ опустился сейчасъ, а не упалъ съ такимъ же точно успѣхомъ и раньше. Люди приходятъ, уходятъ, а дѣйствія все же нѣтъ никакого. Да и что можетъ случаться въ этой средѣ? — точно задаетъ вопросъ авторъ. — Вѣдь это и есть то дно, на которомъ уже больше ничего не случается... Это и есть жизнь тѣхъ, которымъ нечего больше переживать. Однако же, это не мѣшаетъ тому, что зрителя утомляетъ слушать въ продолженіе четырехъ длиннѣйшихъ дѣйствій лишь разговоры, какъ бы содержательны послѣдніе ни были сами по себѣ; утомляетъ въ продолженіе четырехъ актовъ ждать событій, которыя такъ-таки и не наступаютъ; утомляетъ смотрѣть четыре акта, въ которыхъ вмѣсто дѣйствія на лицо лишь настроеніе, и настроеніе тяжелое, давящее, какъ тупая боль, по временамъ тяготящая надъ публикой точно кошмаръ.

Иногда кажется, что Горькій вспоминаетъ, что онъ пишетъ драму, а въ драмѣ необходимо движеніе, дѣйствіе, и начинаетъ стремиться искусственно привести въ движеніе царящій въ его пьесѣ застой. Съ помощью примитивнѣйшихъ техническихъ приемовъ, какъ, напр., подслушиванія изъ окна или съ печи одними дѣйствующими лицами о чемъ толкуютъ другія, онъ вызываетъ якобы осложненія и въ концѣ концовъ дѣло доходитъ до драки, во время которой совершается убійство. Горькій заставлятъ своихъ героевъ предаваться дракѣ, лишь бы въ драмѣ оказалось подобіе какого-нибудь дѣйствія. У него недостаетъ драматической силы и съ нимъ случается то, что бываетъ большею частью со всѣми, кто хочетъ выказать таковую, не обладая ею, — т.-е. онъ впадаетъ въ грубость. И. не-



смотря на это, пьеса производитъ съ каждымъ актомъ все болѣе и болѣе сильное впечатлѣніе.

Прежде всего васъ поражаетъ правдивость того, что вы видите. Во время представленія эти картины глубоко запечатлѣваются въ душѣ зрителя, да и послѣ окончанія его часто всплываютъ въ его воспоминаніяхъ.

Намъ уже нѣсколько надоѣли пьесы на тему о „бѣдныхъ людяхъ“, занимавшія въ послѣднее столѣтіе столь видное мѣсто въ драматической литературѣ. Но мастерство, съ которымъ русскій писатель изображаетъ самые подонки общества, непреодолимо увлекаетъ насъ, несмотря на нашу пресыщенность. Эта среда у него живетъ; да и каждое отдѣльное лицо, изъ множества дѣйствующихъ лицъ пьесы, живетъ и живетъ своею собственною жизнью. Оказывается, что жизнь „на днѣ“, также какъ и на высотахъ, одинаково богата самыми разнообразными личностями. Даже тѣ, что вытравлены, такъ сказать, изъ среды гражданъ и не могутъ принимать участія въ жизни общества, которымъ не на что болѣе надѣяться, и тѣ, каждый по своему остается ко всему безучастнымъ, ни на что болѣе не надѣется. Даже тѣ, что въ сущности уже превратились въ ничто, остаются ничѣмъ — каждый на свой ладъ. И великое искусство писателя въ томъ и состоитъ, что онъ умѣетъ, съ помощью яркой характеристики, оживить сѣрую картину—что онъ умѣетъ всѣмъ этимъ людямъ, стоящимъ на такой ступени жизни, на которой уже стерты всѣ внѣшнія различія, посредствомъ отдѣненія душевныхъ свойствъ—создать личность—что онъ умѣетъ индивидуализировать отщепенцевъ.

Въ то же время вы непрерывно чувствуете, что все это поистинѣ русское, даже если вы сами никогда не бывали въ Россіи.

Художественная правда придаетъ ей такой сильный и своеобразный отпечатокъ, что ее ощущаешь даже когда не знаешь оригиналовъ, которые она художественно воспроизводитъ.

Особенно языкъ дѣлаетъ впечатлѣніе чего-то чисто-русскаго и въ этомъ заключается заслуга превосходнаго пере-

водчика Горькаго—Шольца; у него діалогъ всецѣло сохранилъ чисто-русскій характеръ, ни разу, въ то же время, не грѣша противъ духа нѣмецкаго языка. Горькій, какъ въ своихъ драмахъ, такъ и новеллахъ, выказываетъ сильную склонность къ разсужденіямъ и на этотъ разъ также сумѣлъ облечь свои мысли въ разговорную форму простого народа и при этомъ такъ, что онѣ не кажутся неумѣстными даже въ устахъ proletariевъ. Самое большее, что можно поставить ему въ упрекъ въ этомъ отношеніи, такъ это то, что въ его ночлежкѣ философовъ больше, нежели вообще это принято въ ночлежныхъ домахъ.

Но съ другой стороны, самая эта философія трогаетъ наши сердца; вѣрно потому, что высказывается дѣтскимъ задушевымъ языкомъ, повидимому, свойственнымъ русскому народу. Особенная прелесть діалога этой драмы заключается въ его глубокомысленности и въ то же время наивности. Но, благодаря поразительной естественности разговоровъ, часто страдаетъ ихъ ясность, такъ какъ всѣ дѣйствующія лица непринужденно перебрасываются фразами, зачастую, повидимому, лишенными всякой связи, а иногда какой-нибудь вопросъ затрогивается лишь мимоходомъ, не развивается до конца, и тотчасъ же вновь бросается.

О Горькомъ писали, что онъ подражаетъ Гергардту Гауптману. Почему? Вѣрнѣе всего потому, что выводитъ на сцену бѣдныхъ людей. Точно ихъ изобрѣлъ Гауптманъ? На самомъ же дѣлѣ Горькій идетъ собственной дорогой и ни единой черточки не заимствуетъ у младо-нѣмецкаго писателя, который къ тому же не такъ богатъ, чтобы дѣлиться чѣмъ-нибудь съ другими.

Горькій отнюдь не послѣдователь нѣмецкихъ натуралистовъ, а стоитъ высоко надъ ними. Въ его пьесѣ есть какъ разъ то, чего недостаетъ имъ—художественная обработка самаго крайне-натуралистическаго сюжета. На немъ, какъ на живомъ примѣрѣ, подтверждающемъ извѣстную теорію, можно ясно видѣть, почему большинство нѣмецкихъ натуралистовъ не художники въ истинномъ значеніи этого слова. Нѣмецкіе натурали-

сты *описываютъ* и, описывая, думаютъ, что творятъ. Если бы кто-нибудь изъ нихъ задумалъ написать „На днѣ“, то стелъ бы свою задачу выполненной, если бы ему удалось рассказать жизнь и обычаи подобнаго ночлежнаго пріюта для нищихъ. И такъ какъ на сценѣ изображался бы притонъ, населенный разной голытьбой, то задающая тонъ критика объявила бы пьесу художественнымъ произведеніемъ, а публика, какъ всегда, была бы вынуждена этому повѣрить. Ну, а въ послѣднее столѣтіе всякаго, изображающаго извѣстную среду, провозглашали художникомъ, поэтомъ и пьесу „На днѣ“ сочли бы за саму поэзію. Но истина звучитъ нѣсколько иначе. Въ дѣйствительной жизни навѣрняка можно найти поэзію и въ ночлежномъ домѣ, но при условіи, что туда явится поэтъ и отыщетъ ее. Это-то и сдѣлалъ Горькій и въ этомъ его заслуга. Его пьеса доказываетъ, что описывать — не значитъ еще творить; это можетъ служить лишь вспомогательнымъ средствомъ для творчества. Его драма не потому производитъ столь сильное впечатлѣніе, что изображаетъ жизнь въ ночлежномъ пріютѣ, но потому, что изображеніе ея проникнуто глубокимъ проникновеніемъ и искреннимъ состраданіемъ даже къ самымъ падшимъ людямъ, не имѣющимъ иного пристанища, кромѣ этого пріюта печали; и еще потому, что въ его изображеніи все сызнова отмѣчается путь съ самыхъ низовъ жизни къ ея высотамъ, путь къ великимъ утѣшительнымъ и возвышеннымъ мыслямъ. И не въ ночлежнѣ—поэзія, а въ глубокомъ пониманіи ея и возвышенныхъ мысляхъ автора.

А такъ какъ и того, и другого не хватаетъ нѣмцамъ-натуралистамъ, то Горькій стоитъ гораздо выше ихъ. А потому, что онъ глубоко чувствуетъ и возвышенно мыслить — онъ и поэтъ.

Странникъ Лука преимущественно передъ другими является толкователемъ взглядовъ Горькаго. Въ одинъ прекрасный день въ ночлежку входитъ сѣдой старичокъ съ посохомъ въ рукѣ, съ котомкой за плечами, чайничкомъ за поясомъ и ласково здоровается съ окружающими:

„Добраго здоровья, народъ честной!“

Одинъ изъ присутствующихъ проходимцевъ отвѣчаетъ: „Былъ честной, да позапрошлой весной...“ — „Миѣ все равно, — говоритъ Лука, — я и жуликовъ уважаю, по моему, ни одна блоха не плоха: всѣ — черненькія, всѣ — прыгають... такъ-то“. И онъ проситъ указать ему на теплый уголокъ. „Какой занятный старичишка“, — говоритъ о немъ Пепель.

Никто не знаетъ, кто этотъ старикъ и откуда онъ явился. Просто бродитъ себѣ по бѣлу-свѣту съ своимъ посохомъ и чайникомъ за поясомъ.

„Всѣ мы на землѣ странники, — говоритъ онъ, когда его спрашиваютъ откуда онъ явился. — Говорятъ, слыхалъ я, что и земля-то наша въ небѣ странница“.

Само собою разумѣется, что паспорта у него нѣтъ, и потому грубый хозяинъ ночлежки попросту величаетъ его бродягой. Нѣсколько дней онъ остается на мѣстѣ, а потомъ исчезаетъ такъ же внезапно и такъ же таинственно, какъ и явился. Среди разговора онъ вдругъ заявляетъ: „Ну, ребята!.. живите богато! уйду скоро отъ васъ...“ — „Куда теперь?“ — „Въ хохлу... слыхалъ я — открыли тамъ новую вѣру... поглядѣть надо — да! Все ищутъ люди, все хотятъ — какъ лучше... дай имъ Господи терпѣнья!“

А потомъ, во время драки, выползаетъ изъ окна и никто его больше уже не видитъ.

Такъ среди людей являлся иногда Спаситель, гласитъ легенда, и если въ этихъ случаяхъ онъ обращался къ бѣднякамъ съ понятными для нихъ рѣчами, то, навѣрное, выражался не иначе, чѣмъ странникъ Лука въ разговорахъ съ жителями ночлежнаго пріюта. Рѣчи его просты, но въ нихъ есть что-то разрѣшающее... а разрѣшающія онѣ потому, что въ нихъ звучитъ доброта. Онъ говоритъ съ ними точно отецъ. А такъ какъ онъ уже старъ, то женщины зовутъ его дѣдушкой. И вотъ эти отверженцы и отщепенцы вдругъ встрѣчаютъ человѣка, который жалѣетъ ихъ. Правда, онъ ничѣмъ не въ состояніи помочь имъ, потому что самъ нищій изъ нищихъ, но все же обязываетъ имъ великое благодѣяніе, ибо вѣрить въ нихъ. Онъ вѣритъ въ добро, живущее въ ихъ душахъ,

слѣды котораго онъ съ увѣренностью умѣетъ отыскать, даже тогда, когда они почти окончательно стерты паденіемъ.

„Есть—люди, а есть—иные—человѣки!“ — говоритъ онъ. Слѣдовательно, надо отличать людей отъ человѣковъ.

Но нѣтъ человѣка, въ которомъ не было бы ничего хорошаго, и такимъ образомъ этотъ убогій старичекъ безсознательно творить великое дѣло милосердія, достойное Спасителя: отыскиваетъ въ ночлежномъ пріютѣ человѣковъ и какъ только находитъ ихъ (повидимому, надо искать, чтобы найти), старается извлечь изъ того состоянія жалкой приниженности, въ которомъ они находятся, и заставить познать въ себѣ самихъ зернышко добра, таящагося на глубинѣ души каждого... Онъ возвѣщаетъ имъ, что и они люди. А „человѣка уважать надо“.

Въ другой разъ, когда его спрашиваютъ, что есть правда?—онъ говоритъ: „Человѣкъ — вотъ правда“.

Горькій въ одномъ изъ своихъ разсказовъ упоминаетъ о „бывшихъ людяхъ“; тутъ же онъ какъ будто хотѣлъ опровергнуть это опредѣленіе, говоря, что того, въ комъ есть хоть единая крупица человѣческаго, нельзя назвать „бывшимъ“.

Драма продолжается; въ этой пьесѣ, въ которой недостаетъ внѣшняго дѣйствія, все-таки разыгрывается драма, но драма внутренняя. Во всѣхъ сердцахъ, къ которымъ Лука обращался чисто по-отечески, начинается что-то шевелиться. Жители ночного пріюта вдругъ начинаютъ чувствовать въ себѣ какую-то новую силу и пытаются подняться—каждый по своему.

Всѣ эти попытки не удаются: несчастныхъ такъ придавило всяческое убожество, что никакая воля не въ состояніи стряхнуть его. Конечъ поистинѣ трагиченъ.

И все же у зрителя на душѣ остается радостное чувство, такъ какъ онъ видитъ, что даже въ этихъ самыхъ обездоленныхъ людяхъ, самыхъ послѣднихъ изъ послѣднихъ, пробуждается чувство человѣческаго достоинства, когда имъ внушаютъ, что и они—люди; радостно потому, что видишь, что людскія души даже съ самыхъ низинъ стремятся въ высь, когда доброта

ясняется ихъ. Этотъ подъемъ въ притонѣ отчаянія производитъ впечатлѣніе чуда.

И почему русское произведеніе такъ захватываетъ насъ? Потому, что указываетъ на возможность такого чуда, а показавъ его, этимъ самымъ проповѣдуетъ великое ученіе, согревающее и возвышающее сердце. Изъ темныхъ нѣдръ ночлежки—возносится до насъ это ученіе словами стараго странника: „Человѣкъ—вотъ правда“.

Ученіе это вѣщаетъ, что самое великое, самое высокое на землѣ — человѣчность; въ то же время мы видимъ потрясающіе примѣры того, какъ человѣчность совершаетъ самое тяжелое, почти невозможное...

Это ученіе въ наше время борьбы за существованіе и сверхчеловѣковъ звучитъ необычно, неожиданно — просто и искренно возвѣщаетъ то, о чемъ люди слишкомъ долго забывали, а именно:—выше сильнаго, да и сильнѣе его—нѣжность, кротость и милосердіе...

Это ученіе о всепокоряющемъ, всеосвобождающемъ могуществѣ добра... Грядный подвалъ, въ которомъ высоко подъ потолкомъ всего одно единственное узенькое оконце, черезъ которое проникаетъ скудный дневной свѣтъ—вотъ ночлежка. Женщины и мужчины, пріютившіеся въ ней, живутъ всѣ вмѣстѣ. Хозяинъ Костыловъ—человѣкъ скверный, жестокий; даже странникъ Лука не можетъ отыскать въ немъ ничего утѣшительнаго. Онъ страшно эксплуатируетъ нищету, за счетъ которой живетъ, безжалостно выжимаетъ изъ своихъ жильцовъ послѣднія копѣйки, но за то ревностно заботится о спасеніи собственной души и бѣгаетъ по церквамъ; совершая самыя безбожныя дѣла, онъ въ то же время поминутно взываетъ къ Господу Богу.

У злого человѣка такая же злая жена—Василиса. У нея нѣтъ жалости къ несчастнымъ постояльцамъ ночлежки. Она грубо набрасывается на нихъ, если они не исполняютъ предписаній; даже и въ этой ямѣ существуютъ свои распорядки.

Единственно Васыка Пепель не считается съ ними, да ему и не къ чему считаться, потому что Василиса взяла сильнаго

молодого парня себѣ въ любовники (Винтерштенъ, играя Василия, гриммируется Горькимъ).

Васяна Пепель добываетъ себѣ пропитаніе безъ особенныхъ трудовъ. Когда ему нужны деньги, онъ вытаскиваютъ часы изъ кармана ближняго и продаетъ ихъ Бостылеву.

„Мой путь обозначенъ мнѣ! Родитель всю жизнь въ тюрьмахъ сидѣлъ и мнѣ тоже заказалъ... Я, когда маленькій былъ, такъ уже въ ту пору меня звали воръ, воровъ сынъ...“ Въ другой разъ одинъ изъ жильцовъ ночлежки обвиняетъ остальныхъ въ томъ, что у нихъ нѣтъ ни совѣсти, ни чести. „А куда онѣ—честь, совѣсть? На ноги вмѣсто сапогъ не надѣнешь ни чести, ни совѣсти“.

И, несмотря на это, молодому вору противна эта жизнь, противна женщина, съ которой ему приходится жить, и его тянетъ къ хорошей дѣвушкѣ Наташѣ, сестрѣ Василисы, которая за это избиваетъ ее до полусмерти. Ни одинъ изъ людей, влачащихъ свое существованіе на этой глубинѣ, не выказываетъ потребности вновь вынырнуть. Жизнь вышвырнула изъ за бортъ и они остаются лежать.

„Смести бы васъ, какъ соръ, куда-нибудь въ яму!“ кричить проститутка Настя въ припадкѣ гнѣва. Они не барахтаются, а несутъ свою участь отчасти съ тупою покорностью, а иногда и съ наглымъ цинизмомъ.

Только слесарь Клещъ пытается бороться съ судьбой. Онъ сидитъ въ уголкѣ и цѣлый день постукиваетъ на своей крохотной наковальнѣ.

„Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылѣзу... кожу сдеру, а вылѣзу... Вотъ погоди .. умереть жена...“

А жена его Анна, которую онъ раньше такъ колотилъ, что она, наконецъ, заболѣла и слегла, слышитъ, лежа въ постелѣ, единственной во всемъ притонѣ — желаніе мужа... Она не долго заставляетъ его ждать исполненія его. Но смерть жены, вмѣсто освобожденія, еще глубже затягиваетъ Клеща: чтобы покрыть расходы на похороны, ему приходится продать свои инструменты, и онъ уже не можетъ даже работать.

Сатинъ, отбывшій срокъ наказанія каторжника, старается его утѣшить, когда онъ впадаетъ въ отчаянне. Среди фило-софовъ ночного притона, Сатинъ выдѣляется своимъ безпо-щаднымъ, острымъ умомъ.

„Я тебѣ дамъ совѣтъ: ничего не дѣлай: просто обременяй землю!“

„Ладно... говори... я стыдъ имѣю передъ людьми“ — „Брось, люди не стыдятся того, что тебѣ хуже собаки живется...“ Вре-менами въ ночлежкѣ возникаютъ ссоры между проституткой Настей и ея любовникомъ барономъ. „Все это ерунда“ кри-чить баронъ, когда Настя рассказываетъ о томъ, какъ ее лю-билъ богатый студентъ и какъ онъ хотѣлъ застрѣлиться, по-тому что родители не позволяли ему жениться на ней. Правда, студентъ въ повѣствованіи Насти называется то Раулемъ, то Гастономъ, и Настя забываетъ о томъ, что вся эта исторія приключилась не съ нею, а съ героиней романа „Роковая лю-бовь“, которымъ она зачитывается до того, что уже больше не въ состояніи различить что она читала и что сама пережила. Во всякомъ случаѣ Настю глубоко оскорбляетъ, когда баронъ обвиняетъ ее во лжи: потому что изъ за-нея ли, Насти, или изъ-за героини романа, но что студентъ Рауль или Гастонъ собирався застрѣлиться—это фактъ. И чтобы отомстить ба-рону, она когда онъ рассказываетъ о своемъ дѣдѣ, занимав-шемъ при Николаѣ I важный постъ, имѣвшемъ тысячи крѣ-постныхъ, лошадей, повора, домъ въ Москвѣ и домъ въ Пе-тербургѣ кричитъ ему: — „Врешь, не было этого!“. Но баронъ не вретъ. Онъ происходитъ изъ знатной семьи и когда-то самъ носилъ мундиръ и фуражку съ кокардой; навѣрное но-силъ бы ее и по сіе время, не приди ему въ одинъ прекрас-ный день фантазія растратить казенныя деньги, не зная даже хорошенько зачѣмъ и почему. Даже въ ночлежкѣ ему при вся-комъ удобномъ случаѣ хочется разыгрывать барона. Поэтому Васья Пепель, воръ, съ особеннымъ наслажденіемъ общается ему пятачекъ на водку, если онъ проползетъ по полу на чет-веренькахъ и станетъ лаять по-собачьи. И баронъ, внукъ дѣда, владѣвшаго при Николаѣ I тысячами крѣпостного народа,



ползаетъ и лаезъ, чтобы получить отъ вора подачку въ пять копѣекъ...

Водку всё они пьютъ, но никто такъ много, какъ актеръ. Среди остальныхъ оборванцевъ ярко выступаетъ эта фигура, обрисованная Горькимъ съ особеннымъ мастерствомъ; нашъ артистъ Рейнеръ создалъ изъ него такой образъ захудалого актеришки, съ сильнымъ голосомъ и стеклянными отъ пьянства глазами, который невозможно забыть. Надо слышать, когда онъ съ значительнымъ жестомъ провозглашаетъ: „Образованіе—че-пуха, главное—талантъ“ и онъ произноситъ—талантъ съ такимъ выраженіемъ, которое передать невозможно. „Та-а-лантъ! Я зналъ артиста... онъ читалъ роли по складамъ, но могъ играть героевъ такъ, что... театръ трещалъ и шатался отъ восторга публики“. Очевидно, онъ подразумеваетъ самого себя. Потому что въ другомъ мѣстѣ описывается, какъ онъ вызывалъ взрывъ аплодисментовъ когда извѣстнымъ образомъ подходилъ къ рампѣ.

„Ты... не знаешь, что такое аплодисменты, и это братъ. какъ водка!“. Теперь, правда, все пропало, даже память вслѣдствіе пьянства пострадала, такъ сильно, что онъ не въ состояніи вспомнить стиховъ которые прежде декламировалъ съ такимъ упомогающимъ успѣхомъ.

Наканунѣ его изслѣдовалъ докторъ въ госпиталѣ и актеръ съ любовью повторяетъ его слова! Съ тою же гордостью, съ какою онъ говоритъ о своихъ, прежнихъ сценическихъ успѣхахъ, онъ произноситъ: „Вашъ организмъ совершенно отравленъ алкоголемъ“.

Одно только смущаетъ его—никто болѣе не знаетъ его имени. Для товарищей по ночлежкѣ онъ просто-на-просто „актеръ“ и по этому поводу онъ изливаетъ свое сердце доброй Наташѣ.

„По сценѣ мое имя Сверчковъ-Заволжскій. Никто этого не знаетъ, никто! Нѣтъ у меня здѣсь имени... Понимаешь ли ты, какъ это обидно—потерять имя? Даже собаки имѣютъ клички...“

Въ этотъ же вечеръ умираетъ Анна, жена слесаря Клеца. Актеръ возвращается изъ трактира совершенно пьяный. Весь

вечеръ онъ напрасно старался вспомнить одно стихотвореніе, которое когда-то декламировалъ. Наконецъ ему это удалось. Онъ влѣзаетъ на столъ и, покачиваясь взадъ и впередъ читаетъ нѣсколько строкъ—что-то о солнцѣ и міровомъ пространствѣ. Никто его не слушаетъ, кромѣ покойницы на кровати. Онъ слѣзаетъ со стола, подходитъ къ ней, видитъ, что женщина уже перестала дышать, значительно качаетъ головой и произноситъ:

„Потеряла имя!“

И вотъ жалкую жизнь этихъ людей прорѣзываетъ лучъ утѣшенія въ лицѣ странника Луки. Его утѣшенія не всегда соглашаются съ истиной.

„Вотъ ты говоришь—правда... Она, правда-то не всегда по недугу человѣку... не всегда правдой душу вылечишь..“ А такъ какъ для него важно исцѣлять души, и ложь утѣшительная, кроткая, можетъ умѣрить боль многихъ душевныхъ ранъ, а жестокая, безутѣшная правда только бы усилила ее, то онъ часто прибѣгаетъ ко лжи ради успокоенія людей. Но больше всего онъ остерегается разрушать ту ложь, въ которую люди вѣрятъ и которая нужна имъ, чтобы жить. Поэтому, когда потаскушка Настя рассказываетъ о своей любви со знатымъ студентомъ и всѣ ее осмѣиваютъ, онъ говоритъ:

„Я—вѣрю! Твоя правда, а не ихняя... Коли ты вѣришь, была у тебя настоящая любовь... значить была она!“

На вѣчный вопросъ: въ чемъ истина? Этотъ старичокъ нашелъ свой собственный отвѣтъ.—„Истина, то, во что мы вѣримъ“. Современное общество разсуждаетъ иначе, оно говоритъ: „истина то, что мы знаемъ“.

Современное общество ищетъ истины разсудкомъ; странникъ же Лука, повидимому, не слишкомъ-то высоко ставящій его, прежде всего ищетъ ее сердцемъ. Кто изъ нихъ правъ, можетъ рѣшить тотъ, кому извѣстна абсолютная истина. Во всякомъ случаѣ есть загадки, которые разумъ не въ состояніи рѣшить съ помощью истины; можетъ быть, что и объясненія, которыя даетъ имъ вѣра, тоже не есть истина, но по крайней мѣрѣ это все же рѣшеніе. И какъ же можно отнимать у тѣхъ, которые

могутъ вѣрить, которыя находятъ успокоеніе и удовлетвореніе въ вѣрѣ,—увѣренность въ истину того, во что они такъ крѣпко вѣрятъ. Вѣроятно, это то и хотѣлъ сказать Лука, когда на вопросъ вора Пепла „Богъ есть?“ отвѣчаетъ:

„Если вѣришь—есть; не вѣришь—нѣтъ. Во что вѣришь, то и есть“.

Относясь серьезно къ дѣтскимъ фантазіямъ дѣвки Настасьи, Лука находитъ дорогу къ ея сердцу, а она изъ благодарности за его доброту въ концѣ концовъ готова сама стать лучшей.

„И чего... зачѣмъ я живу здѣсь съ вами?“ кричитъ она своимъ товарищамъ по ночлежнѣ. „Уйду... пойду куда-нибудь... На край свѣта!“—„Безъ бацмаковъ лѣди?“ издѣвается надъ ней ея любовникъ. „Голая! На четверенькахъ пополазу!“ Но, конечно, она не отправляется на конецъ свѣта, а спокойно остается въ ночлежнѣ. Аниѣ, женѣ слесаря Клеца, Лука помогаетъ умирать. Онъ кротко уговариваетъ ее:

„Это передъ смертью, голубка. Ничего, милая. Ты надѣйся... Вотъ, значитъ, помрешь и будешь тебѣ спокойно... ничего больше не надо будетъ и бояться нечего!“

Тишина, покой... лежи себѣ! Смерть—она все успокаиваетъ... Она для насъ ласковая“.

Анна слушаетъ и вѣрить тому, что онъ говорить, и все же не можетъ какъ слѣдуетъ радоваться предстоящему великому покою. Лучше страдать, но жить, нежели умереть и отдыхать. Поэтому она говоритъ: „Если тамъ муки не будетъ, здѣсь можно потерпѣть... можно!“.

На вора Ваську Пепла Лука старается подѣйствовать черезъ его склонность къ хорошей дѣвушкѣ Наташѣ, сестрѣ хозяйки. Онъ рассказываетъ ему о Сибири—новомъ краѣ, гдѣ нужны молодыя и сильныя руки. Туда онъ посылаетъ Ваську съ Натальей. А Наташу старикъ уговариваетъ выйти замужъ.

„Ну и я скажу—иди за него, дѣвонька, иди! Онъ парень ничего—хорошій. Ты только почаще напоминай ему, что онъ хорошій парень, чтобы онъ, значитъ, не забывалъ про это“.

Парень съ дѣвушкой приходятъ къ соглашенію, но это-то

и вызывает катастрофу. Василиса, хозяйка, подслушав ихъ разговоръ, вмѣстѣ съ мужемъ начинаетъ колотить несчастную дѣвушку сильнѣе прежняго. У нихъ пытаются вырвать жертву изъ рукъ, при чемъ начинается всеобщая потасовка. Вдругъ сквозь толпу пробивается Васька Пепель, за которымъ успѣли сбѣгать, бросается на Костылева и убиваетъ его. Ваську Пепла отводятъ въ тюрьму, Наташу въ больницу, откуда она потомъ безслѣдно исчезаетъ и молодая, только что зародившаяся, любовь—умираетъ. Даже надъ актеромъ жалелся Лука. Ему онъ рассказываетъ о какомъ-то городѣ, съ очень мудренымъ названіемъ, которое онъ забылъ,—гдѣ есть лечебницы для пьяницъ. „Признали, видишь, что пьяница тоже человѣкъ и даже рады, когда онъ лѣчиться желаетъ“.

Актеръ задумывается: существуетъ, слѣдовательно, возможность начать новую жизнь и для тѣхъ, что отравлены алкоголемъ. Лечебница для алкоголиковъ болѣе не выходитъ у него изъ головы „Превосходная лѣчебница“ мечтаетъ онъ въ пьяномъ видѣ „Мраморъ... мраморный полъ! Свѣтъ... чистота, пища... все даромъ! И мраморный полъ, да! Я ее найду, вылежусь, и... снова буду... Я на пути къ возрожденію, какъ сказалъ король Лиръ...“.

Но путь къ возрожденію, къ лечебницѣ съ мраморными полами длиненъ, и актеръ находитъ свое собственное средство, чтобы сократить его. Однажды ночью, когда другіе обитатели ночлежки сидятъ за столомъ, пьютъ и поютъ, онъ вскакиваетъ съ своего мѣста, наливаетъ дрожащей рукой стаканъ водки и со словами „ушелъ“ бросается вонъ. Другіе продолжаютъ пѣть. Вдругъ вбѣгаетъ баронъ и кричитъ: „Эй, вы, идите сюда!..“

На пустырь... тамъ... Актеръ... удавился!“

Пѣніе сразу обрывается и Сатинъ вполголоса заявляетъ: „Эхъ... испортилъ пѣсню... дур-ракъ!“.

---

## Статья Альфреда Керра въ Nation.

### I.

Говоря по совѣсти (а почему бы и нѣтъ?), я нахожу, что это до странности мрачное (На днѣ) произведеніе важно не столько тѣмъ, что даетъ, какъ тѣмъ, что указываетъ на то, что авторъ могъ бы дать. Въ немъ чувствуется сила, но присутствіе ея скорѣе предполагаешь, нежели видишь ея проявленіе. Однимъ словомъ, выносишь впечатлѣніе, что авторъ—человѣкъ высокоодаренный, но сама пьеса не производитъ подобнаго впечатлѣнія.

Энтузіазмъ, совершенно основательно охватившій зрителей во время перваго представленія, не долженъ насъ сбивать съ толку. Сама игра, выборъ подобной драмы, небольшой театръ, гдѣ ее такъ чудно поставили, сильное желаніе зрителей проникнуть въ намѣренія автора, понять его и воспринять художественное настроеніе пьесы,—все это вмѣстѣ едва ли можно забыть. Но если покопаться въ своей душѣ, то увидишь, что всеобщее воодушевленіе больше относилось къ увлеченію искусствомъ, нежели собственно этимъ произведеніемъ. У меня мелькали приблизительно слѣдующія чувства: какъ хорошо, что производятся подобныя опыты, что относятся такъ серьезно къ искусству, такъ смѣлы и не боятся ставить непреодолимо-трудныя великія произведенія. Но у меня не было чувства, что передо мною великое произведеніе... И еще я думалъ, что авторъ пьесы можетъ завтра же подарить намъ таковое.

### II.

Горькій живописуетъ лишь les derniers des derniers, только преступниковъ, людей опустившихся, больныхъ, невѣжествен-

ныхъ. И я думалъ — это до меня не касается, я не принадлежу къ числу ихъ, у меня совсѣмъ инныя страданія... Вѣдь не всегда же человѣкъ бываетъ настроенъ альтруистически; это чувство въ лучшемъ случаѣ составляетъ лишь часть нашего душевнаго міра. Ткачи вызываютъ въ насъ больше сочувствія, потому что въ нихъ указывается на нашу вину относительно немощныхъ. Гауптманъ говоритъ: эти люди голодаютъ, потому что вы ихъ держите въ черномъ тѣлѣ, слишкомъ дешево оплачиваете ихъ трудъ. У Горькаго же никто не работаетъ (за исключеніемъ слесаря, котораго никто не любитъ); даже „кровопійцы“, хозяинъ и хозяйка притона, жалкіе, невѣжественные, опустившіеся люди. Богатыхъ тамъ нѣтъ. Слѣдовательно, передъ нами, людьми, располагающими нѣскольکو большимъ количествомъ мыла и ѣды — не такъ непосредственно возникаетъ категорическій императивъ. Не сразу видишь, какое все это имѣетъ отношеніе къ намъ.

Само собою, это отношеніе все же есть. Горькій говоритъ: вотъ что творится на планетѣ, на которой вы живете. Далѣе онъ показываетъ: вотъ какъ живутъ многіе изъ васъ подобныхъ существъ. Наконецъ, онъ говоритъ еще: у нихъ имѣется свое собственное философское міровоззрѣніе и не думайте, — на этомъ онъ особенно настаиваетъ, — что вы одни способны составить его себѣ.

Вслѣдствіе всего этого, одинъ изъ критиковъ, признавая несомнѣнную связь пьесы съ „Ткачами“ (самое лучшее въ своемъ произведеніи Горькій заимствовалъ у Гауптмана, а именно построеніе и постепенное выдвиганіе все новыхъ личностей) — одинъ изъ критиковъ сказалъ: Гауптманъ проповѣдуетъ тѣлесное насыщеніе, а русскій — духовное. Это похоже на возвеличеніе русскаго на счетъ нѣмца. Но если бы Юліусъ Хартъ такъ же враждебно относился къ Горькому, какъ къ Гауптману, то могъ бы сказать: одинъ изъ авторовъ заставляетъ своихъ героевъ разглагольствовать на разныя философскія темы, заставляетъ оборванцевъ предаваться глубокомысленнымъ размышленіямъ и произносить мудрыя изреченія, а другой писатель скромно и строго, безъ всякой лишней бол-

товни передаетъ лишь *diva necessitas*, заставляющую ихъ двигаться. Готовъ голову прозакладывать, если это не такъ.

### III.

Итакъ, Горькій намъ показываетъ послѣднихъ изъ послѣднихъ плюсъ ихъ философію. Критика настораживается и рѣшается, что онъ — своего рода Бертольдъ Ауэрбахъ шестого сословія. Но подобное утвержденіе было бы слишкомъ рѣзко. Во всякомъ случаѣ, Горьковскіе герои утопаютъ въ „идеяхъ“. Онъ передаетъ намъ, какъ они, точно дѣти, шепеляво умничаютъ и разглагольствуютъ, причемъ вслѣдствіи голода впадаютъ въ крайній натурализмъ.

Острижъ назвалъ бы Горькаго — Дюма-Сынъ подонковъ общества. Конечно, все это затемнѣно „Россіей“, т.-е. экзотизмомъ загадочной страны, неотесаннымъ языкомъ и варіаціями на библейскую тему. И все же...

И все же Горькій чувствуетъ себя какъ рыба въ водѣ среди всяческой грязи, при видѣ ея у него слюнки текутъ. Очень замѣтно проступаетъ у него тенденція: „Вотъ вамъ и техника!“ Кажется, будто онъ говоритъ: во-первыхъ, вотъ что... во-вторыхъ... и дальше...

Напр., Горькій восклицаетъ: „Мы находимся въ ночлежкѣ: передъ вами равнодушный лѣнтяй, смѣлый преступникъ, честолюбивая баба, выродившійся дворянинъ, татаринъ, дѣвка, спившійся актеръ, видите, какое разнообразіе?..“ (это онъ говоритъ). Горькій чудный бытоописатель, идущій по стопамъ Гауптмана въ манерѣ и способѣ изображенія множества своихъ дѣйствующихъ лицъ, но у него все это выходитъ какъ-то фельетонно. Также вѣрно, что онъ совсѣмъ, совсѣмъ близко подходитъ къ границѣ тривіальнаго, какъ и то, что онъ въ сущности не тривіаленъ. Онъ очень часто, словно на подносі, преподноситъ намъ самыя обыкновенныя вещи. На меня лично самое сильное впечатлѣніе произвелъ рассказъ барона, какъ онъ, точно во снѣ, опускался со ступеньки на ступеньку и какъ вся жизнь, въ ея повседневныхъ проявленіяхъ, прошла

мимо него, точно онъ спалъ все время. Онъ самъ не понимаетъ, какъ все это случилось, и указываетъ лишь на различные этапы своего паденія. Потрясающе; но каждый разъ онъ точно припѣвомъ фельетоннаго характера заканчиваетъ словами — „не понимаю“. Я бы выпустилъ эти повторенія. Или актеръ говорить, что никто не знаетъ его имени, что въ ночлежкѣ онъ человѣкъ безъ имени, и тотчасъ же ему отвѣчаютъ, указывая на умершую женщину, которая стала теперь тоже безъ имени. Дальше: актеръ хочетъ продекламировать стихотвореніе, но не можетъ его вспомнить; спустя немного, онъ вбѣгаетъ въ комнату и произноситъ его, не замѣчая, что въ ней никого, кромѣ полуробенка, нѣтъ, и тотъ отвѣчаетъ ему улыбкой. Намъ слишкомъ хорошо знакомы подобные приемы. Далѣе, продажная дѣвка ради утѣшенія проливаетъ слезы надъ дряннымъ романомъ. Все патетическое всегда носить у него слегка фельетонный характеръ. Въ моментъ сильнѣйшаго общаго волненія въ подвалъ съ гармоніей въ рукахъ вваливается дуракъ, вскакиваетъ на столъ, и въ то время, когда смерть уже переступила порогъ, начинаетъ разыгрывать веселые мотивы. Вездѣ у него проглядываетъ эпиграмма. Извѣстно ли читателю заглавіе пьесы на русскомъ языкѣ? Она именуется на немъ не „Ночлежка“, а гораздо гуще, сильнѣе — „На днѣ“.

#### IV.

Въ пьесѣ Горькаго два резонера — страпникъ Лука и въ послѣднемъ актѣ нѣкто Сатинъ. Они произносятъ вещи, совершенно не относящіяся къ дѣйствію, проповѣдуютъ. Говорю это потому, что думаю, что авторъ въ послѣднемъ дѣйствіи вовсе не имѣлъ намѣренія иронизировать. И вдругъ въ этомъ актѣ проскакиваетъ ученіе о „морали господъ“. Сатинъ заявляетъ: всѣ они живутъ для того, чтобы въ извѣстные промежутки времени могъ появляться одинъ „лучшій“, что они *humus*, на которомъ возрастетъ человѣкъ будущаго. Это ново и первый изъ резонеровъ не высказывалъ ничего подобнаго: ишь въ самомъ концѣ пьесы выплываетъ оно и звучитъ глу-



божии, искреннимъ убѣжденіемъ не только Сатина, но и самого Горькаго.

А между тѣмъ, раньше Лука проповѣдуетъ любовь, необходимость покорности, ясности духа и утверждаетъ, что „человѣка надо уважать“. Далѣе, что вѣра даетъ счастье, безотнositельно истинно ли то, во что вѣрить человѣкъ. Еще, что не слѣдуетъ употреблять насилія, вмѣшиваться въ чужія дѣла и давать свидѣтельскія показанія. Самъ онъ въ рѣшительную минуту исчезаетъ. Послѣ его ухода только на первый взглядъ кажется, что его ученіе принесло плоды; позднѣе, что оно ни на кого не повліяло и что послѣ временнаго подъема всѣ вновь впадаютъ въ прежнее состояніе. Вспоминается рыбная проповѣдь св. Августина. Фактически странникъ никого не спасъ— Васька - воръ еще до начала новой жизни попадаетъ за убійство въ острогъ; актеръ вмѣсто того, чтобы переродиться, вѣшается на фонарь... Въ концѣ концовъ спрашивается—вѣрить Горькій въ возможность возрожденія или нѣтъ?

Пока говоритъ Лука (вице-Горькій), повидимому, вѣрить; когда Лука не говоритъ, повидимому, не вѣрить. И тутъ - то вдругъ намъ возвѣщаютъ правила Ницшеанской морали *ringesang*—масса существуетъ ради одного сильнаго. Во время представленія я не сумѣлъ разобраться во всемъ этомъ. Кажется, послѣднее ученіе совершенно не согласуется съ первымъ, оно точно пристегнуто къ нему.

... По-моему, эту вещь можно назвать мѣсивомъ; она богата, въ высшей степени увлекательна, пестро расцвѣчена матовыми красками и отражаетъ жизнь, что кипитъ на низинахъ... „Кусочекъ жизни“. И этотъ-то „кусочекъ“ слишкомъ произвольно выхватывается изъ нея и преподносится намъ. Главное ея достоинство во внутренней художественности и въ настроеніи. Мы можемъ очень многого ожидать отъ Горькаго, но не будемъ переоцѣнивать эту пьесу съ ея слишкомъ общепитательнымъ характеромъ.

## Статья въ Vossische Zeitung.

Пьеса называется картинами на днѣ жизни. Дѣйствительно только картины, а не обработанная драма, пестрые діалоги долгое время развлекающіе наше вниманіе, пока, наконецъ, мы не начинаемъ съ удивленіемъ замѣчать, что всѣ наши ощущенія постепенно стягиваются къ одному пункту. Нѣтъ даже намека на какое бы то ни было построеніе, которое безошибочно намѣчало бы путь для нашего вниманія — намъ приходится брести мрачной улицей среди нищеты, отчаянія и даже преступленія, пока, наконецъ, слабое мерцаніе на далекомъ горизонтѣ внезапно не превращается въ яркое зарево, и передъ нашими глазами неожиданно не обрисовывается цѣль, обѣтованная земля, залитая потокомъ золотыхъ лучей... Въ этихъ сценахъ нѣтъ ничего цѣльнаго, ни вымысла, ни судьбы какого-нибудь отдѣльнаго человѣка, ни философіи, выглядывающей изъ всѣхъ прорѣхъ жизни этихъ героевъ, изъ всѣхъ щелей ихъ существованія; только авторъ чувствуетъ внутреннее единство, выволяетъ его изъ грязи босяцкой и мошеннической жизни, видитъ его въ тайныхъ движеніяхъ опустившихся и приниженныхъ сердецъ, и указываетъ намъ на него; и оно, это внутреннее единство, оказывается въ его рукахъ достаточно сильнымъ, чтобы властно собрать во едино всѣ разсыянные впечатлѣнія и сразу заставить воздѣйствовать на насъ всѣ элементы, и съ помощью единого луча свѣта преобразовать подвалъ въ міровую картину, а лохмотья и заплаты нищенскаго одѣянія въ королевскую мантию человѣчности.

На всѣхъ перекресткахъ раздаются увѣренія, что драма нищеты, драма бѣдныхъ людей, теперь болѣе не въ модѣ.

Горькій ничего не знаетъ о модѣ и ничего о ней знать не желаетъ и не сообразуется съ направленіями вкуса публики въ данную минуту, потому-то ему принадлежитъ весь міръ. Для него нѣтъ ничего отжившаго, пока онъ самъ этого не переросъ; и также мало, какъ направленія прошлаго столѣтія могли повліять на его изображенія босиковъ и бродягъ, также новѣйшія теченія литературнаго рынка не въ состояніи заставить его отказаться въ своемъ творчествѣ отъ своей народности и личности. Онъ натуралистъ на свой собственный ладъ, но натуралистъ, для котораго въ самыхъ подонкахъ человѣчества внутренняя натура беретъ верхъ у людей. Такимъ образомъ онъ снова заставляетъ насъ спуститься въ подвалъ, что, повидимому, уже устарѣло, и развертываетъ передъ нашими глазами—на первый взглядъ весьма запутанно—міръ падшихъ, отверженныхъ, отщепенцевъ, преступниковъ. Правда, этотъ міръ чуждъ намъ, далека во всемъ, что касается обычаевъ, культуры, нравовъ и образованія; но въ немъ съ такою силою прорываются элементарныя чувства, что они проглядываютъ даже сквозь всѣ условности жизни, и въ концѣ концовъ мы начинаемъ различать въ этой мусорной кучѣ отбросовъ человѣчества—цѣлую мировую картину.

Ночлежка притонодержателя Костылева оказывается явленіемъ типичнымъ для жизни нищихъ и въ то же время какъ бы ея символомъ. Когда поднимается занавѣсъ, ужасный подвалъ съ вспыхивающимъ огонькомъ фонаря производитъ впечатлѣніе преисподней, въ которой неясно мелькаютъ фигуры, напоминающія привидѣнія. Этотъ аккордъ даетъ тонъ всѣмъ послѣдующимъ сценамъ; даже при рѣзкомъ освѣщеніи шуткой и веселостью, отъ которыхъ дрожь пробѣгаетъ по тѣлу, сохраняется характеръ ада и мѣста проклятія. Люди, вступающіе туда, оставляютъ за собою всѣ надежды; только мучительная тоска, словно бредъ, по болѣе свѣтломъ мірѣ, временами прорѣзываетъ тьму ихъ жизни. Этотъ притонъ порочныхъ и погибшихъ людей своего рода „по ту сторону“; въ немъ прошедшая жизнь мелькаетъ воспоминаніемъ. Единственное драматическое положеніе, которое непосредственно дѣйствуетъ на нервы своей

односторонней грубостью — переступаетъ всякую мѣру художественности, и, повидимому, должно составлять внѣшній кульминаціонный пунктъ драмы — убійство Васькой хозяина ночлежки. Но пьесу спасаетъ въ художественномъ отношеніи то, что этотъ ужасный эффектъ съ доминирующей ролью тупыхъ животныхъ инстинктовъ составляетъ лишь эпизодъ для богатаго внутренняго дѣйствія. Существенное заключается не въ послѣдней вспышкѣ животныхъ инстинктовъ, въ которой грубо проявляются также и остатки способности дѣятельности, но въ постепенномъ дѣйствіи, которое производитъ на насъ внѣшне-однообразная и внутренне чрезвычайно богатая жизнь міра погибшихъ.

Странникъ Лука, нищій старикъ, потерпѣвшій крушеніе, какъ и всѣ остальные, появляется въ ночлежкѣ и открываетъ всѣмъ больнымъ и немощнымъ новый міръ. Никто не знаетъ ни откуда онъ, ни чѣмъ занимается, у него нѣтъ ни желаній, ни тщеславія, онъ не болѣе какъ человѣкъ, желающій пробудить человѣка въ озвѣревшихъ людяхъ. Какъ равный расхаживаетъ онъ между ними, такъ же какъ они сочиняетъ и вретъ, по его басни отличаются глубиной и простотой евангельскихъ притчъ; его ложъ — лишь оболочка для вѣчныхъ сновъ человѣчества и его безпритязательная доброта пробуждаетъ въ самыхъ закоренѣлыхъ человѣческое чувство. Люди, бывшіе игрищемъ судьбы, подчиняются ему, даже не подозрѣвая того; незамѣтно для нихъ самихъ подъ вліяніемъ кроткаго, цѣлительнаго свѣта, открываются ихъ внутреннія очи и они вновь видятъ себя словно въ ореолѣ кротости, словно въ первый день режденія. Будетъ ли хоть одинъ изъ нихъ спасенъ? Авторъ оставляетъ этотъ вопросъ открытымъ — передъ нами нѣтъ указанія на какое-нибудь фактическое возвышеніе. Но также какъ Лука, у постели умирающей укрѣпляетъ въ ней вѣру въ чудеса загробной жизни, и этимъ облечаетъ ей смерть, такъ въ души остальныхъ, гдѣ еще тлѣлъ огонекъ человѣчности, отъ разжигаетъ пламень освобожденія. Вся глубина его вліянія видна лишь послѣ его исчезновенія. Оставшіеся вспоминаютъ его, раздумываютъ надъ его рѣчами, объясняютъ его поступки... Они

начинають догадываться, что ложь нужна лишь господамъ и рабамъ, а истинна людямъ свободнымъ, что всѣ живутъ лишь для „лучшаго“ для совершенствованія человѣчества и во всемъ видимомъ разнообразіи человѣческаго существованія важно лишь одно, какъ въ самомъ богатомъ и могущественномъ, такъ и въ самомъ бѣдномъ и погибшемъ существѣ — это человѣкъ, создавшій все, вмѣщающій въ себѣ все, что для насъ знаменуетъ міръ, а потому теперь достаточно жалѣть его за муки и надо „уважать“ человѣка во всемъ сумбурѣ жизни и даже въ каждомъ ея проявленіи. Вмѣсто хвастовства и тщеславнаго бреда о блескѣ эти мысли съ ихъ примиряющей и освобождающей силой свѣта, заставляютъ несчастныхъ подняться со дна жизни и заглянуть въ обѣтованную землю, въ которую, можетъ-быть, никто изъ нихъ никогда не вступить. Вотъ, въ чемъ зерно этой трагедіи ночежки.

Какъ въ Мѣщанахъ, Горькій остается на почвѣ, на которой выросъ самъ и къ которой влечетъ его сердце, хотя духомъ уносится далеко за предѣлы своего круга. Онъ мастерски рисуетъ намъ жизнь народа, въ которомъ нѣтъ гражданъ, стремящихся въ высь, а есть лишь жалкій пролетаріатъ и могущественнѣйшая знать. Контрасты этихъ двухъ міровъ производятъ столкновеніе. Отсюда его односторонность и ужасная, непроглядная мрачность колорита, напоминающая Власть Тьмы Толстого. Онъ изображаетъ тупое растлѣніе совершенно невѣжественнаго народа, обладающаго склонностью къ философствованію и размышленіямъ, жаждущаго выбиться наверхъ съ помощью разныхъ путанныхъ и неясныхъ разсужденій. Какъ мысли, такъ и самая жизнь этихъ людей непослѣдовательна, они живутъ, ни въ чемъ не давая себя отчетъ, какъ бы носятся безъ руля и вѣтриль по волнамъ жизни. Одно это уже опредѣляетъ форму художественнаго произведенія. Какъ людямъ, изображеннымъ въ немъ, недостаетъ плана и рѣшительности, такъ и въ драмѣ отсутствуетъ законченность формы и постепенность развитія. Я никому не посоветовалъ бы подражать Горькому въ этомъ отношеніи—подобная эпизодичность и разбросанность могутъ отражать лишь жизнь, которую рисуетъ

намъ этотъ писатель; и только потому, что въ ней, сквозь всяческій сумбуръ, изнутри проступаетъ чувство и потребность просвѣтленія и освобожденія, только потому она и можетъ въ концѣ концовъ заинтересовать насъ и вліять на насъ своимъ скрытымъ единствомъ. Чисто человѣческій элементъ въ ней близокъ и намъ, касается также жизни и нашихъ нищихъ. но было бы весьма нежелательно форму отдѣльныхъ сценъ перенести на иную жизнь, которая отнюдь не требуетъ этого.

---

## Статья Карла Штекера из *Tägliche Rundschau*.

Въ настоящее время возможно говорить о міросозерцаніи Горькаго; до появленія „Ночлежки“ это было преждевременно. Удивительно какой длинный путь прошелъ писатель въ короткое время, протекшее между появленіемъ Мѣщанъ и его второй пьесой „На днѣ“, какъ она называется въ оригиналѣ. Въ первой уже были замѣтны признаки наступленія новой эпохи въ его писательской дѣятельности. Бывшій босякъ, выступивъ въ качествѣ драматурга, не только расширилъ кругъ своего творчества въ техническомъ отношеніи, но изъ его діалоговъ видно, что современные писатели, Гауптманъ и Метерлинкъ, не чужды ему; мало этого,—что онъ изучалъ Штирнера и Ницше. И отъ внимательнаго слушателя не могло ускользнуть, что персонажи Горькаго впервые получили оттѣнокъ чего-то ненастоящаго—только что пріобрѣтенныя авторомъ знанія наложили на нихъ свой отпечатокъ. Его мѣщане, ихъ жены, рабочіе, подростки, намъ казалось, говорили слишкомъ ученымъ языкомъ, даже принимая во вниманіе, склонность русскихъ вообще примѣшивать къ вопросамъ повседневной жизни разныя философскія разсужденія. Иное въ „Ночлежкѣ“. И здѣсь возбуждаются вопросы и развиваются взгляды на социальныя условія жизни, на міръ, Бога, человѣчество, но при этомъ ни разу намъ не приходитъ въ голову, что все это вычитанная, книжная мудрость самого автора, совершенно ненужнымъ образомъ припиленная имъ къ своимъ героямъ. Теперь мы съ радостью увѣрились, что даровитѣйшій изъ молодыхъ русскихъ писателей счастливо избѣжалъ участи большинства пишущихъ самоучекъ, уклоняющихся подъ вліяніемъ большею частью случайно прочитаннаго съ прямого пути и вступающаго на боковыя тропинки мышленія,

которыя въ сущности не вяжутся ни съ ихъ развитіемъ ни съ свойствами ихъ таланта...

Но Горькій въ настоящее время побѣдилъ духовъ, съ которыми боролся, онъ многому научился у нихъ, но не сдѣлался ихъ рабомъ. И это тѣмъ болѣе слѣдуетъ поставить ему въ заслугу, что такимъ образомъ онъ избѣгъ опасности, которой почти всѣ русскіе писатели избѣжать не сумѣли, а именно опасности сдѣлаться пророкомъ вмѣсто того, чтобы сдѣлаться объективнымъ художникомъ. Начиная съ Пушкина, Лермонтова и Гоголя и кончая Тургеневымъ, Толстымъ, Щедринымъ и Некрасовымъ, мы видимъ въ русскихъ писателяхъ преимущественно проповѣдниковъ извѣстныхъ социальныхъ, моральныхъ и политическихъ взглядовъ, и даже самые молодые беллетристы, Вересаевъ и Бунинъ, стараются въ богатыхъ проявленіяхъ русской жизни настоящаго времени, въ борьбѣ земледѣльческаго строя съ фабричнымъ, стать на ту или иную сторону, указать направленіе, возвѣстить какую-нибудь догму. Но все-таки Горькій проповѣдникъ и пророкъ. Но спрашивается какой? Когда-то онъ самъ, можетъ быть и безсознательно, рассказъ намъ же въ своей значительной фантазіи о благородномъ красавцѣ Данко, ведущимъ свой изгнанный, спасающійся бѣгствомъ, народъ черезъ непроходимый дѣвственный лѣсъ. Когда лѣсъ все не кончался, а разные ужасы по пути все усиливались и усиливались, народъ, впавшій въ отчаяніе, потребовалъ смерти своего предводителя. „Что мнѣ сдѣлать для людей?“ воскликнулъ Данко и голосъ его заглушилъ окружающій гулъ. И вдругъ онъ разорвалъ руками грудь, вынулъ изъ него сердце и поднялъ его высоко надъ головой. И сердце засіяло такъ же ярко какъ солнце, если не ярче еще, и лѣсъ, освѣщенный свѣтомъ любви, *любви къ людямъ*, затихъ. Такимъ же является самъ Горькій среди своего народа. Онъ не проповѣдуетъ догмы, не примыкаетъ ни къ какой партіи, не спорить и не враждуетъ—а только высоко держитъ въ рукахъ свое сердце, и оно сіяетъ свѣтомъ любви къ людямъ такъ же ярко какъ солнце, и наполненный грознымъ гуломъ лѣсъ мрачно и молча отступаетъ отъ него, и буря остается позади... Онъ не стремится, какъ это дѣлалъ



даже великій Достоевскій, вызвать и запечатлѣть своими произведеніями въ читателяхъ извѣстное настроеніе или взглядъ,— онъ просто изображаетъ жизнь какова она есть, неподражаемо вѣрно и также объективно какъ объективенъ дневной свѣтъ; его милосердіе и его великая любовь къ людямъ одинаково окутываютъ всѣхъ своими золотыми лучами. Оставивъ далеко позади себя безнадежный пессимизмъ Чехова, Горькій сильнымъ голосомъ громко возвѣщаетъ устами своего „Мужика“ что хотя жизнь тамъ внизу, на днѣ, очень неприглядна, полпа ужаса, отчаянія и мрака, но все же и тамъ еще много хорошаго и красиваго! И надо спуститься туда, чтобы помочь тѣмъ обездоленнымъ подняться наверхъ. Эти слова какъ бы *profession de foi* Горькаго—человѣка и писателя. Уже очень рано въ немъ проявилась вѣра въ добро, соединенная съ жаждой свѣта. Они же и служили блестящей путеводной нитью, выведшей его изъ темнаго лабиринта нищеты въ „энергичный“ дневной свѣтъ творчества и они же красной нитью проходятъ во всѣхъ его позднѣйшихъ твореніяхъ. Если Горькій теперь ушелъ такъ далеко, что воспринялъ въ себя идеи лучшихъ людей своего времени, то въ послѣднемъ своемъ произведеніи онъ до такой степени ассимирировалъ, и претворилъ ихъ въ себя, что они придаютъ его первоначальному міросозерцанію лишь болѣе яркую игру красокъ, но не перекрещиваютъ и не путаютъ его. Поэтому-то и можно теперь толковать о міровоззрѣніи Горькаго, что при появленіи мѣщанъ было бы еще преждевременнымъ. Правда, и въ „Ночлежкѣ“ встрѣчаются мысли заимствованныя у другихъ, какъ напр., мнѣнія стараго Луки, что люди существуютъ ради „лучшаго“, но эти взгляды не кажутся намъ пришлыми, они уже облечены въ русское одѣяніе и также тѣсно слились съ авторомъ, точно онъ родился съ ними. Устами стараго, сѣдовласаго, бездомнаго странника Луки, обладающаго горячимъ сердцемъ и яснымъ разсудкомъ, Горькій излагаетъ свое глубокое, просвѣтленное міросозерцаніе. Лица, подобныя Лукѣ, часто встрѣчаются у русскихъ писателей, между прочимъ во „Власти тьмы“ Толстого. Потрясающая картина, когда Акимъ, склонивъ сѣдую голову, освѣщенную утренней зарей,

утѣшаетъ кающагося грѣшника, невольно вызываетъ на это сравненіе. Даже самъ Горькій, въ своихъ болѣе раннихъ произведеніяхъ, уже выводилъ подобныхъ мудрецовъ; онъ любитъ аккомпанировать свои основныя мелодіи звуками баса и рисовать своихъ лицъ на фонѣ великаго мировоззрѣнія. Подобныя приемы мы встрѣчаемъ у большинства художниковъ слова, а въ драмѣ ихъ можно встрѣтить въ отдаленнѣйшія времена ея возникновенія. Полнѣе всего они выразились въ классической греческой трагедіи.

Вѣра въ человѣка и уваженіе къ нему, вотъ въ чемъ заключается мировоззрѣніе Горькаго, возвышенное устами его, т.-е. дѣдушки Луки. Онъ находитъ искру челоуѣчности даже въ преступникахъ. Нужно всякаго человѣка уважать—вотъ этическое ученіе Луки, а съ этимъ вмѣстѣ и Горькаго. Въ каждомъ, даже въ наиболѣе преступномъ, тлѣетъ искра Божія. Не надо обижать человѣка! Вѣдь намъ неизвѣстно кто онъ, для чего родился и что ему предстоитъ выполнить. Можетъ-быть онъ рожденъ для нашего счастья, намъ на пользу. Подобно хирургу, проходящему по переполненному полевому лазарету, шествуетъ Лука, поминутно останавливаясь, вездѣ утѣя доставить облегченіе, перевязывая раны. Вѣра въ человѣка—вотъ его врачующій принципъ, всякая вѣра, безразлично во что—дѣлительное средство, иллюзіи—лѣкарства. Словечко „ложь жизни“ какъ-то пустилъ въ ходъ Ибсенъ. Его докторъ Риллингъ въ „Дикой уткѣ“ заявляетъ, что всѣ люди такъ или иначе больны, и обыкновенно онъ, въ видѣ лѣкарства, старается пробудить въ нихъ вѣру въ ложь жизни. Для нихъ она является стимуломъ. Ибсенъ не высказываетъ этотъ принципъ отъ себя—доктора Риллинга онъ изображаетъ въ видѣ чудака, окружаетъ его тонкой дымкой ироніи и снабжаетъ знакомъ вопроса. Иначе Горькій. Онъ признаетъ величайшимъ зломъ для людей, находящихся „на днѣ“, презрѣніе къ себѣ и отчаяніе. И противъ нихъ надо бороться, утѣшать, приподнимать людей, пробуждать въ нихъ вѣру въ самихъ себя и въ добро. Дѣйствительность этого дать не можетъ, стоитъ только взглянуть въ эту окружающую ихъ *дѣйствительность*. Одинъ изъ нашихъ ве-

личайшихъ поэтовъ когда-то воскликнулъ: „Не забудь, о душа человѣка, что у тебя есть крылья“. И Горькій умѣетъ отыскивать у людей крылья—его Лука необыкновенно изобрѣтателенъ въ этомъ отношеніи; а только крылья и могутъ поднять человѣка надъ жалкою *дѣйствительностью*. Этому новому мірскому спасителю (а съ нимъ вмѣстѣ и Горькому) часто ставили въ упрекъ, что при всей своей мудрости онъ въ сущности ничего не сдѣлалъ и ему не удалось вытащить изъ тины ни единого изъ всѣхъ обитателей ночлежки. Къ счастью, Горькій не такъ нетактиченъ, чтобы взять на себя роль соціальнаго чудотворца съ рецептомъ, безошибочно, въ продолженіе 24 часовъ, исцѣляющимъ всякія общественныя язвы. Застарѣлое зло человѣческихъ страданій коренится слишкомъ глубоко, а писатель Горькій слишкомъ глубоко заглядывается въ него... Не жалуетъ онъ также и пріемовъ опія, т.-е. громкія словечки въ родѣ „свобода, равенство“ и т. д., чтобы одурманивать умы... для этого онъ слишкомъ честенъ и слишкомъ мудръ...

Не подлежитъ сомнѣнію, что Горькій болѣе глубоко ставитъ соціальный вопросъ, нежели наши соціальныя и литературныя Stürmer'ы и Dränger'ы послѣдняго десятилѣтія: глубже Зола въ Жерминаль и Гауптмана въ Ткачахъ и даже глубже многихъ вождей партіи социалъдемократовъ. Вполнѣ извинительно, если нѣмецкій писатель и политическій дѣятель, въ общемъ всетаки живущій недурно за своимъ письменнымъ столомъ, воображаетъ, что центръ тяжести всѣхъ страданій обитателей дна лежитъ въ желудочномъ вопросѣ и что онъ-то и есть соціальный вопросъ. Горькій же, который въ своей жизни былъ попеременно дровосѣкомъ, мальчишкой на побѣгушкахъ, носильщикомъ, поденщикомъ и рабочимъ, который вдоль и поперекъ исходилъ свое обширное отечество, знакомъ съ болѣе сильной потребностью обездоленныхъ, нежели потребностью хлѣба. Онъ, можетъ-быть, съ улыбкой читалъ ужасающую сцену въ Ткачахъ, когда люди пожираютъ собачье мясо. Ему знакомы муки и ужасъ голода и за время своихъ странствованій онъ фактически иногда питался воронами; но ему известно также, что ужаснѣе нежели ѣда собачьяго мяса, обращеніе

съ человѣкомъ какъ съ собакой, или когда душа его медленно перерождается въ собачью душу... Уважай человѣка въ человѣкѣ—вотъ его главная заповѣдь. Не теряй вѣру въ себя и никогда не обижай человѣка въ ближнемъ. Вѣра, душа, духъ—вотъ что въ сущности составляетъ жизнь! въ этомъ и заключаются важнѣйшіе и высшіе вопросы человѣчества. Любовь къ ближнему, которую заповѣдалъ Иисусъ—пріобрѣсти трудно, но научиться уважать ближняго, цѣнить въ немъ человѣка, этому всѣ мы могли бы и должны бы были научиться. Богъ—есть духъ—въ этомъ отношеніи Горькій сходится съ великимъ Назаретяниномъ. Когда въ вечерній часъ, у колодца, женщина зачерпнула воду и подала жаждущему Иисусу пить, онъ задумчиво посмотрѣлъ вдаль, заговорилъ о вѣчной жадѣ души человѣческой и о водѣ, утоляющей ея жажду.. По мнѣнію Горькаго живительная сила жизни заключается въ духѣ, въ душѣ... Этотъ-то этический оттѣнокъ, эта вѣра въ добро въ людяхъ, соединенная съ мыслью о вѣчности, и придаетъ такую высокую цѣнность міровоззрѣнію Горькаго. И онъ великой мечтой уноситъ насъ въ будущее, гдѣ люди будутъ имѣть высокую, благородную душу. Норвежскій писатель приходитъ къ тому же, къ вѣрѣ въ существованіе въ будущемъ жизнерадостнаго и благороднаго человѣка, но приходитъ путемъ абстрактнаго мышленія, тогда какъ Горькій изъ грязи и тины дѣйствительной жизни возвысился до нея. Какимъ образомъ? И развѣ насъ это не заставляетъ увѣровать въ дѣйствительное существованіе высокой вершины, т. е. на нее спускается орелъ, разсѣкая чистый эфиръ абстрактнаго мышленія, и зашыхавшись взбирается смѣлый и сильный путникъ. Увѣруемъ же въ нее... „Во что вѣришь—то и есть“, говоритъ странникъ Лука, утѣшающій себя тѣмъ, что „всѣ мы странники на землѣ, да и земля-то наша, слыхалъ я, тоже странница на небѣ“.

---

### ОТДѢЛЪ III.

---

## Французская критика.

Максимъ Горькій \*).

Статья Мельхиора Вогюэ.

Я хотѣлъ бы теперь вновь вступить въ темный, русскій безконечный лѣсъ. Я слышу его говоръ издалека, на самомъ крайнемъ пунктѣ того долгаго пути, который мнѣ пришлось совершить съ тѣхъ поръ, какъ я покинулъ его. Пропе́дшіе съ того времени годы точно туманомъ заглушаютъ этотъ говоръ. Что говорятъ эти года, что думаютъ они въ глубинѣ нѣмого мрака? Положили ли они новыя слова на старыя печальныя напѣвы, повторяющіеся милліонами голосовъ каждую ночь, на рѣкахъ и въ степяхъ, голосомъ надрывающимъ душу, въ которомъ звучитъ страсть, не знающая радости? Дыханіе заснуваго гиганта—единственный признакъ, обнаруживающій біеніе этого молчаливаго сердца.

Западъ думаетъ, что онъ знаетъ Россію съ тѣхъ поръ, какъ мы чаще и легче проникаемъ за опушку ея лѣсовъ. До насъ теперь чаще, чѣмъ раньше доносятся какіе-то отзвуки голосовъ все большей горсти людей, которые говорятъ и движутся надъ молчаливой, неподвижной громадой; статьи газетъ, официальные указы, факты политики, рѣчи чиновниковъ

---

\*) *Статьи* Une nouvelle oeuvre de Gorky, Sémenoff въ *Européen* и ст. *Missau* въ *Vie en famille*, 2 ст. въ *Revue blanche*, 2 въ *Revue des Revues* и „Зола и Горькій“ мы не помѣщаемъ, такъ какъ они не заключаютъ въ себѣ ничего новаго.

свыше и заговорщиковъ снизу, тѣхъ, о которыхъ говорилъ Іовъ, что они „проклинаютъ день и готовятся подняться на Левиафана... Думаешь ли ты, — говорилъ мудрецъ, — что ты можешь изловить Левиафана крючкомъ?.. Бегемотъ спитъ въ тѣни въ кущѣ тростника и въ сырыхъ логовищахъ... Онъ поглотить рѣку и не будетъ удивленъ“. Тѣ русскіе, слухъ о которыхъ доходитъ до насъ, всѣ вмѣстѣ взятые, составляютъ незначительную горсть, почти ничто. Мы хотѣли бы познать Левиафана, а о немъ мы знаемъ не больше того, что мы знали о немъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ.

Въ началѣ одного изъ своихъ разсказовъ авторъ, котораго я хочу разобрать, разсказываетъ, какъ онъ узналъ изъ газеты о смерти своего друга, крестьянина Коновалова, окончившаго жизнь въ тюрьмѣ самоубійствомъ, и дѣлаетъ слѣдующее многозначущее замѣчаніе: „Я прочиталъ эту краткую замѣтку петитомъ, — сообщенія о гибели маленькихъ людей принято печатать мелкимъ шрифтомъ“ („Коноваловъ“, томъ II, стр. 1).

Вся исторія необъятнаго русскаго народа пишется изо дня въ день, если вообще ее пишутъ, въ тѣхъ строкахъ, которыя газеты печатаютъ петитомъ: обозрѣватели европейской прессы проходятъ мимо этого текста.

Немногіе лишь писатели могутъ дать намъ нѣкоторыя указанія: тѣ, которые сумѣли затронуть безсознательныя стремленія большинства своихъ соотечественниковъ. Но вотъ ужъ двадцать лѣтъ, какъ на лонѣ русской литературы не появлялось такого писателя, — Толстой, конечно, въ счетъ не идетъ. Русскіе не обидятся на меня за указаніе на то, что является постояннымъ мотивомъ всѣхъ статей ихъ литературныхъ критиковъ, всѣхъ жалобъ на эпоху, которую они прозвали „сѣрымъ безвременьемъ“. Красивые мимолетныя цвѣты, замаскировываютъ безплодіе когда-то богатой нивы; на этой нивѣ, нѣдра которой взростили всѣ великія имена, стоитъ еще и теперь старый дубъ, осыпая ее своей великолѣпной листвою.

Недавно разнеслись скорбныя слухи: цивилизованный міръ съ горечью готовился къ потерѣ того, которымъ онъ гордится,

хотя и произносилъ ему слова осужденія. Теперь воскресла надежда, что неизбежный конецъ отсроченъ. Левъ Толстой продолжаетъ свой творческій трудъ. Годы не ослабили ясности его взора, который даже въ простомъ жестѣ прозрѣваетъ душу человѣка; это чувствуется на многихъ страницахъ „Воскресенія“. Но для чего пророкъ-реформаторъ такъ часто показываетъ художника? Толстой, все болѣе и болѣе схожій съ нашимъ Руссо, тщетно ищетъ религіозную формулу новаго откровенія, которое онъ надѣется преподавать человѣчеству. Его вліяніе велико, какъ говорятъ, и я охотно этому вѣрю. Но потому именно, что онъ говоритъ намъ съ слишкомъ высокихъ сферъ, онъ не можетъ быть свидѣтелемъ, показанія котораго могутъ открыть намъ стремленія общественныхъ группъ; и такъ какъ онъ былъ вѣрнымъ зеркаломъ предшествовавшихъ поколѣній, позволительно сомнѣваться въ вѣрности его изображенія новыхъ. Вспомните Виктора Гюго: его окружали почетомъ, въ старости ему сохранили на вершинѣ почетное мѣсто и онъ оставался предъ лицомъ всего свѣта представителемъ литературной Франціи, но уже не былъ выразителемъ тѣхъ умственныхъ теченій, которыя стремились къ другимъ путямъ, къ другимъ идеаламъ. Неизгладимое время не шадитъ никакого старшинства и властители мысли, постоянно измѣнчивой, болѣе чѣмъ другіе оправдываютъ слова поэта: ихъ вліяніе наступаетъ поздно и длится короткій срокъ. Поклоненіе оставляетъ за ними почетъ главенства, но мощь изображенія новыхъ временъ отъ нихъ ускользаетъ.

Среди тѣхъ, которые стремились занять мѣсто, оставленное великими предшественниками, просіяли недолгимъ свѣтомъ молодые таланты Потапенко и Короленко: судя по этимъ именамъ, казалось, что Малороссія хочетъ навязать своей старшей сестрѣ новую литературную династію.

Въ настоящее время Чеховъ лучше чѣмъ кто-либо другой, удовлетворяетъ потребность общества, жаждущаго жгучей тоски и мрачныхъ изображеній жизни. Особенный успѣхъ имѣютъ его драмы на сценѣ: я не видалъ ихъ, поэтому и не вправѣ о нихъ говорить.

Но вотъ внезапно у него является соперникъ, желающій отвоевать его славу. Скоро выросшая, точно листва въ быстротечную русскую весну, слава Максима Горькаго теперь прочно установилась, хотя не прошло еще и трехъ лѣтъ со времени появленія въ свѣтъ перваго тома его сочиненій. Онъ уже имѣетъ горячихъ поклонниковъ въ Россіи и его произведенія переводятся на иностранные языки всего свѣта. Критики, подобно Меньшикову, враждебно относящіеся къ общему увлеченію, утверждаютъ, что успѣхъ Максима Горькаго объясняется исключительностью его личности. Горькій — настоящій самоучка, человѣкъ, не получившій ничего отъ школы, а самъ въ свободное отъ физическаго труда время съ трудомъ, добившійся собственнаго развитія. Онъ внезапно вынырнулъ изъ тѣхъ самыхъ низинъ общественныхъ слоевъ, которыя онъ описываетъ. Подобные таланты, свободные отъ классическаго воспитанія, часто таятъ въ себѣ какую-то особенную мощь и завоевываютъ себѣ мѣсто съ непосредственной силой народа, изъ нѣдръ котораго они вышли. Вейло и Прудонъ даютъ намъ блестящіе примѣры такой мощи. Но подобное явленіе чаще встрѣчается въ Россіи, чѣмъ у насъ; въ судьбѣ Максима Горькаго оно выразилось какъ-то особенно рѣзко и, понятно, не могло не заинтересовать общество.

Я прочелъ четыре тома, въ которыхъ собрано все, что написано до сихъ поръ этимъ скороспѣлымъ и плодовитымъ работникомъ: небольшіе очерки, рассказы, все, что появилось въ теченіе нѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ въ русскихъ періодическихъ изданіяхъ. Выпускаемъ біографическія свѣдѣнія.

Въ чемъ же выражается сила этого писателя, котораго такъ превозносятъ его поклонники? Въ какомъ соотношеніи стоитъ онъ къ своимъ великимъ предшественникамъ и чѣмъ отличается отъ нихъ? Что новаго принесть онъ, и что говорить о своемъ народѣ, выразителемъ чувствъ и стремленій котораго его считаютъ? Вотъ вопросы, которые насъ особеннаго интересуютъ и въ которыхъ я постараюсь разобраться.



I.

Его настоящее имя Алексѣй Максимовичъ Пѣшковъ. Имъ мертворожденное, которое навѣки останется погребеннымъ въ приходскихъ церковныхъ книгахъ. Россія знаетъ своего любимца только подъ именемъ, которое онъ самъ себѣ далъ: Максимъ Горькій. Воистину „горька“, была его молодость. Родился онъ въ 1869 году въ Нижнемъ-Новгородѣ, въ лавкѣ красильщика. Его происхождение, быть можетъ, дастъ когда-либо указанія смѣлымъ психологамъ, которые отыскиваютъ въ каждой личности темные слѣды атавизма.

Отецъ и мать Горькаго умерли, оставивъ сына еще малышемъ. Покинутый родственниками сирота долженъ былъ оставить школу, въ которой пробылъ всего лишь пять мѣсяцевъ, поступить въ ученики къ сапожнику гдѣ онъ оставался не долго. Инстинктъ бродяжничества и злое дыханіе нищеты уносить его на берега Волги.

Съ этого дня, можно сказать, воображеніе Максима Горькаго заполняется родными ему водами, изъ нихъ онъ черпаетъ все богатство своихъ мечтаній, здѣсь онъ нашелъ имъ самимъ избранную родину, съ которою его душа уже никогда больше не разстается. Обрелъ онъ ее на берегахъ, среди которыхъ течетъ громадная, необъятная рѣка, вырвавшаяся изъ необъятныхъ же лѣсовъ, рѣка истинно русская, величественная и дикая, свободная и печальная, дающая пріютъ всѣмъ бездомнымъ, враждебно относящаяся къ владычеству человека, стремящегося ее поработить, являющаяся убѣжищемъ для изгнанниковъ, царствомъ великихъ бунтовщиковъ, Стенекъ Разиныхъ и Пугачевыхъ; дорогой, по которой бѣгутъ отъ ига законовъ, по волнамъ которой тысячи бѣглецовъ и безпокойныхъ сердець уходятъ на свободу, въ бродячую Азію.

Мѣсто дѣйствія большинства рассказовъ, прочитанныхъ мною, — Волга; они окутаны ея туманами, наполнены ея шепотомъ; дѣйствующія лица живутъ или на ея берегахъ, или плаваютъ по ней на пароходахъ, баржахъ, плотахъ. Ни въ одномъ изъ рассказовъ нѣтъ точнаго указанія мѣста дѣйствія: къ чему

оно? Горькій описываетъ бродягъ, не имѣющихъ ни очага, ни постоянного мѣстопробыванія. Онъ рисуетъ ихъ на ходу, въ мѣстности, которую считаетъ лишнимъ называть; эскизы пейзажа, обычай, мѣстный говоръ вполне достаточны, чтобы описать сцену между Астраханью и Нижнимъ. Авторъ покидаетъ рѣку лишь для того, чтобы направиться къ другой своей любимицѣ—мору, которое готовъ описывать постоянно; у него оно дѣйствуетъ чарующимъ образомъ, играетъ роль совѣтника смѣлости и независимости для всѣхъ гонимыхъ и обездоленныхъ живущихъ на возморѣ, жизнь которыхъ онъ описываетъ. Волга и море, вотъ два наставника, научившихъ его съ раннихъ лѣтъ страстно любить природу; они вызвали въ немъ источникъ поэзіи, въ которомъ онъ черпаетъ новыя силы, послѣ того какъ жестокій реализмъ заставилъ его уйти въ самую глубь отбросовъ человѣчества.

Романтикъ и лирикъ подъ вліяніемъ чтенія, будущій писатель научился реализму у жизни. Она взяла на себя задачу рядомъ жестокихъ уроковъ показать ему, что дѣйствительность не сестра мечты. Индивидуальность Горькаго закалилась въ этихъ рѣзкихъ, болѣзненныхъ контрастахъ—мечтаній, навѣянныхъ первыми прочитанными книгами и суровыхъ условій дѣйствительности. Судьба забросила его съ раннихъ лѣтъ въ ряды отбросовъ общества, босяковъ, тѣхъ враговъ общественнаго порядка, пѣвцомъ которыхъ и знаменосцемъ онъ долженъ былъ стать впоследствии. Еще мальчикомъ онъ столкнулся съ ихъ средой, и потомъ не зналъ другихъ руководителей, другихъ образцовъ, кромѣ товарищей—бездомныхъ бродягъ; съ ними вмѣстѣ онъ проходитъ всю школу голытьбы, учится ремеслу крючника, которому рѣдко выпадаетъ на долю кровъ и одежда, изрѣдка, не всегда, кусокъ чернаго хлѣба и стаканъ воды. Его судьба, казалось, была рѣшена безповоротно: онъ долженъ былъ стать однимъ изъ тѣхъ волжскихъ бродягъ, не знающихъ, что значить совѣсть, готовыхъ на все за нѣсколько копеекъ, трюмилъ кабаковъ и обитателей тюремъ.

Но въ то время, какъ тѣло его находится въ вѣчныхъ поискахъ за ежедневнымъ пропитаніемъ со всѣми условіями и

хитростями дикаго животного, душа, пробужденная книгой, жаждет знаній.

Воспоминанія о жизни его въ эту эпоху воспроизведены имъ въ одномъ изъ лучшихъ его, разсказовъ „Коноваловъ“. Автобіографическій характеръ разсказа чувствуется въ искренности тона въ которомъ нельзя ошибиться. Коноваловъ, философъ и пьяница, безпокойный, всегда неудержимо стремящійся уйти отъ разныхъ условій настоящей минуты къ новымъ горизонтамъ, неспособный надѣть на себя ярмо и оставаться долго на одномъ мѣстѣ, хотя бы ему было и хорошо на этомъ мѣстѣ. — „А зачѣмъ я родился съ такой шеей, на которую ни одинъ хомутъ не подходитъ?“ — восклицаетъ онъ грустно. („Коноваловъ“, т. II, стр. 65) \*). Въ часы отдыха, когда баранки поставлены въ печь, а иногда и поздней ночью, подмастерье читаетъ своему товарищу книжки. Онъ замѣчаетъ проблески любознательности въ этой дѣвственной натурѣ. Чувствуешь, что онъ описываетъ свои собственные порывы пробужденія въ то время, когда подъ вліяніемъ повара Смурова открывались передъ нимъ волшебныя картины несущагося міра. Когда разсказчикъ доходилъ до страницъ, производившихъ особенно сильное впечатлѣніе на Коновалова, въ особенности до исторіи Стеньки Разина, въ которомъ онъ и ему подобные, видятъ какъ бы своего эпическаго предка, то, неграмотный, требовалъ, чтобы чтецъ перечитывалъ эти мѣста чуть ли не по двадцати разъ и горящими глазами глядя на книгу, просилъ показать ему то мѣсто, гдѣ это напечатано, и спрашивалъ, — черта, взятая изъ жизни, — „А буквы тѣ же самыя, какъ и всѣ другія?“ (стр. 28). Такъ, въ глубинѣ подвала, въ которой погребена булочная, въ ночной тиши, при первыхъ проблескахъ начинающейся зари, зарождалась мыслящая, народная Русь.

„Я лежалъ на мышкахъ съ мукой и сверху внизъ смотрѣлъ на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогожѣ, брошенной около ларя. Пахло горячимъ

---

\*) Эту фразу говорить не Коноваловъ и не „съ грустью“, а „равнодушно спросилъ его хохолъ“. Замѣч. переводч.

хлѣбомъ, кислымъ тѣстомъ, углекислотой... Свѣтало, и въ стекла оконъ, покрытыя плѣнкой мучной пыли, смотрѣло сѣрое небо. Грохотала телѣга, и пастухъ игралъ, собирая стадо“ (стр. 24).

Въ дни праздничнаго отдыха оба товарища отправлялись съ книгой за городъ, въ поля, на берегъ рѣки. Но тамъ, растянувшись на травѣ, они скоро переставали читать. — „Максимъ! давай въ небо смотрѣть!“ (стр. 33). — „Максимъ! Айда на Кубань?!“ — говорилъ Коноваловъ (стр. 38). Среди природы, они предавались смутнымъ мечтаніямъ. Эти прогулки часто заводили ихъ въ большой брошенный домъ зловѣщаго вида, среди пустыря, наполовину разрушенный, залитый водой. Домъ этотъ служилъ убѣжищемъ очень смѣшанному обществу бродягъ, нищихъ, босняковъ, у которыхъ не было много убѣжища въ городѣ и которые состояли въ очень деликатныхъ отношеніяхъ съ полиціей. Баранщики угощали общество водкой, а бродяги въ благодарность рассказывали имъ свои походы, болѣе фантастичныя и болѣе печальныя, чѣмъ тѣ, которыя описывались въ книгахъ. Горькій набирался тамъ новыхъ впечатлѣній, которыми воспользовался впослѣдствіи въ одномъ изъ своихъ наиболѣе извѣстныхъ рассказовъ „Бывшіе люди“. Въ одинъ прекрасный вечеръ рассказчики были прерваны появленіемъ полицейскаго обхода и въ компаніи со своими слушателями отправились ночевать въ участокъ.

Юноша имѣлъ также знакомство и въ болѣе высокихъ слояхъ, болѣе опасныхъ, быть можетъ, для его спокойствія. Онъ познакомился съ кружками студентовъ, и услышалъ тамъ первые отголоски тѣхъ идей, которые бродятъ въ этихъ несчастныхъ, легковоспламеняющихся кружкахъ. Тургеневъ и Достоевскій описали ихъ, описали сумасшедшую болѣзнь этого юношества, ушедшаго въ абстракцію, лишеннаго всякой радости, лихорадочно бьющагося въ физическихъ лишеніяхъ и страданій духовныхъ, кипящаго и шумящаго какъ самоваръ, вокругъ котораго оно собирается, чтобы заглушить голодъ чаемъ и чтобы возсоздать міръ воздушныхъ замковъ въ облакахъ пара и дыма. Въ ихъ умахъ, свободныхъ отъ всѣхъ тяготъ tradi-

цій, всякое брошенное съ налету сѣмя науки производить дѣйствіе взрывчатого вещества. Горькій заразился ихъ болѣзнію: въ притонахъ босяковъ его опьяняли водкой; здѣсь его опьяняли абстракціей. Мы безъ труда можемъ себѣ представить всю муку и смуту его живого ума, когда онъ спускался съ высотъ философскихъ обобщеній въ подвалъ булочной.

Онъ изобразилъ эти чувства въ послѣдствіи, въ рассказѣ, гдѣ горечь смѣха плохо маскируетъ горечь воспоминанія. Въ рассказѣ „Однажды осенью“ онъ описываетъ какъ въ одинъ изъ такихъ дней печали онъ голодный бродилъ на пристани, въ поискахъ за кускомъ хлѣба. Вдали виднѣется заброшенная палатка какого-то старьевщика... Не найдется ли тамъ чего-нибудь съѣстного? И вотъ въ темнотѣ наступающаго вечера вдругъ передъ нимъ появляется женщина, такая же голодная, какъ онъ, проститутка. Она предлагаетъ взломать палатку. Онъ отрываетъ запоръ, она проникаетъ внутрь и приноситъ сухую корку хлѣба и оба бѣдняка начинаютъ ее жадно ѣсть, пріютившись подъ опрокинутой лодкой, которая даетъ имъ убѣжище отъ ледяного дождя. Юноша дрожитъ отъ лихорадки и женщина прижимается къ нему, чтобы его согрѣть. Не думайте, что конецъ рассказа будетъ скабрезенъ. Болѣе цѣломудреннаго описанія этой ночи нельзя себѣ представить; два существа, которыхъ сблизила нищета, страдаютъ, прижавшись одинъ къ другому подобно волку и волчицѣ, попавшихся въ засаду.

„Сколько было ироніи надо мной въ этомъ фактѣ! Подумайте! Въдѣ я въ то время былъ серьезно озабоченъ судьбами человѣчества, мечталъ о реорганизациіи соціальнаго строя, о политическихъ переворотахъ, читалъ разныя дьявольски-мудрыя книги, глубина мысли которыхъ, навѣрное, недосягаема была даже для авторовъ ихъ, — я въ то время всячески старался приготовить изъ себя „друпную общественно - активную силу“. Мнѣ казалось даже, что отчасти я уже выполнилъ мою задачу; во всякомъ случаѣ, въ то время я въ представленіяхъ о себѣ самомъ уже доходилъ до признанія за собой исключительнаго права на существованіе, какъ за величиной для жизни

необходимой и вполне способной сыграть въ ней крупную историческую роль! И меня-то согрѣвала своимъ тѣломъ продажная женщина, несчастное, избитое, загнанное существо, которому нѣтъ мѣста въ жизни и нѣтъ цѣны, и которому я не догадался помочь раньше, чѣмъ она мнѣ помогла сама, а если бы и догадался, то едва ли бы сумѣлъ дѣйствительно помочь ей чѣмъ-либо („Однажды осенью“, т. I, стр. 141).

Горькій написалъ свои первые очерки въ 1892 году и помѣстилъ ихъ въ нѣкоторыхъ провинціальныхъ газетахъ. Слѣдующій годъ—Короленко встрѣтилъ его въ Нижнемъ и сильно заинтересовался начинающимъ писателемъ.—„Напишите,—говорилъ Горькій въслѣдствіи своимъ біографамъ на ихъ вопросы,—скажите, что первымъ учителемъ Горькаго былъ поваръ, унтеръ-офицеръ Смурый, вторымъ учителемъ—присяжный повѣренный Ланинъ, третьимъ—Александръ Калужный, четвертымъ—Короленко“.

Благодаря этому покровителю, петербургскіе журналы открыли свои страницы молодому незнакомцу. Незнакомцу—шесть лѣтъ тому назадъ, и уже замѣченному всей критикой въ 1898 году, когда появился въ продажѣ первый томикъ его рассказовъ. Критика колебалась, уснащала свои отзывы отговорами, спрашивала, не имѣютъ ли они дѣло съ однимъ изъ тѣхъ обманчивыхъ метеоровъ, которые освѣщаютъ внезапнымъ свѣтомъ русское небо и потухаютъ, сконфузивъ слишкомъ увлекшихся астрономовъ, возвѣстившихъ о появленіи новой звѣзды. Общество высказалось болѣе непосредственно: какъ это всегда бываетъ, его восторженные отзывы увлекли критику, и скоро все слилось въ одинъ общій хоръ восторговъ, въ которомъ, конечно, самыми восторженными оказались тѣ, которые вначалѣ отнеслись недоброжелательно. Въ 1899 г. Горькій пріѣхалъ въ Петербургъ. Въ честь его былъ организованъ литературный вечеръ, молодежь съ бою брала мѣста въ залѣ, и когда Горькій появился на эстрадѣ, шумныя оваціи дошли до сумасшествия. Съ тѣхъ поръ, когда устраиваются какими-либо лекторами, подобные вечера въ его отсутствие, они заканчиваются все тѣмъ же апофеозомъ; телеграммы

съ выраженіемъ страстнаго поклоненія передають эхо этихъ восторговъ въ Нижній. На многихъ экземплярахъ „Разсказовъ“ стоитъ напечатаннымъ: „20-я тысяча“, — цифра баснословная для изданій въ Россіи. Личность Горькаго отражается въ его твореніяхъ и это чарующимъ образомъ дѣйствуетъ на массы. Энергичное, своевольное выраженіе лица, волосы, небрежно откинутые назадъ, крестьянская рубаха, свободными складками облегающая мускулистый торсъ — Горькій не носитъ другой одежды — все олицетворяетъ въ немъ типъ молодого простолюдина, умнаго, смѣлаго, какихъ встрѣчаешь сотни разъ на дорогахъ, куда они выходятъ въ поискахъ за счастьемъ. Весной прошлаго года Рѣпинъ, извѣстный живописецъ, выставилъ портретъ писателя. Между художникомъ и моделью оказалось нѣчто родственное; если бы угодно было случаю, онъ могъ бы позировать передъ художникомъ пятнадцать лѣтъ раньше, въ то время, какъ Рѣпинъ входилъ только въ славу и выставилъ свою картину, полную тяжелаго реализма: „Бурлаки“ на Волгѣ; Босоногіе, по горячему песку, тянуть они бичеву, подъ гнетомъ палищаго солнца. Портретъ Горькаго имѣлъ, на выставкѣ колоссальный успѣхъ: молодежь, студенты и студентки только и смотрѣли на него.

Чѣмъ же онъ покорилъ души? Открылъ ли онъ новый родъ красоты, истины? Или же онъ только далъ печальное удовлетвореніе лучше узнать ихъ страданія, и пороки?—Обратимся къ его книгѣ.

## II.

Для поверхностнаго наблюдателя первые шаги этого таланта совершенно не давали указаній относительно будущаго его направленія но для болѣе пытливыхъ изслѣдователей они ясно говорили о характерѣ и направленіи этого дарованія нѣкоторыя изъ произведеній написаны въ пылу лихорадочнаго увлеченія романтизмомъ какъ бы однимъ изъ учениковъ Пушкина и Лермонтова, сбиваютъ съ толку читателя своимъ анахронизмомъ. Таковы *Макарь Чудра*, *Старуха*

*Изергиль, Ханъ и его сынъ.* На страницахъ этого журнала \*) мнѣ уже приходилось говорить, какъ русскіе послѣдователи Байрона переносили священные мечты романтизма въ поэзіи на Кавказъ и въ Крымъ. Съ тѣхъ поръ эти двери Востока охраняются двумя волшебниками. Какъ только переступаешь ихъ порогъ, стихи ихъ встаютъ въ вашей памяти и личнымъ впечатлѣніемъ нѣтъ мѣста, — лучезарная призма окрашиваетъ всѣ предметы въ свои опредѣленные краски. Природное вліяніе страны покрывается ореоломъ, которымъ окружили его поэты. Великіе творцы поэзіи обладаютъ этой чудодѣйственной силой и придаютъ извѣстнымъ странамъ неизмѣнный отпечатокъ, неизмѣнный въ томъ смыслѣ, что всѣ видѣнія, всѣ чувства какъ бы заранѣе предопредѣлены. Пейзажъ является дѣйствительно выраженіемъ ихъ души и передается неизмѣненнымъ послѣдующимъ поколѣніямъ. Такова бухта въ Неаполѣ для лицъ, читавшихъ Ламартина. Самъ Толстой, когда былъ офицеромъ на Кавказѣ, подчинился этой тиранніи своихъ предшественниковъ: объ этомъ краснорѣчиво свидѣлствуютъ его *Казачи*.

Молодой Горькій прибылъ на Кавказъ находясь еще подъ впечатлѣніемъ прочитанныхъ имъ поэтовъ: онъ смотритъ ихъ глазами, чувствуетъ ихъ чувствами, образы и фигуры, характерныя черты обычаевъ и легендъ, порывы неудержной страсти и крики дикой гордыни, все въ его разсказахъ возвращается насъ къ чистому байронизму *Цыганъ* и *Демона*. Пастухъ Макаръ Чудра развиваетъ свою философію фатализма, онъ говоритъ о дикихъ порывахъ любви прекрасныхъ дочерей Кубани, о красотѣ свободной жизни, и о ея безплодности о томъ какъ она тяжела для сердца, которое не можетъ отгадать ея значенія... „Нѣтъ такого коня, на которомъ отъ самого себя ускакать можно бы было!..“ (Томъ I, стр. 10). Въ этомъ разсказѣ мы слышимъ звуки знакомаго намъ голоса, голоса Лермонтовскаго Печорина. И Изергиль — настоящая дочь поэзіи Пушкина. Алеко въ „*Цыганахъ*“ перемечталъ, выстра-

---

\*) Статья Мельхиора Вогюэ напечатана въ *Revue des deux Mondes*.



далъ и выплакалъ всѣ чувства, незнающія преградъ, которыя горятъ такимъ яркимъ огнемъ въ разсказахъ старой Крымской татарки. Красива легенда Ларры, ребенка дѣвушки, похищеннаго орломъ; онъ приноситъ людямъ своего племени чувство отцовской любви, точно когтями рветъ на части сердце любимой имъ женщины, и ни что не можетъ смирить въ немъ сатанинской гордости, наслѣдія орлиныхъ потомковъ, въ особенности рожденныхъ въ 1830 годахъ.

Въ изображеніи всѣхъ этихъ лицъ мало оригинальности, мало истины и много шаблонности: Горькій выкроилъ ихъ по образцамъ романтизма; но эскизы жизни Востока у молодого писателя ясно уже говорятъ о его дарѣ чувствовать и изображать картинами. Жанръ этихъ картинъ устарѣлъ, но все молодо и сильно въ ихъ письмѣ,—блескъ красокъ, богатство и свойство образовъ, мощь непосредственнаго чувства рассказчика. Описаніе вечера, на берегу Крыма когда Изергиль вспоминаетъ свои прошлыя любовныя увлеченія, принадлежитъ перу истиннаго поэта: пѣсни сборщицъ винограда терпящіяся въ морской дали аккомпанируютъ печальный разсказъ тихимъ напѣвомъ, теряющимся въ ночной мглѣ, подобно воспоминаніямъ старой Изергиль.

„Ея скрипучій голосъ звучалъ такъ, какъ будто это роптали всѣ забытые вѣка, воплотившись въ ея груди тѣнями воспоминаній. И море тихо аккомпанировало началу одной изъ тѣхъ древнихъ легендъ, которыя, можетъ быть, создались на его берегахъ“ (Старуха Изергиль. Томъ I, стр. 108).

Авторъ вкладываетъ въ уста Изергили мысли краснорѣчивыя по ихъ простотѣ и искренности.

„Въ жизни, знаешь ли ты, всегда есть мѣсто подвигамъ. И тѣ, которые не находятъ ихъ для себя, тѣ просто лѣнтяи или просто трусы, или не понимаютъ жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотѣлъ бы оставить послѣ себя свою тѣнь въ ней“ (стр. 120) — „Я была счастлива на это: никогда не встрѣчалась послѣ съ тѣми, которыхъ когда-то любила. Это нехорошія встрѣчи, все равно какъ бы съ покойниками (стр. 119).

Меткое сужденіе.

Горькій, однако, не надолго поддался влиянію прошлаго. Его вниманіе скоро остановилось на товарищахъ по бѣдствіямъ жизни. Та эволюція, которую пережилъ онъ, явилась точнымъ сколкомъ эволюціи, пережитой въ свое время Гоголемъ, его истиннымъ предшественникомъ. И Гоголь, пѣвецъ *Тараса Бульбы*, началъ съ историческаго романтизма: инстинктъ генія указалъ ему на новый міръ, бытописателемъ котораго онъ долженъ былъ стать; и если онъ не сталъ еще въ 1840 году творцомъ реализма въ полномъ значеніи этого слова—искусство, подобно жизни, не дѣлаетъ рѣзкихъ скачковъ—то все же былъ творцомъ реализма лирическаго: мнѣ простятъ это сочетаніе словъ, если вспомнить многія страницы Бальзака, и еще больше Флобера, характеризовать которыя иными словами было бы очень трудно. Этотъ удивительный Гоголь—который еще не занялъ должнаго мѣста на вершинахъ европейской литературы—широкимъ взглядомъ обнялъ всѣ слои современнаго ему общества. Кругъ наблюденій Горькаго болѣе узокъ за рѣдкими исключеніями—онъ не подымаетъ глазъ выше рабочаго класса; и въ этой средѣ онъ останавливается преимущественно на отрицательныхъ типахъ. на дезертирахъ рабочей арміи...

„Босіаки“, „беспокойные“ „бывшіе люди“, эти эпитеты, постоянно встрѣчающіеся въ его разсказахъ, характеризуютъ социальную, или вѣрнѣе антисоциальную излюбленную имъ среду. Это подземное болото, насыщенное самыми разнородными источниками, напоминаетъ трясины, коими изобилуетъ Россія, гдѣ почва ходитъ подъ ногами охотника. Вы не найдете у него крестьянина, прикованнаго къ землѣ, которую онъ обрабатываетъ, мужика такъ тщательно, съ такой любовью, изученнаго Тургеневымъ и другими современными писателями: для Горькаго онъ интересенъ лишь съ той минуты, когда, отрываясь отъ земли, начинаетъ слоняться по бѣлому свѣту, словно былинка, носимая вѣтромъ. Неудача, нищета, лѣность вербуютъ во всѣхъ сословіяхъ контингентъ лицъ, увеличивающихъ міръ бродягъ, гдѣ они быстро получаютъ одну общую фizioномію; тамъ смѣшиваются и сравниваются студентъ, неудачникъ,

пьяный купецъ, бывшій чиновникъ и бывшій офицеръ. Горькій часто напоминаетъ нашего Jules Vallés и его „Réfractaires“ (дезертировъ), какъ по выбору сюжетовъ, такъ и по манерѣ ихъ трактовать.

У него свой конекъ; онъ показываетъ вамъ синематографъ, въ которомъ въ изобиліи, подчасъ монотонномъ, выступаютъ тѣ типы босяковъ, изъ которыхъ ему удалось создать болѣе тридцати рассказовъ. Построеніе его рассказовъ удивительно однообразно; не требуйте отъ него того, что прежде называлось завязкой, романическимъ дѣйствіемъ—этого нѣтъ и слѣда даже и въ „Омѣ Гордѣевъ“, написанномъ въ видѣ длиннаго романа. Онъ хватаетъ своихъ героевъ внезапно среди обыденной жизни, дѣлаетъ набросокъ, заставляетъ жестикулировать, говорить, философствовать; ихъ психологія выясняется изъ ихъ разсужденій, наполняя извѣстное количество страницъ; затѣмъ онъ также внезапно бросаетъ ихъ.

Всѣ его рассказы—рядъ этюдовъ, словно собранныхъ для того, чтобы впослѣдствіи создать грандіозную фреску; но въ этомъ-то и заключается ихъ прелесть, что каждый изъ нихъ, взятый въ отдѣльности, составляетъ вполне законченную картинку.

Художественность ихъ прежде всего сказывается въ выборѣ и прекрасной обработкѣ той рамы, въ которой онъ заставляетъ дѣйствовать своихъ героевъ. Чѣмъ вульгарнѣе они и низменнѣе, тѣмъ сильнѣе у Горькаго стремленіе облагородить ихъ рѣзкимъ контрастамъ съ красотой и могуществомъ природы. И тутъ-то изъ-за реалиста выступаетъ лирикъ, удачно приближающій къ своему излюбленному романтизму. Я не думаю, чтобы присяжный знатокъ чернаго моря, знаменитый художникъ Айвазовскій, глубже понималъ и болѣе любилъ его измѣнчивую красоту, во всякое время, при всякомъ освѣщеніи. Всѣ цитаты даютъ лишь приблизительное понятіе объ оригиналѣ.

Какъ переводчикъ я часто прихожу въ отчаяніе, силясь передать нашимъ стариннымъ французскимъ языкомъ съ его рѣзко опредѣленными формами то богатство, своеобразную свободу, и всѣ оттѣнки и изгибы формирующагося

нарѣчія, которое всякій русскій писатель свободно приноровливаетъ къ своему настроенію.

Челкашъ — контрабандистъ, бродяга, воръ, спойвъ молодого парня, увлекаетъ его въ ночную экспедицію: они куда-то отправляются и что-то крадутъ; все въ жизни этихъ людей мрачно и тяжело: намѣренія старшаго, ужасъ парня, мысли, которыя угадываешь въ нихъ, ихъ загадочныя рѣчи. Море и небо настроены по всей вѣроятности въ унисонъ съ ихъ душами. Товарищи садятся въ лодку и отчаливаютъ отъ гавани.

„Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматыхъ тучъ и море было покойно, черно и густо, какъ масло. Оно дышало влажнымъ соленымъ ароматомъ и ласково звучало, плескаясь о борта судовъ, о берегъ и чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство отъ берега съ моря подымались темные остовы судовъ („Челкашъ“, т. I, стр. 77).

Слогъ Горькаго вездѣ изобилуетъ образами, даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ не достигаетъ высоты лиризма, и образы его вѣчно новы, и своеобразны, вполне подходящіе къ привычкамъ и ремесламъ его героевъ. Тутъ самоучка пожинаетъ плоды своего технического образованія, нагляднаго, прямого обученія внѣ всякихъ школъ и помимо классической традиціи. Своему суровому воспитанію онъ обязанъ еще другимъ литературнымъ превосходствомъ: захватывающая правда жестокихъ ощущеній усталости, холода, голода, которыя онъ описываетъ по личному опыту... Голода въ особенности; въ разсказахъ „Однажды осенью“ и „Въ степи“ мученія голоднаго человѣка анализируются съ точностью чисто медицинской. Неизгладимо запечатлѣвается въ памяти исторія трехъ бродягъ, плутающихъ ночью по пустынной степи, ихъ встрѣча съ больнымъ столяромъ богомольцемъ, котомкой котораго они завладѣваютъ: глубокій трагизмъ этого вульгарнаго приключенія заключается въ напряженіи всѣхъ жизненныхъ силъ къ тому, чтобы завладѣть кускомъ хлѣба, добытаго хотя бы цѣною совершеннаго преступленія. Даже въ проявленіяхъ крайняго реализма Горькій остается все тѣмъ же нераскаленнымъ романтикомъ. Это ска

зывается и въ формѣ, въ которую онъ облакаетъ свои произведенія, и въ той мечтательности, которую возбуждаютъ въ немъ картины природы но главнымъ образомъ въ постоянномъ предпочтеніи, которое онъ оказываетъ извѣстному типу героевъ. „Челкашъ“, „Коноваловъ“, „Сережна“, въ „Мальвѣ“, сама „Мальва“—вотъ представители того повторяющагося въ большинствѣ его рассказовъ типа, который варьируетъ лишь въ оттѣнкахъ, всегда идеализированный и тѣмъ рѣзче идущій въ разрѣзъ съ правилами буржуазной морали, чѣмъ сильнѣе симпатизируетъ ему авторъ: это человѣкъ съ мощной мускулатурой, отважный, лѣнивый и порочный, но способный на внезапные порывы ко всему великому, въ виду полного неумѣнія примѣнить свою энергію къ какому-либо дѣлу топящаго избытокъ ея въ алкоголь; это философъ и фаталистъ, ярый противникъ всякаго подчиненія, всякаго закона. Вы узнаете въ этомъ типѣ нашего „le Sublime“, какъ его описалъ и окрестилъ M-r Denis Poulot. Но что по мнѣнію русскаго писателя еще значительно увеличиваетъ достоинства его излюбленнаго героя, такъ это то обстоятельство, что онъ завзятый, убѣжденный бродяга.

Нивы, пахотная земля, родная деревня, семейный очагъ — вотъ враги, посягающіе на свободу личности, и о нихъ говорится не иначе какъ съ глубокимъ презрѣніемъ, имъ противопоставляются степь, рѣка, море. Сплотъ кочевого атавизма вѣчно гонимые съ мѣста на мѣсто „босыки“ Горькаго являются какъ бы потомками казаковъ, бѣжавшихъ отъ регулярной жизни, періодическія эмиграція которыхъ и до сихъ поръ составляетъ одну изъ характерныхъ особенностей русской исторіи: кайма морской пѣны, которую славянскій океанъ безъ устали выбрасываетъ на берега и которая, убѣгая, отвоевываетъ ему новыя земли.

Всѣ эти скитальцы, гонимые однимъ общимъ мучительнымъ стимуломъ русской тоски, чѣмъ то вродѣ англійскаго сплина; это національная разновидность самаго древняго изъ всѣхъ человѣческихъ недуговъ, отвращенія къ жизни, разочарованность въ ней. Эта тоска бываетъ то холодная и угрюмая

бабъ“ („Мальва, стр. 62) — говорить ей Серёжка, хотя она единственная женщина, которую рассказчикъ сумѣлъ облечь всѣми женскими чарами и завлекательствами. Становится вполне понятнымъ, что она, эта русалка рыбныхъ промысловъ въ Крыму можетъ заколдовать: само море отражается въ ея зеленыхъ глазахъ, въ смѣхѣ, подзадоривающимъ мужчинъ. Отъ всего ея существа исходитъ какая-то притягательная сила, которая сообщается и окружающей природѣ. Нигдѣ Горькій въ такомъ изобилии и такъ мастерски не описывалъ ее; нигдѣ онъ такъ глубоко не заглядывалъ въ эти измученныя, суровыя сердца. Мнѣ кажется, что „Мальва“ лучшее его произведение.

Блѣдныя созданія, проходящія на фонѣ его: „Рассказовъ“, почти безъ исключенія дѣвицы низшаго разряда. Вся роль ихъ заключается въ томъ, чтобы пѣть безконечныя дѣтскыя наивныя мелодіи, замирающія въ продолжительномъ рыданіи — словно крикъ раненаго животнаго — которыми онѣ доводятъ до слезъ тоскующихъ гулякъ. Французскому читателю чужды подобныя безмолвныя, заунывныя оргіи, — вполне благопріостыныя по крайней мѣрѣ въ описаніяхъ Горькаго.

Въ этомъ сказывается существенная, уже не разъ отмѣченная мной разница между русскими писателями реалистами и большинствомъ нашихъ. У нихъ самыя низкія, отвратительныя, гнусныя картины никогда не возбуждаютъ чувственность. Въ самыхъ скабрёзныхъ, по нашимъ понятіямъ, положеніяхъ, эти стойкіе философы видятъ лишь жертвы особеннаго горя; они исключительно заняты психологической стороной дѣла: въ остальномъ ихъ описанія значныхъ мѣстъ по сдержанности могутъ сравниться развѣ только съ трагедіей Расина.

Трудно передать содержаніе „Васьки Краснаго“: этому Васькѣ, трактирному половому \*) было поручено наказывать розгами непокорныхъ дѣвицъ во всѣхъ публичныхъ домахъ одного большого города. На эту тему, на которую наши специалисты изощрялись бы въ двусмысленномъ сквернословіи, Горькій написалъ этюдъ, преисполненный скорби съ безстра-

---

\*) По тексту рассказа „вышибалѣ въ публичномъ домѣ“.

стиемъ полицейскаго рапорта. Очень мудроно разъяснить словами такую разницу помышлений; нужно самому прочесть и сравнить, безъ всякихъ предвзятыхъ мнѣній. То самое тѣло, которое показываютъ у насъ читателю живымъ, обольстительнымъ съ исключительной цѣлью пощекотать его нервы, выставляется тутъ словно въ анатомическомъ театрѣ, чтобы тотъ же читатель могъ изучить на живыхъ трупахъ, какъ страдаетъ и умираетъ человѣческая душа. Резюмируя общее впечатлѣніе, получаемое отъ разсказовъ Горькаго, приходится отмѣтить слѣдующее: каждый разсказъ, взятый въ отдѣльности, крайне интересенъ: вы очарованы выпуклостью фигуръ, правдивостью наблюдений, живостью мысли, гдѣ лирическая эмоція чередуется съ остротами шутливаго вдохновенія; но, по мѣрѣ того, какъ вы знакомитесь съ галлереей этихъ набросковъ съ натуры, ихъ разнообразіе, — нельзя это отрицать, — сливается въ однообразное ощущеніе подавляющей тоски; какой-то тяжелый кошмаръ гнетомъ давить вашъ мозгъ и дѣлается подъ конецъ невыносимымъ. Хотя Горькій и разбросалъ по большимъ дорогамъ, разсѣялъ въ живописныхъ рамкахъ несчастные образы своей фантазіи, но они настолько отягощаютъ умъ, что подъ конецъ сливаются въ одну общую группу, которая со своими вожаками во главѣ, собирается въ трущобахъ ночлежнаго дома, содержащаго ротмистромъ въ отставкѣ, Кувалдой, куда ежедневно, по вечерамъ стекаются „бывшіе люди“. Авторъ соединилъ въ этомъ социальномъ аду наиболѣе типичные изъ своихъ обыкновенныхъ моделей; они сходятся тамъ, чтобы разглагольствовать, отрыгивая водку, и словно окаймленные мономаны вертятся въ заколдованномъ кругу: резонировать и пить, пить и резонировать. Ясный анализъ, своего моральнаго ничтожества, которой они дѣлаютъ, запивается, водкой въ которой они топятъ свою совѣсть.

Объ ихъ исторіографѣ можно сказать, что онъ характеризуетъ ихъ водкой: она составляетъ частицу рода человѣческаго въ буквальноймъ смыслѣ слова и струится вдоль страницъ; всѣ произведенія Горькаго окутаны тусклымъ мрачнымъ облакомъ ея испареній, похожее на тѣ облака, которыми писатель наполняетъ

сѣрое небо своихъ излюбленныхъ пейзажей. Въ его изображеніи Россія представляется обширнымъ кабакомъ въ подвальномъ, тускломъ помѣщеніи, преисполненнымъ испареніями пота, сала, и керосина, въ которомъ бродяги въ отрепьяхъ лодоричають, плачутъ, клянутъ самихъ себя и свою судьбу, изрекають истины и тонуть въ океанѣ водки. Это слишкомъ. Читатель, въ изнеможеніи, просить пощады; онъ съ чувствомъ отвращенія и переутомленія закрываетъ книгу, начатую съ удовольствіемъ.

Постоянное повтореніе этихъ темныхъ, тусклыхъ картинъ вызываетъ тошноту, точно съ похмелья; испытываешь то самое недомоганіе, для описаній котораго русскій языкъ такъ богатъ наименованіями—существительными, прилагательными, глаголами—и которое у насъ попросту называется „болью волосъ“.

### III.

„Ома Гордѣевъ“, появившійся въ 1899 г., заставляетъ предполагать, что Горькій задумалъ расширить кругъ своей литературной дѣятельности и перейти къ болѣе сложному роману нравовъ. Наблюдатель поднялся нѣсколькими ступенями выше по соціальной лѣстницѣ; на этотъ разъ полемъ для своихъ наблюденій онъ избралъ сословіе купцовъ, являющееся въ Россіи особенно интереснымъ вслѣдствіе своего закоснѣлаго консерватизма, не поддающагося прогрессу современной культуры. Со временъ Гоголя русское купечество постоянно доставляло богатый матеріалъ русскимъ романтикамъ и драматургамъ; они изошряли свое остроуміе надъ богатыми купцами; осмѣивали ихъ легендарныя плутни, ихъ ханжество, ихъ устарѣлый костюмъ. Все это однако ни мало не мѣшаетъ тѣмъ гордиться, и по праву,—что въ ихъ рукахъ сосредоточена денежная власть, а въ ихъ домахъ—культъ древнихъ традицій.

Романъ Горькаго воспроизводитъ въ натуральную величину фizioномію купцовъ, съ которыми ему приходилось встрѣчаться въ Нижнемъ: прекрасные портреты, выписанные съ удивительной жизненностью, въ особенности портретъ старой лисицы



Маякина. Начало романа прекрасно: Толстой пожалуй не отрекся бы отъ нѣкоторыхъ эпизодовъ, детальная, выразительная обрисовка которыхъ, напоминаетъ его жанръ письма: роды Наташи, умирающей на подушкѣ, „по которой, какъ мертвыя змѣи, раскинулись темныя пряди волосъ“ (Ома Гордѣевъ, стр. 16), между тѣмъ, какъ ея мужъ ожидаетъ событій въ другой комнатѣ и бодритъ себя водкой—какъ всегда и вездѣ;—смерть отца Гордѣева, разбогатѣвшаго бурлака, долго душившаго подъ своимъ тяжелымъ началомъ и жизнь и людей, пока наконецъ ударъ не хватилъ его въ саду, и „его грузное тѣло медленно поползло съ кресла на землю, точно земля властно потянула его къ себѣ“—наконецъ и въ особенности первое любовное похождение молодого Омы, впечатлѣнiе первой женской ласки на это юношеское, двадцатилѣтнее сердце, и внезапное превращенiе юноши въ мужчину.

Продолженiе романа, къ сожалѣнiю, далеко не соответствуетъ началу. Ома одаренъ всѣми жизненными благами: онъ уменъ, пользуется великолѣпнымъ здоровьемъ, колоссально богатъ, занимаетъ видное мѣсто среди именитаго купечества; купеческiя дочки мечтаютъ о немъ, какъ о женихѣ; онъ самостоятельно ведетъ крупныя дѣла, перешедшiя ему по наслѣдству отъ отца,—какъ же онъ заживетъ?—А онъ такъ и не жилъ, все только допытываясь, въ чемъ смыслъ жизни. Роковая болѣзнь—тоска—отравила его умъ и сердце. Все прiѣлось ему, все его раздражаетъ, ибо свѣтъ—и русскiй въ особенности—плохо созданъ,—„что дѣлать?“—воскликаетъ Гордѣевъ. Этотъ вѣчный вопль, исходящiй изъ Россiи шестьдесятъ лѣтъ спустя послѣ Чернышевскаго, который озаглавилъ имъ свою знаменитую книгу, сорокъ лѣтъ спустя послѣ Тургеневскаго Рудина и его безчисленныхъ собратьевъ, звучитъ какъ и тогда съ той же тоской, съ той же наивностью. Ома съ наивностью малаго ребенка ко всѣмъ обращается съ этимъ вопросомъ. Онъ тяготится своимъ богатствомъ, и завидуетъ „боснякамъ“, у которыхъ, повидимому, есть ключъ къ интересующей его загадкѣ; онъ сходится съ ними, спускается въ подонки общества и пьетъ, пьетъ, отыскивая смыслъ жизни въ продолженiе трехсотъ

страницъ. Мы снова шлепаемъ по грязному ручью водки, въ которомъ нищіе паразиты напиваются на счетъ молодого купца. Благодаря счастливому преимуществу героевъ романовъ, столь презираемое имъ золото, которымъ онъ соритъ, никогда не оскудѣваетъ въ его карманахъ. Бѣдный Өома! Писатель, создавшій васъ, считаетъ васъ человѣкомъ передовымъ, зажигателемъ свѣточей будущаго: но „хотя“— а пожалуй и „потому“ именно, что вы послѣдователь Шопенгауера, Ницше и все пр. вы всетаки уже существуете съ 1830 г.

„Jamais dans les tavernes,  
Sous les rayons tremblants des blafardes lanternes,  
Plus indocile enfant ne s'était accoudé...“

(„Rolla“. Alf. de Musset).

(„Никогда въ трактирахъ,

Подъ мерцающимъ свѣтомъ тусклыхъ фонарей,

Не сживало болѣе непокорное дитя...“).

Покорнѣйше прошу прощенія у Максима Горькаго, но право вся суть его романа уже содержалась въ этихъ старыхъ стихахъ.

Не думайте, однако, чтобы онъ порицалъ Өому за его лодорничанье. Онъ его одобряетъ и противопоставляетъ другимъ купцамъ, этимъ глупымъ труженикамъ, гнуснымъ собирателямъ денегъ. Гордѣвъ отличается рыцарскимъ подвигомъ вродѣ того, что избиваетъ зятя вице-губернатора, человѣка, „который имѣетъ орденъ“ (Өома Гордѣвъ, стр. 178). Онъ головой выше своихъ одноклассниковъ, ибо въ трущобахъ, гдѣ онъ, съ позволенія сказать, развратничаетъ, неустанно „протестуетъ“ и „разоблачаетъ“. Въ Россіи, въ извѣстныхъ кружкахъ, эти два слова въ модѣ.— „Вижу торжествующую свинью—протестую (Гусевъ“, Ант. Чехова, т. VI, стр. 205),—горделиво заявляетъ одинъ изъ героевъ А. Чехова. Өома протестуетъ противъ всего и противъ всѣхъ, ибо, простите меня, всѣ принадлежать къ этой категоріи. Благодаря ему, святой духъ недовольства жизнью проникъ уже и „въ купеческія спальни“ (стр. 272, Ө. Гордѣвъ). Онъ разоблачаетъ гнусные поступки высшихъ представителей купечества

и того социального строя, которому оно служить лучшей подпорой. Въ концѣ романа богатый купецъ Илья Кононовъ приглашаетъ именитое купечество на обѣдъ по случаю освященія своего новаго парохода, спущеннаго на Волгу. Пиръ происходитъ на пароходѣ, говорятъ тосты, старики купцы поздравляютъ другъ друга съ тѣмъ, что сдѣлано ихъ сословіемъ для развитія экономической жизни рѣки. Но вдругъ подымается молодой Гордѣевъ, — какъ Риу-Блазъ (Ruу Blas), въ советѣ министровъ — и „разоблачаетъ“ каждого изъ почтенныхъ гостей. Онъ каждому изъ нихъ напоминаетъ о сокрытомъ и прощенномъ ему послѣ достиженія богатства грѣхѣ, о которомъ завистники на биржѣ рассказываютъ себѣ на ушко. Одинъ послѣ мошеннической продѣлки открылъ банкъ; тотъ попался въ какой-то грязной исторіи нравовъ; другіе совершали подлости, подлоги, похищали наслѣдство у сиротъ. Разоблаченія сыпятся на нихъ словно градъ; происходитъ скандальная свалка: всѣ набрасываются на вершителя правосудія, извѣстнаго пьяницу, который на сей разъ трезвъ; — Гордѣева сажаютъ въ сумасшедшій домъ; его опекунъ, хитрый Маякинъ, получаетъ администрацію надъ всѣми его дѣлами, а самъ Ома возвращается къ благороднымъ босякамъ, въ сообществѣ которыхъ продолжаетъ пить.

Ни одно дѣйствіе не вырисовывается, ни одно чувство не выясняется въ этомъ романѣ, получается рядъ недостаточно мотивированныхъ психологическихъ эволюцій и много пустой болтовни, такъ что приходится сожалѣть о краткихъ, несложныхъ наброскахъ рассказчика. „Ома Гордѣевъ“ у насъ переведенъ: несмотря на дѣйствительный талантъ, сказывающійся во многомъ и которому я выше отдалъ дань почитанія, я все-таки сомнѣваюсь въ томъ, чтобы это неясное и несвязное произведеніе могло имѣть успѣхъ у иностранцевъ, мало знакомыхъ съ нравами и обычаями нижегородскихъ купцовъ. Кромѣ того, по моему, нужно обладать большою смѣлостью, чтобы рѣшиться перевести Горькаго. Мнѣ не приходилось познакомиться съ французскимъ переводомъ его произведеній и для меня загадка, какъ передать въ переводѣ всю прелесть народнаго и просто-

народнаго говора, занимающаго столь видное мѣсто въ его разсказахъ. Русскій „арго“ ничто иное, какъ говоръ крестьянъ, чѣмъ и объясняется богатство его выражений, то добродушное, братское, радушное, звучащее даже въ крѣпкихъ словечкахъ, на которыя такъ щедръ эти пестѣнящіеся въ выраженіяхъ господа. Къ этому говору одинаково мало подходятъ какъ нашъ обыкновенный языкъ, болѣе, нежели русскій, очищенный отъ тривіальностей народнаго говора, такъ и нашъ болѣе дѣланный, болѣе искусственный „арго“, созданный городской чернью.

Въ Россіи, гдѣ литературное значеніе книги мало цѣнится, Ома Гордѣевъ долженъ былъ имѣть шумный успѣхъ. Въ этомъ романѣ видѣли протестъ и чуть ли не философскій трактатъ — два излюбленныхъ пункта. Между тѣмъ философія Горькаго здѣсь, какъ и во всѣхъ его предшествующихъ произведеніяхъ, неясна, противурѣчива, нѣсколько высокопарна, ищетъ самоё себя.

Жизнь представляется этому пылкому воображенію какъ бы самостоятельнымъ, протекающимъ внѣ насъ самихъ, потокомъ: иногда съ ней нужно бороться, а иногда пассивно гнуть шею подъ ея ударами. Прежде всего нужно стараться извлечь изъ жизни „жизненную силу“ — эликсиръ сильныхъ міра сего, властвующихъ надъ жизнью и надъ людьми. Современный міръ ничтоженъ потому, что всѣ эти трусы не знаютъ цѣны свободы; они завязли въ своихъ домахъ, городахъ, въ своихъ дѣлахъ, богатствѣ; они не умѣютъ творить, рискнуть, пойти на приключенія, не способны чувствовать и удовлетворять прекрасныя страсти, что — только и придаетъ цѣну жизни. Горькій какъ-то напечаталъ нравоучительный разсказъ, озаглавленный: „Еще о чортѣ“. Нѣкто жалуется на то, что не можетъ побѣдить своихъ страстей. Чортъ входитъ черезъ окно (его всегдашняя дорога) предлагаетъ ему свои услуги и берется вылѣчить больного посредствомъ небольшой хирургической операціи. Операторъ словно занозы извлекаетъ изъ больного сердца проклятыя страсти, одну за другой: когда послѣдняя страсть удалена, исцѣленный человѣкъ оказался пу-

стымъ и издавалъ звукъ пустого боченка: „Онъ сидѣлъ въ креслѣ съ раскрытымъ ртомъ и на лицѣ его сіяло то неизъяснимое словами блаженство, которое болѣе всего свойственно прирожденнымъ идіотамъ“ („Еще о чортѣ“, стр. 297).

Когда въ хлѣбопекарнѣ, Коноваловъ сожалѣетъ о своихъ слабостяхъ, товарищъ успокаиваетъ его, доказывая, что онъ невинная жертва жизни, среды, обстоятельствъ, на что Коноваловъ возражаетъ съ весьма похвальнымъ пониманіемъ свободы воли: „Каждый человѣкъ самъ себѣ хозяинъ, и никто въ томъ не повиненъ, ежели я подлецъ есть!“ („Коноваловъ“, стр. 23).— „Кто виноватъ, что я пью?—Сами мы предъ собой и жизнью виноваты...“ (стр. 22). Архитекторъ Шебаевъ — въ новомъ романѣ „Мужикъ“, новѣйшій проповѣдникъ міровоззрѣнія Горькаго, повторяетъ жалобы и нареканія Гордѣева:

„Что для насъ жизнь? Пиръ? —Нѣтъ. Трудъ?—Нѣтъ! Битва!—О, нѣтъ! Жизнь для насъ что-то скучное, тягучее, строе, какая-то обуза. Мы несемъ ее, вздыхая отъ усталости и жалуюсь на тяжесть ноши. Любимъ ли мы жизнь? Любовь къ жизни?.. Вѣдь это даже звучитъ совершенно чуждо нашему уху. Мы любимъ читать, спорить, мы любимъ наши мечты о будущемъ... впрочемъ, платонической любовью любимъ ихъ, бесплодной любовью...“ („Жизнь“, томъ III, Мартъ, 1900 г., стр. 144).

Можно сдѣлать сотни подобныхъ выдержекъ, идентичныхъ по содержанію, но разнообразныхъ по выраженію неисчерпаемаго вдохновенія. Краснорѣчива заключительная страница разсказа „О чортѣ“. „Тотчасъ же, послѣ того, какъ докторъ скажетъ про васъ вашимъ близкимъ:

— Умеръ...

Вы вступите въ нѣкую безграничную, ярко освѣщенную область, и это есть область сознанія вашихъ ошибокъ.

Вы лежите въ могилѣ, въ тѣсномъ гробу и передъ вами проходитъ, вращаясь какъ колесо, бѣдная жизнь ваша. Она движется медленно до мучительности и вся проходитъ—отъ перваго сознательнаго шага и до послѣдней минуты жизни вашей. Вы увидите все, что скрывали отъ себя при жизни, всю

ложь и мерзость вашего бытія, всё мысли ваши вы вновь передумаете, вы увидите каждый невѣрный шагъ, всю жизнь ваша возобновится—вся, до секунды! И для того, чтобъ усилить муки ваши, вы будете знать, что по той тѣсной и глупой дорожѣ, по которой шли вы,—идутъ другіе и толкаютъ друга друга, и торопятся, и лгутъ. И вы понимаете, вы ясно видите—все это они дѣлаютъ лишь для того, чтобъ со временемъ узнать, какъ позорно жить такой гнусной, бездушнѣйшей жизнью“ („О чортъ“, стр. 281).

Разобраться въ философіи Горькаго дѣло довольно мудреное. Самъ писатель въ одномъ изъ своихъ разсказовъ „Читатель“, написанномъ въ порывѣ откровенности, отказывается отъ подобнаго предпріятія. Писатель только что вышелъ на улицу изъ дома, гдѣ въ кругу близкихъ ему людей прочелъ свое послѣднее <sup>1)</sup> очень одобренное ими произведеніе. Къ нему подходитъ язвительный и таинственный индивидъ. По всей вѣроятности эта фигура символизируетъ совѣсть. Незнакомецъ спрашиваетъ его по какому праву онъ берется учить людей, во имя какого принципа, и какую онъ имъ возвѣщаетъ истину. Писатель ничего не можетъ отвѣтить, хотя непрощенный гость и мучаетъ его до утра.

„Ты нищъ для того, чтобы дать людямъ что нибудь дѣйствительно цѣнное, а то, что ты даешь, ты даешь не ради высокаго наслажденія обогащать жизнь красотой мысли и слова, а гораздо больше для того, чтобъ возвести случайный фактъ твоего существованія на степень феномена, необходимаго для людей. Ты даешь для того, чтобы больше взять отъ жизни и людей („Читатель“, стр. 248). „А ты умѣешь любить людей?“ (стр. 255).

Писатель, внимательно вдумавшись и обсудивъ вопросъ, сознается въ томъ, что онъ самъ не знаетъ любить ли онъ людей или нѣтъ! Признанія, которыя онъ дѣлаетъ своему случайному собесѣднику, еще яснѣе выражаютъ его мысль. „Я открылъ въ себѣ немало добрыхъ чувствъ и желаній, немало

---

<sup>1)</sup> По тексту свой первый печатанный разсказъ.

того, что обыкновенно называют хорошимъ, но чувства, объединяющаго все это, стройной и ясной мысли, охватывающей всё явленіе жизни, я не нашелъ въ себѣ... „И что я могу сказать людямъ? То, что уже давно говорили имъ и всегда говорить, что находить себѣ слушателей, но не дѣлаетъ людей лучшими? Но имѣю ли я право проповѣди этихъ идей и понятій, если самъ я, воспитанный на нихъ, часто поступаю не такъ, какъ они повелѣваютъ?“ („Читатель“, стр. 246—247).

Тома Гордѣвъ, когда ему совѣтуютъ читать, также скептически относится къ праву писателя поучать:—„Но чтобы учиться изъ книги какъ жить,—это ужъ что-то несуровое. Въдѣ человѣкъ написалъ, не Богъ, а какіе законы и примѣры человѣкъ установить можетъ самъ для себя?“ (Тома Гордѣвъ, стр. 282). Горькій не проповѣдуетъ никакихъ догматовъ, напротивъ того, онъ надъ ними издѣвается: подобно своему Томи онъ ошущью ищетъ смысла жизни. Его метафизическая брань часто напоминаетъ странную галлюцинацію описанную, имъ въ разсказѣ „Ошибка“.

„Кириллъ Ивановичъ ощущалъ въ себѣ желаніе повторять каждое слово по нѣскольку разъ, но почему-то боялся дѣлать это. Слова казались ему разноцвѣтными пятнами, вродѣ легкихъ облаковъ, разсѣянныхъ въ безграничномъ пространствѣ. Онъ летаетъ за ними, ловить ихъ и сталкиваетъ другъ съ другомъ; отъ этого получается радужная полоса, которая и есть мысль. Если ее вобрать въ себя вмѣстѣ съ воздухомъ и затѣмъ выдохнуть, то она зазвучитъ и отъ этого получается рѣчь“. (Ошибка“, стр. 153).

Нашъ философъ послѣдователенъ и непримиримъ только относительно слѣдующихъ пунктовъ: своей ненависти ко всякаго рода уздѣ, провозглашенія свободы страстей и превлеченія передъ силой. Во всѣхъ приведенныхъ мною выше извлеченіяхъ чутся появленіе „сверхчеловѣка“ или возвращеніе къ романтизму, что индентично.

Въ сущности, всё произведенія Горькаго ничто иное какъ долгій и страшный протестъ противъ условій жизни въ его

отечествѣ. Онъ силится встряхнуть свою страну, устыдить ее за тотъ маразмъ, въ который она впала, за ея общественныя раны, за всѣ существующіе въ ней глубокіе недочеты. Онъ рисуетъ отталкивающіе образы съ цѣлью произвести отталкивающее впечатлѣніе. Это Гоголь, но менѣе жизнерадостный, менѣе уравновѣшенный, бѣшеный Гоголь. Я не скажу ничего новаго, объявивъ его революціонеромъ, я бы даже прибавлялъ нигилистомъ, но мнѣ положительно противно примѣнять къ русскому писателю этотъ сомнительнаго свойства эпитетъ, философскій смыслъ котораго исказили, соединяя его съ преступленіями нѣкоторыхъ политическихъ заговорщиковъ. Тѣмъ не менѣе здѣсь это слово на своемъ мѣстѣ. Радикальный нигилизмъ Горькаго не шадитъ никакихъ принциповъ; это хорошо извѣстно либеральнымъ доктринерамъ. Они начали было аплодировать ядовитымъ нападкамъ этой заблудшей овцы, какъ вдругъ онъ принялся низвергать безъ разбора ихъ кумировъ и старыхъ боговъ. Въ его глазахъ всѣ теоретики стоятъ другъ друга, и шарлатанство современныхъ эмпириковъ столь же мало пользуется его довѣріемъ какъ и старая, законная медицина. Его не опутаешь цѣпами свободомыслія и кандалами различныхъ „измовъ“. О прессѣ, ея услугахъ и просвѣтительномъ значеніи, онъ отзывался съ жестокой насмѣшкой. Ежовъ представитель той богемы, которую представляетъ провинціальная журналистика, берется объяснить Гордѣеву въ чемъ заключается его профессія.

Вмѣстѣ съ Ѳомой онъ шлялся до глубокой ночи по клубамъ, гостиницамъ, трактирамъ, всюду черпая матеріалъ для своихъ писаній, которыя онъ называлъ „щетками для чистки общественной совѣсти“. Цензора онъ именовалъ „завѣдующимъ распространеніемъ въ жизни истины и справедливости“, газету называлъ „сводней, занимающейся ознакомленіемъ читателя съ вредоносными „идеями“, а свою въ ней работу—„продажей души въ розницу“ и „поползновеніемъ къ дерзновенію противъ божественныхъ учреждений“ („Ѳома Гордѣевъ“, стр. 283).

Tabula rasa — Горькій во чтобы то ни стало хочетъ новизны: выпь ее ему да положь; вмѣсто идеалогической каши,



которой присяжные знатоки социальнаго улучшения наполняют русскіе желудки, онъ требуетъ мужественныхъ, доблестныхъ дѣйствій. Но какъ онъ себя представляетъ революцію и какія надѣется увидѣть отъ нея послѣдствія? — Прошу внимательно вслушаться въ то, что говоритъ старый купецъ Маякинъ, резонеръ, представленный намъ въ „Фомѣ Гордѣевѣ“ образцомъ осторожнаго, практическаго ума. Своей вольной, нѣсколько грубоватой манерой говорить, онъ излагаетъ свой взглядъ на будущее Россіи. Привожу это мѣсто дословно, оно поучительно:

„Смутилась Россія, и нѣтъ въ ней ничего стойкаго: все пошатнулось! Всѣ набекрень живутъ, на одинъ богъ ходятъ, никакой стройности въ жизни нѣтъ... Орутъ только всѣ на разные голоса. А кому чего надо — никто того не понимаетъ! Туманъ на всемъ... туманомъ всѣ дышать, оттого и кровь протухла у людей... оттого и нарывы... Дана людямъ большая свобода умятовать, а дѣлать ничего не позволено — отъ этого человекъ не живетъ, а гниетъ и воняетъ...

— Что же надо дѣлать? — спросила Любовь.

— Все! — азартно крикнулъ старикъ. — Все дѣлай!.. Валяй, кто во что гораздъ! А для того — надо дать волю людямъ... полную свободу! Ужъ коли настало такое время, что всякій шибздыкъ полагаетъ про себя, будто онъ — все можетъ и сотворенъ для полнаго распоряженія жизнью — дать ему, стервецу, свободу! На, сукинъ сынъ, живи! Ну-ка, живи! А-а! Тогда воспослѣдуетъ такая комедія: почувавъ, что узда съ него снята, — зарвется человекъ выше своихъ ушей и перомъ полетитъ и туда и сюда... Чудотворцемъ себя возомнитъ и начнетъ онъ тогда духъ свой испускать...

Старикъ сдѣлавъ паузу и съ ехидной улыбкой, понизивъ голосъ, продолжалъ:

— А духа этого самаго строптивнаго со-овсѣмъ въ немъ малая толика! Попыжится это онъ день-другой, потопорщится во всѣ стороны и — въ скорости ослабнетъ, бѣдненькій! Сердцевина-то гнилая въ немъ... хе-хе-хе! Ту-уть его, — хе-хе-хе! — голубчика, и поймаютъ настоящіе, достойные люди, тѣ настоя-

шіе люди, которые могут... дѣйствительными штатскими хозяевами жизни быть... которые будутъ жизнью править не палкой, не перомъ, а пальцемъ да умомъ. Что, скажутъ, устали, господа? Что, скажутъ, не терпитъ селезенка настоящаго жару? Та-акъ-съ... — И, повысивъ голосъ, властнымъ тономъ старикъ закончилъ свою рѣчь:

— Ну, такъ теперъ вы, такіе-сякіе, — молчать и не писать! А то, какъ червей съ дерева, стряхнемъ васъ съ земли! Цыцъ, голубчики! Хе-хе-хе! Вотъ оно какъ произойдетъ. Любавка! Хе-хе-хе!

— Ну, и тогда-то вотъ тѣ, которые верхъ въ сумятицѣ возьмутъ, — жизнь на свой ладъ, по-умному и устроить... Не шала-валя пойдетъ дѣло, а какъ по нотамъ! Не доживешь до этого, жаль!..“ („Ома Гордѣвъ“, стр. 204).

Не есть ли это чистѣйшей воды теорія яковинцевъ: та самая теорія, которую тонкіе умы, не высказывая, проводятъ съ успѣхомъ.

Этому Маякину не слѣдовало бы умирать: онъ прекрасно понимаетъ революціонную стряпню, искусство вскипятить на родный котелъ и во время снять съ него пѣнки.

Буржуазія, наслаждающейся произведеніями Горькаго, слѣдуетъ держать ухо востро, ибо она ему ненавистна вдвойнѣ: и какъ романтику на манеръ Флобера, и какъ социалисту-революціонеру.

Я дѣлаю эти замѣчанія только потому, что нахожу невозможнымъ ихъ не сдѣлать—они не касаются искренности Горькаго, которая внѣ сомнѣній. Все свидѣтельствуетъ о ней въ страстной душѣ этого молодого Альцеста. Его „Ома Гордѣвъ“ дикій экземпляръ индивидуума о зеленыхъ лентахъ, который тоже „протестовалъ и разоблачалъ“:

„Мрачное настроеніе и крайняя досада охватываютъ меня, когда я вижу, каковы люди, какъ живутъ они“ („Мизантропъ“ Мольера въ переводѣ М. И. Полтавскаго. Приложение къ „Вѣст. Иностр. Литер.“, стр. 314).

Скандалистъ Ома олицетворяетъ одну изъ самыхъ благородныхъ чертъ русской природы. Исторіи и дипломаты уста-

новили за русскимъ купцомъ репутацію чисто византійскаго лукавства; во всякомъ случаѣ, нужно признать эту способность исключительно профессиональной, привитой къ основному свойству русской натуры, экспансивной искренности, присущей представителямъ всѣхъ слоевъ общества. Ребенокъ тоже умѣетъ лгать: тѣмъ не менѣе, его чистый умъ требуетъ правды во всемъ; онъ удивляется и раздражается, когда ее скрываютъ отъ него.

Нѣтъ ничего прямѣе и чистосердечнѣе русской души, если, конечно, не считаться съ случайными искривленіями. Иностранцы, путешествующіе по Россіи, часто поражаются наивной, подчасъ даже комичной откровенности незнакомца, разговаривающаго съ ними въ вагонѣ. Въ какой-нибудь часъ вы становитесь его закадычнымъ другомъ, болтунъ изливаетъ вамъ свою душу, какъ краснобаи Горькаго, касаясь самыхъ сокровенныхъ сюжетовъ, какъ-то: своего общественнаго и семейнаго положенія своего нрава, своихъ болѣзней, даже самыхъ скрытыхъ и т. д. Алчущій и жаждущій правды, съ чисто идеальными воззрѣніями, при томъ очень невѣжественный, этотъ ребячливый народъ моментально возмущается, когда ему открываютъ глаза и показываютъ наборъ условной лжи, на которомъ роковымъ образомъ зиждется всякое социальное сооруженіе. Ложь смѣхотворная, гнусная, жестокая, это уже въ зависимости отъ того, подъ какимъ угломъ находится критическій взглядъ. Возмущенное чувство, подъ первымъ же впечатлѣніемъ, обороняется радикальнымъ отрицаніемъ. Есть что-то трогательное въ этомъ первомъ волненіи революціоннаго духа, въ краткій періодъ его дѣвственности, когда онъ безусловно искрененъ и безкорыстенъ; это прекращается съ первыми удачами, когда революціонеръ, въ свою очередь, вступаетъ въ заколдованный кругъ условной лжи, къ которой онъ постепенно привыкаетъ и съ которой онъ послѣ окончательной побѣды, силою обстоятельствъ, прочно и такъ же легко сживается, какъ и его побѣжденные предшественники. Въ настоящее время Россія переживаетъ тотъ идеалистическій фазисъ, когда у насъ апплодировали Бомарше, съ той разницей, что нашъ Фигаро

зажигалъ сердце веселыми шутками, между тѣмъ какъ босяки Максима „горькаго“ подстрекають другъ друга къ протесту заунывными пѣснями и унылыми образами,—но въ этомъ скаывается лишь племенное различіе между Россіей и Франціей.

Снова приходится сравнить съ серьезной болтовней малыхъ ребятъ важное пустословіе героевъ Горькаго и не менѣе важное обсужденіе публикой и критикой идей этого писателя. Громадное большинство его читателей болѣе интересуется его направлениемъ, чѣмъ талантомъ. Общественные вопросы настолько наболѣли, что вовсе нѣтъ, или очень мало остается мѣста наслажденіямъ искусствомъ; они такъ увлечены предметомъ, что наслаждаются тѣми самыми длиннотами, которыя насъ оттапливаютъ. Я уже рассказывалъ исторію того изобрѣтателя, русскаго мужика, который выставялъ у насъ въ 1899 году различные замысловатые снаряды; было нѣчто гениальное въ его изобрѣтеніяхъ и въ его вполне самостоятельномъ способѣ ихъ примѣненія; къ сожалѣнію, эти приборы, коими онъ наслаждался, были лишь неуклюжими первобытными подобіями уже давно изобрѣтенныхъ въ другихъ мѣстахъ и усовершенствованныхъ по мѣрѣ развитія промышленности, машинъ. То же можно сказать относительно русскихъ романовъ и ихъ читателей; они наивно сызнова принимаются за старья, временно (по крайней мѣрѣ практически) уже разрѣшенные человѣчествомъ, задачи; они снова продѣлываютъ старья исчисленія геометровъ, когда тѣ доискивались квадратуры круга. Сперва мы надъ этимъ смѣемся, но потомъ и заинтересовываемся, когда въ дѣло вступаетъ такая величина, какъ Толстой, съ обычной смѣлостью принимающійся интегрировать воображаемыя величины. Эти бѣдовыя дѣти напоминають намъ о томъ, что наши рѣшенія, даже наиболѣе распространенныя, все-таки временныя. Старикъ улыбается дѣтскому вопросу, на который онъ не находитъ отвѣта,—но продолжаетъ мечтать о немъ.

IV.

Каково въ настоящее время общественное значеніе Горькаго? Мы въ правѣ требовать отъ новатора на литературномъ поприщѣ такую же и даже большую отчетность, чѣмъ отъ банкира, ибо ему мы довѣряемъ свой интеллектъ, который онъ обязанъ обогатить. Оставляя въ сторонѣ талантъ Горькаго—онъ неоспоримъ, причемъ настолько гибокъ и силенъ, что даетъ возможность надѣяться на его возрожденіе—опредѣлить балансъ этого писателя, къ сожалѣнію, очень не трудно: онъ ничего не далъ намъ, кромѣ отрицаній, и ничего не создалъ на мѣсто грандіознаго наслѣдства мыслей и чувствъ, дарованнаго Россіи его великими предшественниками, которое онъ страстно стремится разрушить.

Въ разсказахъ Горькаго вы не найдете ни одной страницы, гдѣ, хотя бы вскользь, затрогивались вопросы нравственного или религіознаго характера. Въ былое время всякая русская книга была книгой православной, свидѣтельствующей о вѣрѣ непоколебимой, объединяющей и связывающей въ одно цѣлое весь русскій народъ. Затѣмъ появились умы, колеблющіеся, безпокойные, по все-таки еще проникнутые религіознымъ духомъ.

Всѣ произведенія Толстого не что иное, какъ большой вопросительный знакъ передъ тайнствомъ вселенной, тщательное изслѣдованіе главныхъ потребностей человѣка. Припомните только мысли князя Андрея подъ Аустерлицемъ. Безуховъ и Левинъ тоже доискивались смысла жизни, но они это дѣлали съ постоянною заботой о своемъ нравственномъ усовершенствованіи.. Опрощаясь, они стремились лишь къ осуществленію толкованія Евангелія въ духѣ Толстого. Тургеневъ уже прислушивался къ народу и далъ его изображеніе, облагороженное трогательными добродѣтелями терпѣнія и самоотверженности; своимъ перомъ онъ распилилъ тѣ кандалы, которыя заковали русскій народъ въ рабство. Достоевскій зажегъ всю Россію жгучимъ дуновеніемъ любви и братства: господству-

щее чувство во всѣхъ его произведеніяхъ — милосердіе. Онъ велъ знакомство съ „босиками“ такъ же усердно и гораздо раньше Горькаго какъ и онъ знавалъ ихъ даже на каторгѣ, гдѣ они читали Евангеліе.

Пьяница Мармеладовъ и Соня изъ „Преступленіе и наказаніе“ проложили дорогу пьянчугамъ и проституткамъ, которые кишатъ въ его „Разсказахъ“; но какъ отличаются они отъ этихъ послѣднихъ смиреніемъ, кротостью, сокрытой душевной красотой. Какъ ни поднимали на смѣхъ „религію челоувѣческихъ страданій“, по крайней мѣрѣ, она возбуждала лишь хорошіе инстинкты.

Горькій переноситъ насъ въ другую Россію: болѣе сухую, болѣе обособленную, цѣликомъ опустившуюся на землю. Повидимому, онъ не придаетъ никакого значенія тѣмъ чувствамъ, которые волновали умы „людей сороковыхъ годовъ“. Въ своихъ произведеніяхъ онъ умышленно умалчиваетъ о выдающемся до сихъ поръ значеніи православія; если онъ кое-гдѣ, мѣстами, и упоминаетъ о немъ, то производитъ такое впечатлѣніе, словно роется въ старомъ хламѣ, чтобы найти подходящую рамку для своихъ портретовъ стародавнихъ купцовъ. Въ длинныхъ рѣчахъ, коими его герои облачаютъ свои мысли, нѣтъ и слѣда того мистицизма, который до сихъ поръ волнуетъ русскій народъ и составляетъ глубокій источникъ, откуда вытекаетъ такое количество разнородныхъ теченій. Это явленіе, столь частое и значительное въ жизни русскаго народа, указывается всего одинъ разъ, и то вскользь, нѣсколькими словами набожнаго странника Фомѣ Гордѣеву, который, впрочемъ, пропускаетъ ихъ мимо ушей. Агнцы Достоевскаго у Горькаго превращаются въ волчатъ: у нихъ порывы милосердія и братской любви проявляются лишь постольку, поскольку они необходимы, чтобы отличить ихъ отъ животныхъ, съ которыми у нихъ такъ много общихъ чертъ, но которыя повинуются однимъ лишь своимъ инстинктамъ; большею частью они ожесточаются, дичаютъ въ погонѣ за личной выгодой или удовлетвореніемъ физической страсти, утрачиваютъ всякую связь съ обществомъ. Бѣшенный индивидуализмъ, мучимый чув-

ствомъ неудовлетворенности, ищущій пріятныхъ ощущеній въ матеріальныхъ наслажденіяхъ; очень неопредѣленное стремленіе къ болѣе высокимъ идеаламъ, къ развитію тщеславной силы, направленной къ великимъ, хотя и неопредѣленнымъ, дѣламъ—таково послѣднее слово ученія Горькаго.

Я не упускаю изъ вида то обстоятельство, что Горькій „разоблачаетъ“ и, рисуя столь ужасную картину современнаго общества, желаетъ подстрекнуть людей отважныхъ на полное его разрушеніе; но мы у него нигдѣ не находимъ даже намека на тотъ идеаль, по которому онъ рассчитываетъ его пересоздать. Напротивъ того, Горькій объявляетъ, что лишентъ ума созидательнаго, о которомъ такъ охотно разсуждаютъ его философы-босяки. Царство права, о которомъ онъ мечтаетъ, есть нѣчто иное, нежели царство права кулака. Его откровенныя симпатіи указываютъ на то, что какъ бы свѣтъ ни измѣнился, онъ всегда будутъ принадлежать прекрасному бандиту, стоящему внѣ его законовъ и поражающему болѣе слабыхъ.

Это отступленіе. Горькій дѣлаетъ шагъ назадъ за своими непосредственными предшественниками и возвращается къ аристократическому идеалу романтизма, который онъ лишь демократизируетъ. Герои изъ дворянскаго сословія, описанные Пушкинымъ и Лермонтовымъ, страдали той же неудовлетворенностью жизнью въ петербургскихъ салонахъ, гдѣ они заявляли свой „протестъ“ противъ великосвѣтской пустоты и плоскости; эти одинокіе, непонятые люди, томившіеся героической тоской, искали по бѣлу-свѣту самостоятельности, приключеній и освобожденія отъ узъ условнаго жизненнаго кодекса. Онѣгинъ и Печоринъ вновь оживаютъ въ лицѣ своихъ плебейскихъ правнуковъ: въ Челкашѣ, Сережкѣ, Коноваловѣ. Они утратили врожденное изящество, обмѣняли Байроновскій плащъ на красную національную косоворотку, ходятъ босые, говорятъ народнымъ говоромъ, пьютъ водку вмѣсто шампанскаго; но это все тѣ же люди, возвращающіеся къ намъ изъ низшихъ слоевъ общества съ той же искалѣченной, истерзанной душой. Салонный „левъ“ романтизма остался тѣмъ, чѣмъ онъ всегда былъ: молодымъ себялюбивымъ, высокомернымъ, разнузданнымъ жи-

вотнымъ, какимъ нашъ разумъ себѣ его представляетъ въ дѣйствительности, помимо обаятельной призмы литературныхъ чаръ.

О, какъ узокъ по времени эволюціонный циклъ нашихъ алчущихъ обновленія умовъ! Узокъ по времени и пространству. Я настаиваю на возрожденіи плохо замаскированнаго романтизма, потому что это явленіе, не ограничиваясь Горькимъ, выйдя за предѣлы Россіи, является господствующимъ во всей Европѣ, характеризуя писателей, пользующихся наибольшей популярностью среди молодого поколѣнія.

Удивительное открытіе электротехники, телеграфа безъ проводовъ, безгранично расширило нашъ кругозоръ. Такая же таинственная передача, повидимому, существуетъ и въ мірѣ интеллекта. И тамъ также внезапно, безъ видимыхъ путево-дителей, устанавливаются сношенія между отдаленными другъ отъ друга, выработавшимися подъ вліяніемъ разнородныхъ культуръ, умами, дающихъ одновременно одинаковый отзвукъ. Сравните мысленно трехъ писателей,—людей воображенія, которыхъ мы въ правѣ считать представителями извѣстнаго направления въ литературѣ, ибо каждый изъ нихъ въ своей странѣ пользуется наибольшимъ успѣхомъ и наибольшей популярностью среди молодежи и, слѣдовательно, ихъ произведенія являются выраженіемъ и поощреніемъ тенденцій, проявившихся инымъ путемъ въ соціальной эволюціи страны. Россія дала намъ Максима Горькаго; Италія—Габріэля д'Анунціо; современная Англія—Риджарда Киплинга.

Первый изъ нихъ живетъ на Волгѣ, урывками самъ себя образовалъ, не имѣлъ никакихъ сношеній съ иностранной литературой и можно сказать съ увѣренностью, и страницы не прочелъ изъ произведеній тѣхъ двухъ. Англичанинъ, воспитанный въ Индіи, не только строчки не прочелъ русскаго писателя, но я даже сомнѣваюсь, освѣдомленъ ли онъ объ итальянцѣ. Что же касается этого послѣдняго, то онъ началъ писать до того, какъ познакомился съ произведеніями Киплинга; а если имя Горькаго и дошло до него, то очень недавно. Изъ всѣхъ нихъ онъ, вѣроятно, единственный, который читалъ Ницше—ихъ общаго духовнаго отца. Тѣмъ не менѣе, у этихъ



трехъ рассказчиковъ много общихъ чертъ, которыя и придаютъ имъ семейное сходство, заключающееся въ романтизмъ. Всѣ они романтики по лиризму, по тому специфическому волненію, которое ихъ охватываетъ передъ картинами природы, по стремленію ко всему экзотическому, оригинальному, но въ особенностяхъ по концепціи человѣка и его судьбы, по культу индивидуализма, физической силы, страстей и, если быть откровеннымъ, по безнравственности.

Между нѣкоторыми рассказами Горькаго и повѣстями Киплинга существуетъ какое-то кровное родство. Тѣ изъ дѣйствующихъ лицъ, на сторонѣ которыхъ вы чувствуете симпатіи авторовъ, руководятся одинаковыми необузданными и грубыми инстинктами; они обуреваемы той же страстью странствовать по бѣлу-свѣту безъ опредѣленной цѣли и тѣмъ же грубо-честолюбивымъ стремленіемъ побѣдить вселенную; они одинаково презираютъ всѣ законы этики, которую предоставляютъ цивилизованнымъ старцамъ. Д'Анунціо менѣе демократиченъ; вмѣстѣ съ чистотой крови, онъ унаслѣдовалъ отъ Борджіа и ихъ порочную энергію; тѣмъ не менѣе, онъ могъ бы подписаться подъ нѣкоторыми описаніями Горькаго, подъ его выходками противъ буржуазности общества, подъ цѣлымъ рядомъ фразъ относительно потребности человѣка жить „въ красотѣ“. Въ „Самарскомъ Листкѣ“ 1895 г. есть одна статья Горькаго, о которой положительно можно было бы подумать, что она продиктована ему итальянскимъ писателемъ, имя котораго онъ въ то время, по всей вѣроятности, даже и не слыхивалъ.

Расширить кругъ такихъ объединеній очень немудрено; сюда возможно еще зачислить изъ нѣмецкой литературы Гауптмана; а Сенкевичъ, не есть ли онъ А. Дюма новаго романтизма?

О Франціи я не говорю. Ея литературная мастерская такъ обширна и такъ переполнена, разнообразіе ученій и формъ искусства находятъ себѣ такихъ ярыхъ и умѣлыхъ защитниковъ, что трудно рѣшить, которые изъ нихъ являются лучшими представителями націонализма, если таковой во Франціи вообще существуетъ; французамъ трудно рѣшить этотъ вопросъ.

Къ тому же нужно избѣгать слишкомъ большихъ обобщеній—они часто бываютъ произвольными. Я выбралъ въ трехъ конечныхъ пунктахъ Европы трехъ видныхъ писателей, съ литературой которыхъ я близко знакомъ: само собою разумѣется, что столь яркіе таланты не могутъ имѣть однородную физиономію, но нельзя не согласиться съ тѣмъ, что всѣ трое въ унисонъ прославляютъ одинъ и тотъ же типъ—молодого варвара.

Это сверженіе съ трудомъ создапнаго моралистами предшествующаго вѣка идеала. Бѣдное ХІХ столѣтіе! Оно ласкало себя надеждой, что поработало для усовершенствованія культуры; воображало себѣ, умирая, что оставляетъ ее болѣе рациональной, болѣе вроткой, болѣе защитницей слабыхъ. Но практическіе уроки его дѣятелей затмили ученіе доктринеровъ. Грядущія поколѣнія неохотно читаютъ и плохо усваиваютъ гуманитарныя сочиненія; они предпочитаютъ разглядывать картинки внѣ текста: заманчивые, смѣлые, честолюбивые образы великихъ революціонеровъ, народныхъ вождей, жестокихъ мѣсителей живого тѣста, каковыми были, напр., Наполеонъ и Бисмаркъ. Эти два представителя кулачной силы до сихъ поръ не утратили своего престижа; внушеніе, произведенное ихъ примѣромъ, дѣйствительнѣе доводовъ всѣхъ въ мірѣ идеалоговъ. Обаяніе перваго изъ нихъ сильно отразилось на древнемъ романтизмѣ: представители его, сгорая желаніемъ дорасти до него, невольно заражались его театральностью,—отсюда ихъ высокопарный, напыщенный складъ ума. Второй, болѣе реалистъ, имѣлъ своихъ подражателей, болѣе или менѣе открытыхъ, между людьми, управляющими дѣлами міра. Успѣхъ подобныхъ людей одинаково вліяетъ какъ на чело-вѣка воображенія, такъ и на философа; такіе образцовые удачники косвеннымъ путемъ дѣлаются настоящими властелинами мысли и слова.

Представители новаго романтизма уже не имѣютъ ни тѣхъ иллюзій ни той наивности, которыя характеризуютъ ихъ старшихъ собратьевъ. Тѣ тѣшили себя пустыми словами и воображали что достигали высокихъ цѣлей, когда имъ удавалось удовлетворить вожделеніе чувствъ или фантазін возмущившейся

спеси. Ихъ преемники, насыщенные наукой, тонкіе аналитики, ни на минуту не упускаютъ изъ виду какъ конечную цѣль, такъ и причину своихъ дѣйствій. Властолюбцы или революціонеры, а большею частью и то и другое вмѣстѣ, они прехладнокровно истолковываютъ древнее „*raucis humanum, vivit genus*“ латинскаго поэта, заявляя что „слабые“, величина, которая не принимается во вниманіе, а создана для того, чтобы служить великимъ дѣламъ „сильныхъ“ при чемъ приводятъ вѣрные на первый взглядъ аргументы къ трагичному конфликту, разъединяющему умы.—Лишь отсталые философы трактуютъ о правѣ, нравственности, альтруизмѣ, солидарности и интересахъ культуры...—Новые теоретики противопоставляютъ этому интересы расы. Развѣ вы не видите, что раса чахнетъ, воля слабѣетъ, а вмѣстѣ съ нею и жизненные силы? Единственное средство противъ такого недуга—дѣйствіе; а энергичное дѣйствіе почти всегда импульсивное, безнравственное. Развѣ вы не знаете, что великія дѣла производятся великими людьми и что у такихъ людей не спрашиваютъ, какими средствами они свершали ихъ?

Этимъ удалцамъ тѣмъ легче одержать побѣду, что они проповѣдуютъ борьбу врожденныхъ инстинктовъ съ искусственными, недавно созданными, и самнительной стойкости преградами а иногда и съ пустыми словами—пугалами для воробьевъ. Мудрецы XIX вѣка часто созидали на шаткомъ фундаментѣ, на принципахъ провозглашенныхъ ими бессмертными потому только, что они видѣли въ нихъ личную для себя выгоду.

Герои Библии и Горькаго здоровые малые—берущіеся безъ разбора за всякое дѣло, гдѣ требуется быстрота и натискъ, будь то имперіализмъ или революція; однимъ пинкомъ ноги они, издѣваясь, сбрасываютъ сооруженія мудрыхъ доктринеровъ.—Назадъ, отжившіе люди! Отнынѣ міръ принадлежитъ намъ! Мы завладѣемъ имъ такъ же, какъ и вы это сдѣлали прежде. И между нами найдутся свои Дантоны и Робеспьеры, пожалуй даже Наполеоны и Бисмарки: почему бы имъ, въ свою очередь; не стать учредителями права на землѣ?—Смотрите выше, теорію Маякина.

Такимъ образомъ, у заката столѣтія столь гордаго пролитымъ имъ свѣтомъ, въ минуту смерти, когда оно готовится оставить людямъ завѣтъ братской любви и единенія, внезапно подымается и высоко кружится въ сумрачномъ небѣ стая молодыхъ ястребовъ; ихъ рѣзкіе крики покрываютъ умиротворяющіе слова умирающаго; ихъ когти готовы разорвать на части всякую добычу; они призываютъ ураганы, чтобы испробовать свои крылья. На литературномъ небѣ они заглушили всѣ остальные звуки и взоры всѣхъ съ тревожной надеждой обращены къ нимъ. Они вѣдь утверждаютъ, что открыли жизненную тайну и что она заключается въ силѣ. Человѣчество убѣждается въ томъ, что старые просвѣтителіи его обезсилили, оно возмущается своей слабостью и идетъ на новую приманку.

Умы уравновѣшанные или считающіе себя таковыми говорятъ, что это мечты поэтовъ, безъ ощутительныхъ послѣдствій на ходъ событій. Возможно, но въ такомъ случаѣ это будетъ впервые, что многочисленные писатели, къ которымъ прислушиваются и которые воспѣваютъ въ униссонъ живучее чувство, не повліяютъ на социальную эволюцію и конкретные факты, которые ее выясняютъ.

Въ Россіи Максимъ Горькій одинъ изъ главарей и самый яркій представитель столь распространеннаго міровоззрѣнія. Мнѣ казалось, что такое положеніе молодого писателя заслуживаетъ серьезнаго къ нему отношенія и тщательнаго изученія его произведеній. Быть можетъ, я поддался обаянію таланта, которому такъ трудно противостоять, и впалъ въ самообманъ? Я бы даже не сожалѣлъ объ этомъ, наилучшемъ изъ обмановъ. Я приступилъ къ этой работѣ безъ всякой предвзятой мысли, подаваясь душевному волненію, порожденному искусствомъ рассказчика, реагируя противъ него когда разумъ повелѣвалъ мнѣ критически отнестись къ испытываемому мной удовольствію. Это удовольствіе было бы еще сильнѣе, еслибъ писатель своимъ дѣланнымъ пессимизмомъ не затемнилъ впечатлѣніе, которое я сохранилъ о Россіи и о русскихъ.

Въ рассказѣ „Тоска“ мельникъ со слѣдующими словами, обращается къ своему засыпкѣ такому же бродягѣ какъ и всѣ

остальные, задумавшему бросить мельницу, потому что его влечетъ въ даль, къ приключеніямъ, на свободу...

— „Ты, Кузьма... какъ пузырь.—Вотъ Митька у меня пускаетъ: надуеъ его на соломенку, а онъ весь этакій—радугой играетъ и летитъ, полетитъ и лопнетъ („Тоска“, стр. 284).

Горькій желаетъ убѣдить насъ въ томъ, что самъ онъ, его мысли, тѣ люди, о которыхъ онъ говоритъ, и тѣ, которые его слушаютъ, ни что иное какъ пузыри, наполненные газомъ, поднимающіеся на поверхность стоячаго болота, на которомъ стоитъ русскій боръ, и тысячами лопающіеся тамъ. То зловонныя испаренія застоявшейся, сдавленной торфомъ, воды, зараженной вѣковымъ разложеніемъ жизни въ своихъ глубинахъ. Но я не вѣрю ему и не переменяю своихъ убѣжденій, явись онъ величайшимъ представителемъ цѣлаго легіона своихъ собратьевъ и всѣхъ подкупленныхъ его дарованіемъ умовъ. Если русскіе писатели, даже второстепенные, такъ сильно возбуждаютъ нашъ интересъ, это объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что они ярче и вѣрнѣ другихъ опредѣляютъ душевное настроеніе большаго количества людей.

Въ этой коллективной, пока еще мало дифференцированной части рода человѣческаго хорошо освѣщенный пузырь отсвѣчиваетъ образы многихъ другихъ. Но тотъ, о которомъ мы говоримъ, раскрашенъ яркими красками, Господь создалъ его въ порывѣ щедрости, пожелаемъ ему жить, расти и разрастаться. Горькій долженъ выше подняться, если онъ хочетъ получить наслѣдство, оставленное ему его великими предшественниками.

Въ моемъ воображеніи рисуется Левъ Толстой, передающій Максиму Горькому знамя русской литературы съ тѣми прекрасными словами, съ коими въ свое время онъ принялъ его отъ умирающаго И. С. Тургенева:—„Другъ мой, вѣдь этотъ даръ вашъ оттуда, откуда все другое“ (Первое собраніе писемъ И. С. Тургенева. Письмо къ Л. Н. Толстому № 488. Стр. 550). Или Россія сильно измѣнилась, или Горькому приходится порой услышать отъ самыхъ своихъ ярыхъ поклонниковъ предложеніе Коновалова: „Максимъ, давай въ небо смотрѣть!“.

---

## **Пѣвецъ босяковъ и воровъ**

**Максимъ Горькій.**

(Статья М. Савичъ въ „La Revue“, 15 октября 1901 г.).\*)

### **I.**

Алексѣй Максимовичъ Пѣшковъ еще молодъ; кажется, ему всего тридцать три года. Когда-то никому неизвѣстный, а нынѣ прославившійся на всю Европу, онъ при своемъ рожденіи получилъ въ даръ отъ окружавшихъ его колыбель волшебницъ столь блестящіе дары, что они должны были уже въ силу своей необычности создать ему жизнь, преисполненную необыкновенными радостями, но и изъ ряду вонъ выходящими страданіями. Если злыя волшебницы и усѣяли вначалѣ его путь разными несчастіями, зато добрыя готовили ему въ будущемъ сильнѣйшее, опьяняющее наслажденіе популярности и успѣха.

Въ общемъ же судьба оказалась къ нему весьма благосклонной. Не щадя его въ возрастѣ, когда испытанія переносятся сравнительно легко, когда и нравственные язвы въ молодомъ и сильномъ духомъ человѣкѣ заживаютъ, не оставляя слѣда,—она потомъ буквально усѣяла его путь столь великими удачами, оцѣнить которыя способенъ лишь человѣкъ зрѣлаго разсудка. Пѣшковъ испыталъ на себѣ головокружительное счастье внезапныхъ и неожиданныхъ перемѣнъ судьбы и, что очень хорошо, перемѣнъ къ лучшему. Есть люди, родившіеся среди богатства, съ самаго рожденія окруженные всѣмъ, чего только можно желать, и которымъ потомъ приходится пасть такъ низ-

---

\*) Въ нѣсколько сокращенномъ видѣ.

ко, что остатокъ дней своихъ они проводятъ въ прихожихъ сильныхъ міра сего или же гдѣ-нибудь подъ заборомъ; есть и такіе, которыхъ слава возносила чуть ли не къ небесамъ, а умирали они всѣми забытые, презираемые и осмѣянные. Пѣшковъ же испыталъ измѣнчивость капризной судьбы въ обратномъ смыслѣ: въ первые года своей жизни онъ позналъ всѣ превратности и лишенія, какимъ только можетъ подвергнуться одинокій ребенокъ; нѣсколько позднѣе, попеременно былъ носильщикомъ, выгрузчикомъ, истопникомъ, почти всегда голодалъ, ночевалъ во рвахъ и подъ мостами, а потомъ вдругъ, почти безъ всякаго перехода, прославился и сдѣлался знаменитымъ писателемъ, которому удивляется вся Европа и котораго повидимому, уже начинаетъ тяготить собственная слава; по крайней мѣрѣ, недавно онъ въ крохотной статейкѣ, по характеру похожей на памфлетъ, какъ будто съ пренебреженіемъ старается отбросить отъ себя эту слишкомъ уже громкую славу. Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, онъ совершенно напрасно выбралъ для себя псевдонимъ Горькаго. Въ русской литературѣ достаточно писателей, имѣющихъ право на этотъ эпитетъ. Но единственному изъ нихъ, воспользовавшемуся имъ, слѣдовало бы скорѣе называться „счастливымъ“.

Да и характеръ Пѣшкова не болѣе жизни гармонируетъ съ его псевдонимомъ. Если онъ и несчастливецъ, то несчастливецъ сопротивляющійся, не поддающійся несчастію, не покоряющійся ему; онъ громогласно проповѣдуетъ бодрость, энергію, борьбу и возмущеніе.

Уже его первое произведеніе „Челкашъ“ какъ нельзя болѣе ясно доказываетъ, что взгляды Горькаго на современное общество далеко не изъ благодушныхъ.

Рабочіе, нагружающіе хлѣбомъ пароходъ, вызываютъ у него слѣдующее поразительное замѣчаніе: „До слезъ смѣшны были длинныя вереницы грузчиковъ, носившихъ на плечахъ своихъ тысячи пудовъ хлѣба въ желѣзные животы судовъ для того, чтобы заработать нѣсколько фунтовъ того же хлѣба для своего желудка“. Ясно, какое заключеніе можно вывести изъ этого замѣчанія, обладая хотя крупицей логики.

Что касается самого Челкаша, то его, повидимому, не слишком-то поражают грубыя противорѣчія современнаго общественнаго строя; онъ не теоретикъ. Какъ человекъ рѣшительный, большую часть своей жизни—ночной, по преимуществу—онъ проводитъ за разрѣшеніемъ этихъ вопросовъ на практикѣ. Какъ только спускается ночь, онъ садится въ лодку и осторожно скользитъ въ ней вдоль влажныхъ стѣнъ мола, тихо выплываетъ изъ бухты и направляется къ товарнымъ складамъ. Перебравшись тамъ черезъ стѣну, онъ забираетъ одинъ или два тюка шелку или какого-нибудь другого товару и отправляется на розыски „дружка“, который заплатилъ бы ему за него чистоганчикомъ. Такимъ способомъ онъ улучшаетъ и исправляетъ ошибки соціальнаго строя.

Воръ ли онъ? И да, и нѣтъ. Да, потому что попадись онъ въ руки правосудія, то былъ бы приговоренъ къ тюремному заключенію. Нѣтъ, потому что, читая это произведеніе, невозможно отнестись къ Челкашу какъ къ обыденному вору. Прежде всего, онъ не жаденъ до наживы, во всякомъ случаѣ, гораздо менѣе, нежели молодой парень, только что явившійся изъ деревни и помогающій ему въ его предпріятіи. Опасность, которой оба они подвергаются при этомъ, приводитъ парня въ ужасъ; смѣлость, ловкость и сила, которой такъ и дышетъ полная энергіи и любви къ приключеніямъ личность Челкаша, въ одно и то же время увлекаютъ его и подавляютъ. Сначала сорокъ рублей, полученные имъ въ награду за помощь, ослѣпляютъ его, но тотчасъ же вслѣдъ за этимъ его охватываетъ чувство зависти, такъ какъ на долю хозяина приходится цѣлыхъ пять сотенныхъ. Сообразивъ, что ему никогда въ жизни не заработать въ одну ночь такой значительной суммы, парень бросается передъ Челкашемъ на колѣни и со слезами умоляетъ подарить ему эти столь желанные 500 рублей, которые дали бы ему возможность вернуться въ деревню и зажить исправнымъ крестьяниномъ. При видѣ этихъ слезъ и подобнаго униженія изъ-за денегъ, Челкаша охватываетъ чувство гадливости, пересиливающее даже удивленіе, и онъ, швырнувъ парню въ лицо всѣ деньги, уходитъ.



Что же! онъ даромъ рискнулъ собою въ эту ночь, только и всего. Эту черту—презрѣніе къ деньгамъ и особенно къ тѣмъ, кто ихъ жаждетъ, никакъ нельзя считать чертой, присущей вору, а скорѣе натурѣ артистической. А потому Челкашъ—портовой рабочій днемъ, и воръ ночью—внушаетъ читателю почти что симпатію.

Но Горькій вовсе и не добивается этого. Симпатиченъ или антипатиченъ его Челкашъ читателю,—ему вполне безразлично. Къ тому же онъ прекрасно сознаетъ, что, что бы онъ ни дѣлалъ и какъ бы велико ни было его искусство, ему все же не удастся окончательно скрыть черты Челкаша-вора за чертами Челкаша-артиста. И онъ не стремится обѣлять своего героя. Онъ желаетъ только крикнуть прямо въ лицо всемогущему современному общественному строю, что онъ смѣется надъ нимъ и его могуществомъ, презираетъ его, якобы, святая учрежденія, начиная съ собственности.

## II.

У Горькаго огромный талантъ. И, напр., уже упомянутый выше рассказъ „Челкашъ“, за исключеніемъ нѣсколькихъ незначительныхъ промаховъ, такъ полонъ жизни, движенія, силы, что можетъ считаться безусловно образцовымъ. То же самое приходится сказать про большинство произведеній этого замѣчательнаго художника. Но даже критику, наиболѣе склонному ограничиться при разборѣ его произведеній лишь ихъ художественными достоинствами, немислимо не коснуться другой ихъ стороны. Происходить это отъ того, что рассказы Горькаго волей-неволей захватываютъ и производятъ весьма сильное впечатлѣніе на читателя какъ разъ своей этической стороной. Это только доказываетъ, что мы имѣемъ дѣло съ истиннымъ художникомъ. Благодаря этому качеству, Горькому прощаютъ часто довольно грубые промахи, происходящіе отъ того, что онъ, вслѣдствіе нетерпѣнія или неопытности, не можетъ или не хочетъ подчинить необузданный свой талантъ разсудку, а, наоборотъ, послѣдній подчиняетъ силѣ перваго.

То, что болѣе всего поражаетъ въ Горькомъ и что прежде всего съ поразительною ясностью бросается намъ въ глаза при чтеніи его произведеній, это своеобразная философія той жизни, которую онъ наблюдаетъ. Она резюмируется довольно точно въ знаменитыхъ словахъ: „Есть что-то испорченное въ Датскомъ королевствѣ“.

Казалось бы, что на такомъ необозримомъ пространствѣ, какъ Россія, хватить солнца и мѣста для всѣхъ; борьба за существованіе тамъ не должна бы была обостриться до такой степени и принять столь тяжелыя формы, какъ въ другихъ странахъ. Слѣдовательно, въ этой странѣ каждому должно было бы быть обезпечено, по крайней мѣрѣ, самое необходимое для существованія.

Но это далеко не такъ; много есть тамъ людей, которые не только не имѣютъ хлѣба, но даже и крова. И если эти люди дюжинами не ютятся въ подвалахъ, не заслуживающихъ даже подобнаго названія, какъ напр. „бывшіе люди“, то отправляются странствовать по тропамъ и дорогамъ своей мачехи родины, по ея лѣсамъ, степямъ, побережьямъ, работая, когда есть работа, а когда нѣтъ ея, то обирая перепуганныхъ, или черезчуръ довѣрчивыхъ горожанъ и крестьянъ.

Всѣ бывшіе люди когда-то занимали извѣстное общественное положеніе, какимъ же образомъ они дошли до такого паденія? Какимъ путемъ дошли до той нищеты, которую одни изъ нихъ переносятъ довольно равнодушно, а иные даже съ юморомъ? Повидимому Горькій желаетъ доказать въ „бывшихъ людяхъ“ на примѣрѣ отставного капитана, отчаяннаго пьяницы, какъ и всѣ его жильцы, хотя и честнаго человѣка, и на примѣрѣ учителя, что люди съ извѣстнымъ умственнымъ и нравственнымъ развитіемъ, но не умѣющие приспособиться къ борьбѣ за существованіе, благодаря правительственнымъ распоряженіямъ, отношенію начальства или другимъ какимъ либо обстоятельствамъ, выбрасываются за границы правильно организованнаго общества и такимъ образомъ лишаются всякой возможности сократить или создать себѣ какое бы то ни было общественное положеніе. Мы нашли бы это объясненіе не ли-

шеннымъ нѣкотораго основанія, еслибы въ притонѣ капитан находились исключительно интеллигенты. Но тамъ мы встрѣчаемъ и другихъ неудачниковъ, людей темныхъ и простыхъ, которые такъ же влечать изо дня въ день свое необезпеченное существованіе и это, повторяемъ, въ странѣ, которая легко могла бы пропитать въдесятеро болѣе многочисленное населеніе, нежели то которое теперь въ ней находится. Не будемъ же доискиваться причинъ этого явленія—достаточно констатировать самый фактъ. Очевидно, что что-то не въ порядкѣ въ царствѣ русскомъ!

Большинство героевъ Горькаго, ведутъ ли они жизнь осѣдлую или бродячую, все равно находятся въ открытой оппозиціи къ обществу. Ненависть, которую они питаютъ къ нему, никогда не доходитъ до открытаго возмущенія, но никогда такъ же не затихаетъ. Къ тому же она относится не только къ правительственнымъ чиновникамъ и богатымъ, но такое же презрѣніе они чувствуютъ и къ крестьянамъ, у которыхъ также имѣется свой собственный кровъ, жена, дѣти, а на столѣ ежедневно появляется какая бы то ни было, а все же пища. Словомъ, все что подчинено извѣстному порядку, всѣ чья жизнь такъ или иначе обезпечена, считаются этими подонками городского общества, а также и бродягами, своими существенными врагами. Изъ этого ясно, что когда боснякамъ Горькаго случается сталкиваться съ общепринятымъ ученіемъ о нравственности, послѣднему не мало достается.

Двое дѣйствующихъ лицъ въ разсказѣ „Дружки“ настолько правильно живутъ кражей, насколько имъ это позволяетъ неосторожность крестьянъ и ихъ собственная осторожность. Прочтя эту чудную вещь, вы врядъ ли найдете возможнымъ что-либо возразить противъ подобнаго способа существованія. И то правда, обкрадывали-то они вѣдь не васъ.

Въ другомъ разсказѣ, лучшемъ по моему мнѣнію изъ всего написаннаго Горькимъ, подъ которымъ не отказался бы подписаться даже Мопассанъ, авторъ выводитъ проголодавшагося молодого человѣка. Давно уже мучаясь отъ голода, въ промежуткахъ между желудочными судорогами, онъ съ юморомъ

сравниваетъ свое матеріальное, а въ настоящій моментъ чисто желудочное убожество съ умственными богатствами, которыми изобилуетъ его мозгъ; въ головѣ у него то вереницей проносятся мысли и образы, вычитанные изъ книгъ, то возникаютъ проекты книгъ, имѣющихъ быть написанными. Дойдя до какого то базарнаго сарая, запертаго на замокъ, нашъ голодный герой дѣлаетъ предположеніе, что, быть можетъ, въ немъ найдется что нибудь съѣдобное. Что же ему дѣлать? Пройти своей дорогой, бросивъ жадный взглядъ на сарай? Нѣтъ! Удачнымъ движеніемъ онъ сбиваетъ замокъ и дѣйствительно находитъ въ сараѣ чѣмъ утолить голодъ. Фикте нашелъ бы, что онъ правъ. Маньѣ, предсѣдатель суда, оправдалъ бы его; вы, читатель, вѣроятно тоже, будь вы судьей, я также. Но этика нашего общества не считаетъ своей обязанностью примѣняться къ нашему образу мыслей. Можетъ быть благодаря этому она такъ часто и нарушается.

Есть у Горькаго еще разсказъ „Проходимецъ“. Уже само заглавіе избавляетъ меня отъ необходимости дѣлать его подробный разборъ. И въ немъ, какъ и въ предыдущихъ, несмотря на то, что цинизмъ героя—также бродяги—достигаетъ наивышей степени, какую только себѣ можно представить, чувство отвращенія и гнѣва въ насъ гораздо слабѣе, нежели было бы въ томъ случаѣ, еслибы подобный проступокъ совершилъ человѣкъ, принадлежащій правильно организованному обществу.

Отчего же это происходитъ? Неужели Горькій хотѣлъ бы прикрыть своимъ талантомъ воровъ и циниковъ съ цѣлью задѣть и осмѣять нравственные чувства ненавистнаго ему буржуазнаго строя? О, нѣтъ! Горькій, чуть-ли не сильнѣе самого этого общества, ненавидитъ преступленіе. Почему же, въ такомъ случаѣ, мы относимся къ его героямъ, даже наименѣе привлекательнымъ, со столь великимъ снисхожденіемъ? На это есть нѣсколько причинъ, и первая изъ нихъ та,—въ этомъ-то наиболѣе сильно проявляется вся оригинальность таланта Горькаго,—что во всемъ, что дѣлаютъ и говорятъ его босяки, вы чувствуете до какой степени они утомлены, разбиты и изму-

чены безконечными скитаньями по длиннымъ, труднымъ дорогамъ, тяжелыми ночевками въ холодныя ночи, утренними пробужденіями, когда дрожь пробираетъ, а въ воображеніи рисуется недоступный для нихъ домашній очагъ... вы чувствуете тоскливыя сумерки, заволакивающія ихъ мозгъ, чувствуете охватившую ихъ грусть, вызванную безконечными горизонтами, вѣчно скрывающимися и вновь нарождающимися, и вы начинаете постигать и ихъ отупѣніе, и ихъ тоску.

### III.

Кромѣ того эти босяки, бродяги и отверженцы трогаютъ насъ до глубины сердца тѣмъ нравственнымъ убожествомъ, въ которомъ они обрѣтаются. Вокругъ живетъ цѣлое общество, мужья, жены, дѣти, а между тѣмъ они обречены на страшное одиночество, абсолютную заброшенность. А что можетъ быть ужаснѣе полного одиночества!

Однажды, въ давно прошедшія времена, орелъ унесъ молодую дѣвушку. Она родила отъ него сына. Достигнувъ двадцатилѣтняго возраста, послѣдній вернулся къ людямъ и въ первый же день безумно влюбился въ дочь главы племени. Но такъ какъ отецъ не захотѣлъ отдать ее за него, то онъ и закололъ ее кинжаломъ. Къ какому же наказанію приговорили сына орла? Всего лишь къ изгнанію. Съ тѣхъ поръ онъ жилъ одинъ и это казалось ему столь невыносимымъ, что онъ вернулся къ людямъ и сталъ умолять ихъ лишить его жизни. Но никто не желалъ оказать ему этой милости и боялись подпустить его къ себѣ даже на разстояніе выстрѣла изъ лука. Такъ онъ и до сихъ поръ, погруженный въ безконечную печаль, скитается вдали отъ людей, не желающихъ его знать.

Этотъ разсказъ Горькаго поразительно ярко рисуетъ намъ нравственное состояніе людей, которыхъ обстоятельства выбросили за предѣлы общества, или „которые никогда даже и не были людьми“, такъ какъ съ самаго рожденія жили внѣ общества, въ рыбацкихъ лодкахъ и пр., ночуя подъ открытымъ небомъ, питааясь подачками или мелкимъ воровствомъ.

И вотъ, вопреки, повидимому, веселому тону повѣствованій Максима Горькаго и не смотря на слегка романтическую окраску, которую онъ даетъ своимъ героямъ, вы испытываете къ нимъ такое же глубокое и горячее сожалѣніе, которое всегда вызывали и будутъ вызывать нѣкоторыя творенія Виктора Гюго. Молодой русскій художникъ дѣйствительно умѣетъ, описывая своихъ босяковъ, воскресить въ нашей памяти трогательныя картины жизни бѣдняковъ прежнихъ временъ, и такимъ образомъ обновить традиціи добраго стараго романтизма. Если онъ не умѣетъ внушить тѣмъ, что „живутъ въ полномъ забвеніи другихъ“ свою собственную любовь къ униженнымъ, свою горячую жалость къ нимъ, и ничѣмъ неограниченное и ничѣмъ необусловленное прощеніе ихъ грѣховъ, то покрайней мѣрѣ обнаруживаетъ этимъ ихъ полное равнодушіе. Онъ какъ бы прикрываетъ этихъ несчастныхъ, ихъ жизнь и смерть, хорошія и дурныя стороны, добродѣтели и пороки, и глубину паденія могуществомъ своего *человѣчнаго* таланта и наболѣвшаго состраданія. Въ произведеніяхъ Горькаго намъ слышатся какъ бы пересказы знаменитой рѣчи лорда Кленчарми, въ палатѣ лордовъ у Виктора Гюго, въ которой этотъ голякъ-аристократъ между прочимъ говоритъ:

„На вашей сторонѣ власть, богатство, радость, неограниченный авторитетъ, безмѣрные наслажденія, полное забвеніе другихъ, для васъ на горизонтѣ вѣчно сіяетъ солнце! Пусть! Но есть нѣчто выше васъ—можетъ быть подъ вашими ногами.

„Вы—вельможи и богачи, а это опасно. Ночь благопріятствуетъ вамъ. Но берегитесь! заря могущественнѣйшаго мрака! Ее нельзя покорить, она наступитъ. Наступаетъ уже. И въ ней таится всепобѣждающій день. Кто можетъ воспрепятствовать возмущившимся возжечь солнце на небесахъ? Страшитесь! Истинный хозяинъ уже стучится въ дверь. Я пришелъ предупредить васъ, пришелъ обличить передъ вами ваше же собственное благополучіе. Оно построено на несчастіи другихъ. У васъ—все, а это все—состоитъ изъ ничего остальныхъ.

„Я открываю передъ вами великій судъ народа, этого властителя и страдальца, осужденнаго и судьи. Меня давитъ все

то, что я имѣю сказать вамъ. Съ чего начать? Не знаю. Я выбралъ изъ безконечнаго запаса страданій матеріалъ для своей несвязной защиты. Какъ же быть теперь? Онъ подавляетъ меня и я предлагаю его вамъ какъ попало.

„Я былъ въ самомъ пеклѣ. Ради какой цѣли? Чтобы видѣть жерло его. Я все испыталъ, все видѣлъ. И страданія, господи счастливы, страданія—не зло!

„Нищета—я выросъ въ ней; стужа—я дрожалъ отъ нея; голодовка—испыталъ ее; презрѣніе—подвергался ему; чума—болѣлъ ею; стыдъ—сгоралъ отъ него! И я бросаю вамъ всѣ эти бѣдствія въ лицо, пусть грязная пѣна ихъ окатитъ ваши ноги, а отраженіе вспыхнетъ яркимъ пламенемъ“.

#### IV.

Что Горькій романтикъ съ головы до ногъ—отрицать невозможно. Случается, что простые мужики употребляютъ у него такія выраженія, какимъ позавидовалъ бы любой академикъ. Въ циклѣ разсказовъ „Старухи Изергиль“ у него встрѣчается уже упомянутый выше сынъ орла; затѣмъ еще цыганъ, неописуемой красоты, убивающій ударомъ кинжала любимую дѣвушку за то, что она стремится властью любви подчинить его своему деспотизму; вслѣдъ затѣмъ онъ тотчасъ же лишаетъ себя жизни. Есть у него и герой, пламенное сердце котораго, послѣ смерти, становится звѣздой и сквозь густой мракъ и непроходимые лѣса указываетъ путь невѣжественной и неблагодарной толпѣ.

Но если Горькій, также какъ и нынѣ забытые романтики добраго стараго времени, любить переплетать реальное съ фантастическимъ, все же между ними и имъ есть существенная разница. Когда Гюго возвышалъ жалкое, падшее человеческое существо или до недосягаемой нравственной высоты, какъ напримѣръ, Жана Вальжана, или возносилъ его на такія высокія ступени соціальной лѣстницы, на которыхъ легко можетъ закружиться голова, и заставлялъ произносить громогласныя рѣчи къ великому смущенію присутствующихъ

сильныхъ міра сего, то имъ всегда руководила одна и та же цѣль: привлечь вниманіе власть имущихъ на жалкую участь и условія существованія слабѣйшихъ и разжалобить ихъ.

У Горькаго, такъ же, какъ и у Гюго, униженное человеческое существо возстаетъ противъ лести и могущества общества и противопоставляетъ ему личную смѣлость и свое отчаяніе. Но у русскаго писателя эти люди не принимаютъ грандіознаго облика Гуинплина, внезапно сдѣлавшагося перомъ Англіи, или Рюи Блаза, поднимавшагося до высоты государственнаго мужа, — его герои не возлагаютъ никакихъ надеждъ на великолѣпные монологи, потому что знаютъ, что жандармы также безжалостны, какъ безжалостенъ къ обездоленнымъ и государственный строй, породившій ихъ. Для нихъ спасеніе и возрожденіе не можетъ явиться извнѣ: оно заключено въ нихъ же самихъ и ихъ собственныхъ усиліяхъ.

Вотъ почему Горькій и цѣнитъ въ своихъ босыхъ и бродягахъ выше всего энергію и силу. И пусть она проявляется хоть въ кражѣ, какъ, напримѣръ, у Челкаша, въ убійствѣ, грабежѣ и насиліи, все равно — это сила. И сегодня она направлена на дурное, завтра можетъ быть направлена на хорошее, и съ тою же энергіей и тѣмъ же увлеченіемъ, пока, наконецъ, не нападетъ на вѣрный путь.

Само собою разумѣется, что Горькій весьма далеко отъ того, чтобы оправдывать хотя бы грубую разнузданность Гришки Орлова, который въ ожиданіи антиеврейскихъ безпорядковъ, съ часовою правильностью, еженедѣльно по субботамъ, производитъ надъ женою возмутительное насиліе; онъ до тѣхъ поръ колотитъ ее по плечамъ, спинѣ и животу, пока вся ея рубашка не пропитается кровью до самыхъ плечъ. Писатель такъ же хорошо, какъ и мы, знаетъ, что Сенька, въ рассказѣ „Мальва“, съ нравственной точки зрѣнія стоитъ немного. И если Горькій относится къ нему [съ видимой симпатіей и во всякомъ случаѣ умѣетъ возбудить ее въ читателѣ, такъ это потому, что Сенька ровно никого и ничего не боится; а это въ Россіи, странѣ только что съ неимовѣрными



усиліями начинающей освобождаться изъ-подъ тысячелѣтнаго гнёта, качество весьма почтенное.

Надо хорошенько запомнить: Горькій отнюдь не старается скрывать своихъ мыслей, такъ же какъ не желаетъ скрывать отталкивающія черты своихъ героевъ. Онъ лишь съ соціальной точки зрѣнія придаетъ имъ мало значенія. И, наоборотъ, подчеркиваетъ въ нихъ все, что когда-нибудь, въ будущемъ, можетъ создать силу полезную, а эта сила, по его мнѣнію,— энергія. И Горькій превозноситъ энергію, способность къ инициативѣ, смѣлость и презрѣніе къ опасности. Въ чудномъ стихотвореніи въ прозѣ онъ воспѣваетъ героическую смерть сокола, влюбленного въ солнце, небесную лазурь и свободу; желая подняться къ небу, онъ падаетъ и разбивается о скалу. Въ другомъ стихотвореніи, онъ привѣтствуетъ приближающуюся грозу; въ этой пѣснѣ какъ бы слышится дыханіе самой бури; словно ослѣпительныя молніи, прорѣзывающія мракъ, громко и ясно среди тучъ раздается голосъ поэта, опьяненного энтузіазмомъ.

## V.

Молодой русскій писатель совершенно основательно смотритъ на своихъ босяковъ, какъ на отбившихся солдатъ народной арміи, пока находящейся лишь въ зачаточномъ состояніи. Но наступитъ день и она станетъ всемогуща. А пока что, въ ожиданіи того дня, когда съ пользой можно будетъ примѣнить свои силы, силы еще сомнительныя, они растрачиваютъ ихъ по мелочамъ, бессмысленно и глупо. Но важно,— и это уже ясно даже изъ подобныхъ поступковъ,— что мы имѣемъ дѣло съ народомъ смѣлымъ и предприимчивымъ.

Горькій прекрасно понимаетъ и сознаетъ, что устарѣвшее русское общество, возникшее послѣ отмины крѣпостного права, формально уже не существуетъ, а новое—находится въ періодѣ возникновенія и еще не вполне опредѣлилось. Новыя соціальныя условія вызовутъ въ русскомъ пролетаріатѣ такое же самосознаніе, какое замѣчается теперь въ современной рус-

свой буржуазіи. Но пока это самосознаніе только что вырабатывается въ немъ и у Горькаго мы находимъ цѣлую серію типовъ, ищущихъ и не находящихъ примѣненія своимъ силамъ. Къ числу ихъ надо причислить Коновалова, въ разсказѣ того же названія, Пашку, въ послѣднемъ романѣ Горькаго — „Трое“ и Гришку Орлова.

Буржуазія, напротивъ, хорошо знаетъ, какимъ путемъ идти. Горькій превосходно описываетъ этотъ классъ въ своемъ главномъ романѣ — „Ома Гордѣевъ“.

Ома Гордѣевъ, обладатель большого состоянія, унаслѣдованнаго отъ отца, не знаетъ, что ему дѣлать. Онъ принадлежитъ къ категоріи людей, желающихъ, и не могущихъ какъ Коноваловъ и Пашка, проникнуть въ самую суть окружающей жизни. Ома занимается гораздо менѣе своими дѣлами, нежели рѣшеніемъ вопроса, какъ жить, чтобы быть счастливымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ полезнымъ другимъ? Разумѣется, это идетъ совершенно въ разрѣзъ съ понятіями окружающихъ, которые въ одинъ прекрасный день доводятъ его до сумасшествія и начисто обираютъ.

Въ этомъ романѣ выведено нѣсколько весьма удачныхъ типовъ современной буржуазіи. Напримѣръ, отецъ Омы, жадный до наживы и въ то же время до нѣкоторой степени не лишенный даже сентиментальности, которую передаетъ и сыну; молодой Маякинъ, когда-то принадлежавшій къ интеллигенціи и ставшій потомъ воромъ; Смолинъ, соединяющій изысканныя манеры и хорошее образованіе съ инстинктами дѣльца. Но особенно удался Горькому старикъ Маякинъ. Этотъ крупный торговецъ, обладающій весьма большимъ состояніемъ, — типъ очень любопытный. Въ то время, какъ его кумъ, сосѣдъ и другъ, Гордѣевъ отецъ, остается купцомъ стараго закала, ограничивается лишь наживой, всячески избѣгаетъ политики и гнетъ спину передъ сильными міра сего, — Маякинъ, наоборотъ, произноситъ громовыя рѣчи, въ которыхъ заявляетъ, что они, коммерсанты, ремесленники и буржуазія подняли Россію на ту высоту, на которой она находится и что они составляютъ

главный оплотъ прогресса въ странѣ, а потому и требуютъ свободы, свободы и свободы,—разумѣется, только для себя.

Когда взглянешь заразъ на всѣхъ этихъ людей, сильныхъ своими деньгами, отшлифованныхъ образованіемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ лишенныхъ всякихъ принциповъ и чувствъ, кромѣ эгоизма и корыстолюбія, то начинаешь понимать, что и тѣ, что находятся на противоположномъ полюсѣ современнаго общественнаго строя, обходятся безъ извѣстныхъ принциповъ и чувствъ, надуваютъ, воруютъ, грабятъ и убиваютъ. Очевидно, что что-то разлагается въ царствѣ Россійскомъ, но кто болѣе гниль, буржуазія или пролетаріатъ—это еще вопросъ!

Но ни тотъ, ни другая не могутъ долго оставаться господами положенія. „Истинный хозяинъ уже стучится въ дверь“,—народъ добрый, честный, здоровый. И послѣ неизбежной бури, послѣ того, какъ разсѣется мракъ, „кто можетъ воспрепятствовать зарѣ возжечь солнце на небесахъ?“

И Горькій призываетъ благотѣльную бурю, которая смела бы всю гниль, какая только есть, и непоколебимо вѣрить въ будущее.

---

## Новый русский писатель Максимъ Горькій.

---

(Статья Ивана Странника, изъ *Revue de Paris*, 15 Генв. 1901 г.).

За послѣднее столѣтіе русской литературѣ, благодаря счастливому появленію новыхъ самобытныхъ талантовъ, не разъ случалось совершенно обновляться. Въ настоящее время въ лицѣ бродяги Максима Горькаго она даетъ новое доказательство своей неистощимой жизнеспособности. Лишенный всякой систематической подготовки, онъ внезапно вторгается въ литературу и вноситъ въ нее всю свѣжесть и непосредственность своего собственного характера. Со временъ первыхъ романовъ Толстого на русскомъ литературномъ горизонтѣ не появлялось ничего столь новаго и оригинальнаго. Между его твореніями и предшествующей литературой нѣтъ преемственной связи: они являются какъ бы сами по себѣ, исключеніемъ, чудомъ. Правда, что и успѣхъ ихъ обусловливается не только ихъ художественной стороной—онъ походитъ на революцію.

---

На литературномъ поприщѣ Горькій дебютировалъ коротенькимъ рассказомъ „Макаръ Чудра“, появившемся на столбцахъ одной провинціальной газеты. Говоря по совѣсти, это произведение замѣчательно скорѣе тѣмъ, что общаетъ, нежели само по себѣ. Своимъ содержаніемъ онъ нѣсколько напоминаетъ сюжеты добраго стараго романтизма. Дѣйствіе происходитъ въ цыганскомъ таборѣ; начиная съ манеръ и рѣчей дѣйствующихъ лицъ, кончая гордостью, въ которую они драпируются словно въ мантию,—все неестественно. Очевидно, молодой писатель старался сочинить нѣчто интересное и, какъ умѣлъ, драмати-

зировавъ исторію роковой и ходульной любви своего героя. И все-таки, несмотря на это, даже въ этомъ разсказѣ уже замѣтны нѣкоторыя особенности Горькаго—страсть къ свободной жизни и безумная любовь къ музыкѣ и къ природѣ; а наиболѣе удачныя черты характера своихъ условныхъ цыганъ онъ заимствовалъ у бродягъ, видѣнныхъ имъ въ дѣйствительной жизни.

Но фактическое вступленіе Горькаго на литературное поприще относится къ 1893 году, когда, благодаря знакомству съ Бороленко, ему удалось напечатать свой разсказъ „Челкашъ“ въ Русскомъ Богатствѣ; успѣхъ его былъ поразителенъ. Въ немъ уже Горькій свободенъ отъ какого бы то ни было подражанія; отбросивъ въ сторону всѣ требованія традиціонной эстетики, онъ лишь заботится о томъ, чтобы прямо, откровенно, безъ всякихъ уступокъ и смягченій, выразить свой собственный взглядъ на жизнь. А такъ какъ до того ему пришлось жить среди бродягъ и самъ онъ по натурѣ тоже бродяга, да еще одинъ изъ самыхъ закоренѣлыхъ, то и создаетъ „поэму бродяжничества“.

Его излюбленный жанръ—разсказъ. За семь лѣтъ онъ написалъ ихъ около тридцати. По выразительной краткости они иногда напоминаютъ манеру Мопассана. Большею частью фабула ихъ весьма несложна, чаще всего въ нихъ только два дѣйствующихъ лица—старикъ нищій съ внукомъ, двое рабочихъ, бродяга и жидъ, пекаръ съ своимъ помощникомъ, два попутчика...

Интересъ этихъ разсказовъ заключается отнюдь не въ искусномъ веденіи интриги: скорѣе они напоминаютъ „кусочки жизни“, отрывки біографій отдѣльныхъ лицъ съ такого-то и по такое время, вовсе не заключающихъ въ себѣ законченной драмы. Въ сцѣпленіи отдѣльныхъ сценъ не больше искусственности, нежели въ развитіи дѣйствительной жизни.

Нѣтъ въ этихъ разсказахъ и движенія; вся суть ихъ въ яркой характеристикѣ отдѣльныхъ лицъ: они стоятъ передъ нами какъ живыя, подмѣчены едва замѣтныя душевныя движенія, рѣчь, манеры, рѣшительно все.

Несмотря на нѣкоторую небрежность и шероховатость, слогъ Горькаго тѣмъ не менѣе всегда какъ нельзя лучше приноровленъ къ трактуемому сюжету. Сильный, но гибкій, онъ мѣняется вѣстѣ съ темой: иногда грубъ и суровъ, иногда поэтиченъ и красоченъ и возвышается почти до лиризма. Неровность его поразительна, но въ своихъ крайностяхъ, онъ лишь слѣдуетъ настроеніямъ автора. Временами, въ мѣстахъ спокойнаго повѣствованія, онъ многословенъ и растянутъ, но вдругъ, будто подгоняемый сильными чувствами автора, преобразуется и вновь становится выразительнымъ и сжатымъ. Масса красивыхъ картинъ и образовъ пріятно разнообразятъ его; чувствуется, что хотя рѣчь эта и импровизирована и недостаточно обдумана, но зато проникнута и согрѣта мыслью и чувствомъ. У Горькаго не встрѣтишь банальныхъ выраженій, бездушныхъ оборотовъ рѣчи—все ново, неожиданно и трепещетъ жизнью. То, что наиболѣе очаровываетъ въ его произведеніяхъ, такъ это именно полное отсутствіе повтореній уже извѣстныхъ литературныхъ приемовъ. Общеупотребительные обороты, всѣмъ извѣстные шаблоны, давно выработанные технические приемы,—все это совершенно чуждо его талантливымъ произведеніямъ; авторъ подчиняется лишь собственному вдохновенію и видѣнной дѣйствительности. Ему пришлось, какъ многимъ другимъ, дѣлать усиліе, чтобы не впасть въ подражаніе предшественникамъ, но онъ не подновляетъ стараго, а съ поразительной смѣлостью создаетъ свое, новое.

Все, что онъ рассказываетъ, онъ видѣлъ самъ, своими глазами; всѣ его чудныя картины моря и суши подмѣчены имъ за время скитальческой жизни, преисполненной разными приключеніями и съ каждой мелочью описываемой имъ природы или обстановки у него связано воспоминаніе о какомъ нибудь горѣ или лишеніи: вѣдь такъ же и онъ бродилъ когда-то; вотъ такія же бродяги были его товарищами, онъ любилъ ихъ, или ненавидѣлъ. Благодаря этому, въ каждомъ его произведеніи чувствуется біеніе его собственной жизни, столько онъ безсознательно вкладываетъ въ нихъ своего я. Въ то же время онъ умѣетъ отдѣлаться отъ своего творенія; выведенныя имъ

лица живутъ своею собственною жизнью со всѣми присущими ей особенностями, и каждый изъ нихъ реагируетъ по своему на окружающую нужду. Ни одинъ писатель не обладалъ въ такой мѣрѣ даромъ объективности и въ то же время способностью тѣсно сливаться съ своимъ твореніемъ.

Если Горькому удалось разрѣшить проблему творчества одновременно объективнаго и страстнаго, такъ это благодаря тому, что въ его жизни не было двухъ послѣдовательныхъ періодовъ, въ которыхъ онъ сначала бы дѣйствовалъ, а потомъ вспоминалъ объ этомъ; эта двойственность у него явленіе постоянное.

Поэтому-то его бродяги и отличаются поразительной правдой. Онъ отнюдь не идеализируетъ ихъ; симпатія, которую ему внушаетъ ихъ сила, смѣлость и независимый умъ нисколько не ослѣпляютъ его и онъ не скрываетъ отъ насъ ихъ недостатковъ, пороковъ, пьянство и хвастовство; не относится къ нимъ съ излишней снисходительностью, а, наоборотъ, судитъ съ поразительной ясностью. Но рисуя намъ жизнь во всей ея реальной наготѣ, не избѣгая ни тяжелыхъ, ни грубыхъ сценъ, Горькій въ то же время не утрируетъ ея безобразныхъ сторонъ даже въ наиболѣе циничныхъ мѣстахъ, не оскорбляетъ чувство читателя, т. е. тотъ чувствуетъ, что авторъ стремится исключительно къ правдѣ и вовсе не желаетъ дѣйствовать на него дешевенькими приѣмами. Онъ просто констатируетъ, что дѣло обстоитъ такъ-то и такъ-то и ничего съ этимъ подѣлать нельзя, ибо все это зависитъ отъ непреложныхъ законовъ. Поэтому въ его изображеніи несчастія, и даже наиболѣе ужасныя, принимаются нами какъ нѣчто неизбежное, какъ сама жизнь. Самъ Горькій видитъ въ судьбѣ своихъ героевъ явленіе совершенно естественное: подобно тому какъ вѣтеръ то поднимаетъ волны на морѣ, то солнце пробивается сквозь тучи, такъ и внутренній міръ ихъ то весь содрогается отъ страсти, а иногда на одинъ мигъ озаряется смѣхомъ. Онъ реалистъ въ лучшемъ значеніи этого слова, и притомъ безъ всякой предвзятости съ своей стороны.

Горькій первый сталъ выводить въ своихъ произведеніяхъ типы бродягъ. Русскіе писатели сначала интересовались исключительно культурными слоями общества, и уже гораздо позднѣ спустились до народа. Впослѣдствіи народническая литература приобрѣла даже нѣкоторое социальное значеніе, вліяла на политику и до нѣкоторой степени не была чужда дѣлу освобожденія крѣпостныхъ. Она указала на значеніе громаднаго класса людей, преисполненныхъ силы и живучести, съ которыми нельзя было не считаться, но въ то же время другой слой народонаселенія оставляла въ тѣни, а именно бродягъ. Странная эта каста! разнородная, разбросанная по всей Руси, но многочисленная и рѣзко отличающаяся отъ всего остального народа. Члены ея вербуются изъ всѣхъ слоевъ общества, изъ дворянства, купечества, духовенства, крестьянъ... но съ того самаго момента, какъ жалкій неудачникъ вступаетъ въ ряды великой, разсѣянной по всей землѣ русской семью бродягъ, постоянно находящихся въ поискахъ за кускомъ хлѣба насущнаго, готовыхъ на всевозможныя работы изъ-за него, — съ этого же момента онъ сливается съ новыми товарищами въ одно общее цѣлое и не только вслѣдствіемъ одинаковости матеріальнаго положенія, а также благодаря особому, присущему имъ всѣмъ направленію ума, которое очевидно для всякаго. Понятно, что этихъ людей изучить довольно трудно: они не пишутъ, говорятъ мало, а если и говорятъ, то самыя обыкновенныя вещи, хотя въ то же время психика у нихъ довольно сложная. Чтобы понять ихъ, надо долго жить въ ихъ средѣ и настолько сблизиться съ ними, чтобы они не могли скрыть что либо отъ васъ; а чтобы изобразить этихъ бродягъ надо было, кромѣ того, еще обладать особой силой выраженія. Вотъ эта-то трудная задача исполнѣ и блестяще разрѣшена Горькимъ; какъ обстоятельство его жизни, такъ и самыя свойства его генія одинаково способствовали этому.

Разнообразіе характеровъ бродягъ, живущихъ въ одинаковой нуждѣ, поистиннѣ изумительно. Несмотря на полное отреченіе каждаго изъ нихъ отъ своего прошлаго, въ нихъ все-таки остаются нѣкоторые характерные признаки происхожденія.



Отставные солдаты, бывшіе студенты, типографщики, сапожники, учителя, діаконы, разные ремесленники, крестьяне, дворяне,—каждый изъ нихъ сохранилъ слѣды своего происхожденія или профессіи. По тому какъ они носятъ лохмотья, какъ распѣвають то бурлацкія, то духовныя или разгульныя пѣсни, по ихъ хвастовству, по всему поведенію, можно догадаться чѣмъ они были когда-то. Одинъ съ гордостью вспоминаетъ время, когда блисталъ въ качествѣ конюха въ какомъ-то циркѣ; другой любитъ рассказывать что когда-то учился въ московскомъ университетѣ, но все это не важно; важно лишь то, что они дѣлаютъ уже сообща, и то, что они одинаково озлоблены противъ судьбы.

Изъ среды босяковъ Горькій выдѣляетъ въ особую группу людей, вышедшихъ изъ болѣе высокаго общественнаго положенія—они падаютъ гораздо ниже остальныхъ и обыкновенно лишены уже всякаго нравственнаго чувства. Въ бродяги они большею частью идутъ не вслѣдствіи присущаго имъ инстинкта свободолюбія, а скорѣе отъ собственной лѣни, подлости и неспособности вести правильную жизнь. Никакимъ угрызеніямъ совѣсти они не доступны; они любятъ праздность, трудныхъ работъ избѣгаютъ, опасности не жалуютъ, а предпочитаютъ пустить въ оборотъ хотя бы напр.: свою красоту или хитрость и съ помощью ихъ эксплуатировать страсти и невѣжество встрѣчающихся на пути людей. Горькій относится къ нимъ съ презрѣніемъ и хотя въ силу своего фатализма не раздражается негодованіемъ, но не упускаетъ случая въ тѣхъ изъ своихъ рассказовъ, въ которыхъ встрѣчаются подобные субъекты, отмѣтить разницу между ними и бродягами по призванію. Его антипатія къ нимъ обнаруживается въ тысячи мелкихъ штрихахъ, которыми онъ характеризуетъ ихъ, и въ поступкахъ, которые заставлятъ ихъ совершать. Напр.: въ рассказѣ „Въ степи“ трое бродягъ, сошедшихся на время изъ-за нужды, вмѣстѣ бредутъ степью. Совершается убійство встрѣчнаго. Кѣмъ? Тѣмъ изъ нихъ, который одинъ изъ всѣхъ получилъ образованіе, бывшимъ студентомъ.

Не смотря на то, что босяки большею частью выходятъ изъ

среды крестьянъ, между ними и послѣдними оказывается существовать рѣзкое различіе и непримиримая вражда. Бродяги презируютъ этихъ людей: какъ бы то ни было, они все-таки устроены и покорно влачатъ свое жалкое существованіе на свои крохи. Что до него, то онъ не хочетъ и не можетъ втиснуть свою жизнь въ столь узкія рамы, но въ минуты нужды и отчаянія вспоминаетъ ихъ безопасное житье-бытье съ чувствомъ, похожимъ на уваженіе, а отчасти и съ горечью. Въ глазахъ человѣка, постоянно подвергающагося всяческимъ случайностямъ, ежеминутно бросающагося въ самыя рискованныя предпріятія, воспоминанія о деревенской жизни принимаютъ розовый оттѣнокъ. Ея дурныя стороны какъ бы сглаживаются, а счастье имѣть свой собственный кровъ кажется несчастному еще болѣе заманчивымъ.

— „У тебя твой домъ—грошъ ему цѣна, да онъ твой. У тебя земля своя—всего итога ея горсть—да она твоя! Бурица у тебя своя, яйцо свое, яблоко свое! Король ты на своей землѣ!..“

И вотъ онъ начинаетъ болѣе чѣмъ когда-либо ридиться въ презрѣніе къ этимъ „землеѣдамъ тупорылымъ“, слишкомъ глупымъ и трусливымъ, чтобы осмѣлиться пойти на рискъ. Отчасти ненависть бродягъ къ крестьянамъ объясняется еще тѣмъ, что послѣдніе служатъ какъ бы вѣчнымъ укоромъ ихъ безумной страсти. Но стоитъ только счастьемъ хоть на минуту улыбнуться имъ, стоитъ хоть одной ихъ затѣѣ окончиться благополучно и страсть къ свободѣ снова овладѣваетъ ими, пьянитъ и заставляетъ съ гордостью говорить о своей независимости.

Крестьяне, въ свою очередь, ненавидятъ бродягъ, отчасти потому, что боятся, отчасти потому, что завидуютъ имъ. Но сильнѣе всего въ данномъ случаѣ въ нихъ говоритъ врожденный консерватизмъ,—ихъ возмущаетъ жизнь изо дня въ день, жизнь безъ всякихъ устоевъ, безъ родимаго крова. И если нѣкоторые изъ нихъ и промѣниваютъ свои собственные избы на проѣзжія дороги, и поступаютъ въ число босяковъ, не имѣющихъ ни пристанища, ни имущества, такъ виною этого един-

ственно социальныя условія сельскаго быта въ Россіи. Земля родить недостаточно, въ иныхъ мѣстахъ надѣлъ слишкомъ малъ, или, благодаря быстрому возрастанію народонаселенія, онъ дробится на слишкомъ мелкіе участки, а сверхъ того еще плохо обрабатывается. Мужикъ невѣжественъ, боится всякаго новшества, да если бы даже и превозмогъ свое недовѣріе къ успѣхамъ современной культуры, то все-таки на приобрѣтеніе болѣе усовершенствованныхъ орудій производства у него не хватило бы денегъ. Голодовки весьма часты, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ даже приняли хроническій характеръ: ежегодно, въ одномъ изъ угловъ Имперіи официально объявляются цѣлыя губерніи неблагополучными, и въ довершеніе всего ужасные налоги.

При этихъ условіяхъ слѣдующее явленіе неизбежно: сильные, здоровые мужики остаются въ деревнѣ только на время пахоты, посѣва и жатвы; вслѣдствіи короткости весны и лѣта въ большей части Россіи эти полевые работы продолжаются недолго. Покончивъ съ ними, мужики тотчасъ же отправляются на поиски заработковъ въ городъ, поступаютъ тамъ въ кучера, дворники, или идутъ на фабрики, пристани, дѣлаются бурлаками и грузчиками. Такимъ образомъ образуется кочевое населеніе полубродягъ, связь которыхъ съ семьей и родиной весьма проблематична. Нерѣдко случается, что за время своихъ скитаній они окончательно успѣваютъ забыть и семью и деревню. Города кипятъ соблазнами; у случайныхъ товарищей они заимствуютъ привычки, заслуживающія названіе полной разнузданности, быстро подтачивающихъ все, что когда-то заставляло ихъ дорожить правильной жизнью. Переходъ крестьянина, занимающагося отхожимъ промысломъ, въ бродяги, становится неизбежнымъ и совершается весьма легко.

Въ одномъ изъ своихъ разсказовъ — „Мальва“ Горькій рисуетъ намъ двухъ типичныхъ крестьянъ, которые, благодаря обстоятельствамъ, совершенно незамѣтно для себя становятся бродягами. Одинъ изъ нихъ, Василій, покидая деревню, твердо вѣрилъ въ то, что вернется обратно. Отправляется онъ на заработки изъ-за жены и ребятъ; попадаетъ на рыбные

промыслы, гдѣ работа легкая, товарищи народъ веселый, большею частью гуляки и пьяницы; тамъ онъ влюбляется въ одну изъ работницъ и остается. Сначала, время отъ времени, онъ посылаетъ немного денегъ домой, потомъ воспоминанія о деревнѣ блѣднѣютъ, отодвигаются дальше, онъ становится къ нимъ равнодушнѣе, и, наконецъ, совсѣмъ отвыкаетъ отъ нея. Является сынъ Яковъ искать отца и въ то же время временной работы. У него душа истиннаго хлѣбопашца. Однажды, при видѣ безбрежнаго моря, онъ восклицаетъ:

— Но ежели бы все это земля была! Да черноземъ бы! Да распахать бы!

А кончается тѣмъ, что легкая и свободная жизнь увлекаетъ и его; постепенно онъ освобождается отъ всѣхъ привязанностей и читатель ясно чувствуетъ, что Яковъ разъ навсегда разрываетъ всякую связь съ деревней и болѣе никогда въ нее не вернется.

Но даже, когда онъ уже становится бродягой, бывшего крестьянина легко узнать. Въ немъ нѣтъ-нѣтъ да и всплывутъ воспоминанія о деревнѣ, поляхъ... Напримѣръ, тряпичникъ Тяпа, жалкій полукалѣка, старикъ, но когда видитъ у кого-нибудь въ рукахъ газету, тотчасъ же протягиваетъ къ ней крючковатые пальцы и говоритъ:

— Дай-ка... дай... можетъ, про насъ есть что... про деревню...

Надъ нимъ потѣшаются, но газету все-таки даютъ и онъ начинаетъ читать, что вотъ въ такой-то деревнѣ градъ выбилъ всю жатву, въ другой—сгорѣло тридцать дворовъ, въ третьей—какая-то баба отравила всю семью, словомъ, всѣ новости, которыя обыкновенно сообщаются о деревенской жизни, рисующія ее съ жалкой стороны—безсмысленной и жестокой. Тяпа читаетъ все это и глухо ворчитъ, выражая этимъ и свою жалость и удовольствіе.

Таковы-то эти босяки, вышедшіе изъ крестьянъ и навѣки покинувшіе деревню; отрекаясь отъ нея, они въ то же время часто думаютъ о ней, жалѣя или проклиная, а можетъ быть попеременно то и другое, но никогда не желая вернуться обратно.

---

И не только матеріальная нужда, несчастія и разныя случайности заставляютъ людей выступить изъ среды, въ которой они родились, и дѣлаться бродягами,--есть еще одна причина, болѣе важная и болѣе духовнаго свойства, которая непреодолимо тянетъ и толкаетъ ихъ на это поприще,—это извѣстное настроеніе. Есть люди какъ бы родившіеся бродягами, какъ другіе рождаются купцами и чиновниками. Въ глубинѣ души ихъ кроется тоска, которая не позволяетъ имъ подолгу оставаться на одномъ мѣстѣ, гдѣ бы то ни было прочно устроиться. Они все время находятся въ безуспѣшныхъ, но страстныхъ поискахъ мѣстопробыванія, которое пришлось бы имъ по душѣ. Они такъ настойчиво и постоянно ищутъ такого мѣста, что на первый взглядъ можно подумать, что они и въ самомъ дѣлѣ воображаютъ когда-нибудь найти таковое; но этого нѣтъ: они прекрасно сознаютъ, что подобная надежда несбыточна, и вовсе не лелѣютъ ея; они не ищутъ, а только дѣлаютъ видъ, что ищутъ, и все это желая оправдать въ себѣ ненасытную и тщетную, но тѣмъ не менѣе насущную потребность.

Вся необозримая Россія страдаетъ отъ тоски и Горькій отмѣтилъ съ поразительнымъ ясновидѣніемъ различныя мучительныя ея проявленія. Странная болѣзнь! разстройство нервовъ, хроническій сплинъ... Она проникла даже въ глубочайшіе пародные слои и подтачиваетъ жизненныя силы наиболѣе непритязательныхъ и наиболѣе работающихъ людей.

Скука не всегда результатъ утонченнаго воспитанія и пресыщенія роскошью,—всѣ человѣческія существа, имѣвшія несчастіе стать добычей „зла жизни“, подвержены скукѣ. Правда, праздность способствуетъ ея развитію, а дѣятельность, наоборотъ, отвлекаетъ человѣка отъ самого себя. Но въ Россіи праздность вещь весьма распространенная даже въ народной средѣ. Въ деревнѣ и то много свободнаго времени,—то надо почтить безчисленныхъ святыхъ, праздновать именины, рожденія членовъ царской фамиліи... продолжительные и разорительные деревенскіе праздники чередуются съ рабочими днями. Въ тому же зимнее время тянется мѣсяцевъ по 8, въ продолженіи которыхъ мужику только и остается, что запрятаться

въ свою темную избенку; все это вынуждаетъ его къ праздности, а вмѣстѣ съ тѣмъ порождаетъ скуку.

Даже сама окружающая его природа, и то далеко не способствуетъ къ разсѣянію — безконечныя равнины, одинаково однообразныя, покрыты ли онѣ зеленою или снѣжной пеленой, едва успѣваютъ немного оживиться въ короткую весну, а тамъ опять становятся безконечными, распылчатыми, безъ рѣзкихъ горизонтовъ, безъ опредѣленныхъ очертаній, безъ линій, на которыхъ могъ бы отдохнуть человѣческій глазъ... Онѣ способны довести человѣка до отчаянія своимъ сѣрымъ однообразиемъ. Слѣдуетъ также отмѣтить и то, что суровость климата, неожиданныя появленія снѣга, продолжительныя засухи, смѣняющія продолжительные дожди, приводятъ хлѣбопашца въ состояніе вѣчнаго безпокойства и вѣчнаго опасенія. Все зависитъ отъ случайностей, бороться съ которыми онъ не въ состояніи, поэтому имъ овладѣваетъ равнодушное отупѣніе и неподвижность. Оттѣнки такого же фатализма мы встрѣчаемъ во всѣхъ мельчайшихъ проявленіяхъ русской жизни. Вся она организована такъ, какъ будто надъ человѣкомъ тяготѣтъ нѣчто неумолимое, роковое и будетъ и должно вѣчно тяготѣть. Къ суровости природы присоединяется еще суровость и жестокость социальныхъ условій жизни, усиливающихъ смутное чувство стѣсненія, чувство будто всякое движеніе обязательно должно наткнуться на препятствіе. Бороться съ этимъ никто и не пытается, а безропотно подчиняется. Надо всѣмъ народомъ тяготѣть безсознательно усвоенный имъ догматъ непротивленія злу. У крестьянъ этотъ особаго рода фатализмъ вырождается въ неподвижность и лѣнь; а дойдя до послѣдней степени остроты, та же тоска заставляетъ людей страшно страдать отъ сознанія своей непригодности къ жизни. Одинъ изъ бродягъ Горькаго говоритъ, напримѣръ: „Я на особой стезѣ... И не одинъ я,—много насъ этакихъ. Особливые мы будемъ люди... и ни въ какой порядокъ не включаемся“. И далѣе: „Кто передъ нами виновать? Сами мы передъ собой и жизнью виноваты... Потому у насъ охоты къ жизни нѣтъ и къ себѣ

самимъ мы чувствъ не имѣемъ... Матери наши не въ урочные часы зачали насъ—вотъ въ чемъ сила“...

Вотъ образчикъ вполне сложившагося убѣжденія,—вытекаетъ оно изъ хладнокровнаго констатированія того факта, что цѣлая пропасть отдѣляетъ ихъ съ ихъ метущимся безсиліемъ отъ какого бы то ни было организованнаго общества. У наиболѣе слабыхъ и простыхъ натуръ, у которыхъ не хватаетъ силъ примириться съ этимъ фактомъ, она переходитъ въ покорную грусть или отчаяніе; у другихъ вырождается въ гордость. Они ставятъ себѣ въ особую заслугу свою неспособность примѣняться къ жизни, и не только не чувствуютъ за собою никакой отвѣтственности, а обвиняютъ за то самое жизнь. Не они неспособны къ жизни, а жизнь непригодна для нихъ. Они говорятъ: жизнь узка, а у нихъ натура широкая. Есть люди, происходящіе по всѣмъ вѣроятіямъ отъ вѣчнаго жиды, и имъ-то никогда не найти себѣ мѣста на землѣ,—имъ вѣчно хочется чего-нибудь новаго... У мелкихъ людишекъ и страданія мелкія: не найдутъ себѣ штаповъ по вкусу, ну и страдаютъ. А люди крупные ни въ чемъ не находятъ успокоенія, ни въ деньгахъ, ни въ женщинахъ, ни въ почестяхъ... Зато ихъ никто и не любитъ,—они дерзки и жить съ ними нелегко.

Встрѣчаются между босьями и такіе, которые начинаютъ смотрѣть на свою собственную жизнь точно со стороны, чуть ли не какъ на странное и смѣшное явленіе, и это несмотря на всю ея неприглядность. Для нихъ она не болѣе какъ любопытное зрѣлище, которое ихъ потѣшаетъ; они издѣваются надъ ней и какъ бы нарочно подчеркиваютъ ея несообразности, будто забавляясь мрачной, по умной игрѣ; наслаждаются какой-то шутовской и вмѣстѣ съ тѣмъ утонченной эстетикой... Прекраснымъ образчикомъ подобнаго типа служить Семка, крѣпышъ и гуляка, когда-то служившій садовникомъ, а впослѣдствіи, по волѣ судьбы, избравшій своей специальностью пьянство. Онъ умѣетъ вызвать смѣхъ, умѣетъ изобрѣсти особенно отборное ругательство, дать товарищу краснорѣчивое прозвище. Даже во время самой трудной работы и наибольшей нужды

онъ относится къ своей участи полунасмѣшливо, полусерьезно. Чаще всего темой для зубоскальства служить ему собственная же нужда. Однажды, роя вмѣстѣ съ другими яму для помой, онъ вдругъ прерываетъ свою работу и, сравнивая ее съ вѣчной работой природы, начинаетъ сомнѣваться въ необходимости своего грязнаго дѣла. Онъ находитъ, что достоинъ болѣе высокой участи, и съ горечью начинаетъ насмѣхаться надъ превратностями своей судьбы.

— Копаютъ яму...—говорилъ онъ,—а для чего? Для помоевъ. А просто бы такъ лить на дворъ? Нельзя, вишь. Пахнуть, дескать, будутъ. Ишь ты! Помои будутъ пахнуть! Скажутъ тоже отъ бездѣлья-то. Выброси, напримѣръ, огурецъ соленый,—чѣмъ онъ будетъ пахнуть, коли онъ маленький? Полежитъ день—и нѣтъ его—сгнилъ. Это вотъ ежели человѣка мертваго выбросить на солнце, онъ, дѣйствительно, попахнетъ, потому—гадина крупная.

Такъ-то у него перемишляются въ одну кашу и мечты, и философія, и цинизмъ.

Причина сложности характеровъ и разнообразіе ихъ у этихъ некультурныхъ людей лежитъ въ какомъ-то непреодолимомъ безпокойствѣ, владѣющимъ ими. Они окончательно недогматичны, даже трудно сказать, чтобы они стремились къ какому-либо твердымъ убѣжденіямъ,—болѣе вѣроятно, что въ нихъ происходитъ вѣчная смѣна самыхъ различныхъ идей, которыя не успѣваютъ даже вполнѣ опредѣлиться въ ихъ умахъ; не только что укрѣпиться. Нигдѣ, кромѣ Россіи, человѣкъ до такой степени не мучается духовной жадой и не находится постоянно въ когтяхъ могущественныхъ сомнѣній, которыхъ не умѣетъ устранить. Въ матеріальномъ отношеніи онъ нетребователенъ,—хлѣба, немного табаку и водки, теплое платье на зиму, пусть оно будетъ хоть въ заплаткахъ,—вотъ все, что ему нужно, но пища духовная ему необходима: „Не хлѣбомъ единымъ сытъ будетъ человѣкъ“. И умственная голодовка легко порождаетъ въ немъ мистицизмъ.

По всей Руси странствуютъ толпы богомольцевъ, направляющихся къ святымъ мѣстамъ,—Кіеву, Москвѣ, иногда даже



на Афонъ и въ Іерусалимъ; къ такому странствію человекъ готовится иногда всю свою жизнь, иногда же, наоборотъ, отправляется въ путь совершенно внезапно, не имѣя ровно никакой поддержки, кромѣ наивной и непоколебимой вѣры. Имъ все равно, придется ли дорогой христарадничать, довольствоваться случайнымъ пропитаніемъ, не зная устали... Мечты и галлюцинаціи поддерживаютъ ихъ въ продолженіи пути, и они счастливы, если въ концѣ-концовъ сподобятся приложиться къ святыни. Потребность въ религіи такъ велика въ деревняхъ, что находятся бродяги, которые, не колеблясь, эксплуатируютъ ее; въ этихъ случаяхъ они начинаютъ говорить слезнымъ голосомъ, уснащаютъ рѣчь евангельскими текстами и мастерски умѣютъ сбивать съ толку своими хитросплетенными и, якобы, божественными оборотами рѣчи простодушныхъ поселянъ. Это самый опасный элементъ, онъ отравляетъ деревню, всегда жаждущую божественнаго слова.

То же безпокойное состояніе духа обнаруживается въ страстной, почти болѣзненной любви къ музыкѣ. Въ произведеніяхъ Горькаго на каждомъ шагѣ встрѣчаешь слѣды подобнаго ея значенія и вліянія на окружающихъ. Въ оттѣнѣхъ печали находятъ въ ней соотвѣтствующіе звуки; какъ горе, причины котораго хорошо извѣстны, такъ и доходящая до отчаянія тоска, — то изступленіе, которое не могутъ передать слова съ слишкомъ опредѣленнымъ значеніемъ или черезчуръ уже элементарный крикъ боли, находятъ въ переливахъ русской мелодіи непосредственное и полное свое выраженіе. Душа бродяги изливаетъ въ пѣснѣ свое отчаяніе... ощущеніе болѣзненное, доходящее иногда до крайности, почти до потери сознанія, и въ силу этого самаго доставляющее имъ наслажденіе: человекъ точно отдается во власть чудному, но смертельному безумству. Разъ опьяненіе музыкой охватитъ человека, доведетъ его до бѣшеной горячки, то онъ уже самъ начинаетъ жаждать, чтобы оно перешло всякія границы; между тѣмъ со стороны дѣлается страшно, видя нечеловѣческія страданія, вызванныя ею.

Боноваловъ, тоскующій босаякъ, боится пѣнія, чтобы не вызвать новый приступъ своей болѣзни. Онъ хорошо знаетъ со-

стояніе, въ которое его повергаетъ музыка, мученія, которыя она въ немъ вызываетъ, а поэтому, чтобы насладиться ею, ожидается, когда и безъ того почувствуетъ приближеніе тоски.

— Пою,—отвѣчаетъ онъ на вопросъ Максима,—только это у меня разами бываетъ... полосой. Начну я тосковать, ну, тогда и пою... И ежели пѣть начну—затоскую. Ты ужъ помалкивай объ этомъ... не дразни. Ты самъ-то не поешь? Ахъ ты... штука какая! Ты... лучше потерпи до меня... а пока свисти. Потому уже оба запоемъ, вмѣстѣ. Идетъ?

Русская народная пѣсня ужасно дѣйствуетъ на взбаламученную душу,—напѣвъ ея почти всегда грустный, протяжный и каждая строфа оканчивается длинной, раздражающей душу нотой.

Однажды вечеромъ подгулявшая компанія катается на Волгѣ. Одна изъ женщинъ собирается пѣть и всѣ уже заранѣе начинаютъ волноваться, предчувствуя будущее вліяніе музыки; и дѣйствительно, пѣніе женщины потрясаетъ ихъ: оно трогательно прекрасно и вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ слышится что-то строгое, суровое... она трепещетъ невыразимыми муками изстрадавшагося сердца... это пламенная жалоба, крикъ угрюмаго горя... она жметъ и плачетъ, тоскуетъ и отчаивается.

Одинъ изъ героевъ Горькаго, мельникъ, замѣчая въ себѣ признаки мучительнаго нравственнаго заболѣванія — тоски, ищетъ средство избавиться отъ нея. Случайно онъ встрѣчается съ бродягой, бывшимъ фабричнымъ, у котораго оторвало обѣ руки, и тотъ вызывается доставить ему то, чего жаждетъ его душа, нужное отвлеченіе. Они отправляются въ маленькій, грязный кабачокъ и тамъ, въ тѣсной коморкѣ, переполненной табачнымъ дымомъ и испареніями алкоголя, калѣка командуетъ своимъ товарищамъ по выпивкѣ, сидящимъ за тѣмъ же столомъ:

„Нужно начинать съ грусти, чтобы привести душу въ порядокъ, заставить ее прислушаться... она чувствительна къ грусти... понимаете? вотъ вы ей сейчасъ и закиньте удочку, она и пріостановится и замретъ. А тутъ вы ее хватите сразу „чеботами“, али „во люзяхъ“, да съ дробью, съ пламенемъ,

съ плясомъ, чтобы жгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло все въ дѣйствіе. Тутъ уже начнется прямо бѣшенство—чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость—такъ все и заиграетъ радугой...!”

И мельникъ уходитъ изъ кабачка потрясенный, вся душа его взбабамучена.

Въ бродягахъ живетъ вѣчная, смутная жажда страданій; они ощущаютъ острое наслажденіе, оттого что душа ихъ рвется на части. И это не изъ-за умерщвленія плоти, какъ герои Достоевскаго и Толстого, возводящіе страданія въ мистическую религію искупленія: въ ихъ жаждѣ мученій чувствуется гордость, что-то въ родѣ страстного протеста противъ нихъ же. Они жаждутъ страданій ради нихъ же самихъ и еще для того, чтобы почувствовать въ себѣ достаточно силы для борьбы съ ними. Но помимо этого, всѣ они еще страшно заняты собою, почти съ болѣзненнымъ любопытствомъ слѣдятъ за малѣйшими своими ощущеніями; всѣ они обладаютъ странной способностью самоанализа, иногда точно охвачены маніей раздвоенія. Сами себѣ задавая вопросы и наблюдая за собой, они порою удивляются каковы они есть. Само собою разумѣется, что разобратся въ сложныхъ ощущеніяхъ своей души они не могутъ и главнымъ образомъ лишь констатируютъ тьму и бессознательность, въ которыя погружены. Не умѣя разобратся

съ хаосъ своего внутренняго міра, они гордятся беспорядочно нагроможденными въ немъ противорѣчіями и объясняютъ ихъ богатствомъ своей натуры. Главнымъ характернымъ признакомъ ихъ служить неистощимая жажда жизни, ненасытное желаніе испытать всѣ наслажденія, даже всѣ страданія, потому что и они составляютъ одну изъ формъ бытія. Лишь оцѣпененіе и покой противны ихъ натурѣ.

Вопреки всей своей жизни, бродяги, однако, сильно озабочены выработкой и установленіемъ извѣстныхъ нравственныхъ началъ своего быта. У нихъ существуетъ свой собственный неумолимый сводъ правъ и обязанностей, которымъ они тѣмъ охотнѣе подчиняются, что онъ вполне согласуется съ ихъ понятіями о нравственности, которыя они, такимъ образомъ,

переносить въ жизнь. Ихъ этика сводится къ радикальнѣйшему и вполне сознательному индивидуализму, въ силу котораго они считаютъ своимъ первѣйшимъ долгомъ отрицаніе всякаго рабства и всякаго принужденія; а такъ какъ крайній индивидуализмъ идетъ въ разрѣзъ со всякой соціальной организацией, то они и живутъ какъ бы внѣ общества и считаютъ бродяжничество неизбѣжнымъ для всякой свободной личности. Такимъ образомъ, всѣ понятія о нравственности сводятся у нихъ къ тому, чтобы жить сообразно своимъ желаніямъ, но сами они путаются въ противорѣчивости ихъ:

— „Мнѣ всегда хочется чего-то,—задумчиво говоритъ Мальва.—А чего?.. не знаю. Иной разъ сѣла бы въ лодку и въ море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видать. А иной разъ такъ бы каждого человѣка завертѣла, да и пустила волчкомъ вокругъ себя. Смотрѣла бы на него и смѣялась. То жалко всѣхъ мнѣ, а пуще всѣхъ—себя самое, то губила бы весь народъ. И потомъ бы себя... страшной смертью... И то-скливо мнѣ, и весело бываетъ... И люди всѣ какіе-то дубовые“.

Ставляваясь лицомъ къ лицу съ необходимостью дѣйствовать и не сознавая ясно, какъ въ данномъ случаѣ слѣдуетъ поступить, они колеблются и невыразимо страдаютъ отъ своей неувѣренности. Нѣкоторые до такой степени не умѣютъ устроить своей собственной жизни, что начинаютъ мечтать о какомъ-то новомъ могущественномъ законѣ, которому бы ихъ подчинили, законѣ, который установилъ бы какой-нибудь очень сильный человѣкъ, потому, во что бы то ни стало нужно ввести порядокъ въ жизнь, а то:

— „Внутренняго пути у меня нѣтъ... понимаешь?“—говоритъ Коноваловъ.—„Какъ бы это сказать? Этакой искорки въ душѣ нѣтъ... силы что ли? Ну, нѣтъ во мнѣ одной штуки—и все тутъ! Понялъ? Вотъ я живу и эту штуку ищу и то-скую по ней, а что она такое есть—это мнѣ неизвѣстно“.

Но почти у всѣхъ нравственныя понятія ограничиваются отрицаніемъ существующаго, протестомъ противъ него. Они яснѣе сознаютъ, что дурно и что слѣдуетъ измѣнить, нежели то, что надо создать заново. Вслѣдствіе же этого огульнаго,

ничѣмъ неограниченнаго отрицанія всего, тщеславіе ихъ вознмается до послѣднихъ предѣловъ. Они считаютъ себя великими, потому что стоятъ сеобняномъ и у нихъ появляется страсть постоянно, самымъ интенсивнымъ образомъ, ощущать въ себѣ пульсированіе жизни. Поэтому они смѣло становятся лицомъ къ лицу съ ней и радостно стремятся побороть и подчинить ее себѣ. Въ своихъ силахъ они увѣрены и, несмотря на всяческіе нечли судьбы, считаютъ себя героями. Удастся имъ или не удастся провести въ жизнь принципъ индивидуальности, они одинаково остаются при убѣжденіи, что управляютъ ею, благодаря непоколебимой волѣ быть сильнѣе и смѣлѣе ея. Къ тому же они считаютъ себя стоящими выше всяческихъ житейскихъ законовъ, созданными другими для собственнаго удобства и которыми они подчиняются по трусости. Законы эти они презираютъ и постоянно съ намѣреніемъ нарушаютъ: при случаѣ воруютъ, грабятъ, лгутъ и думаютъ, что этимъ способомъ доказываютъ свою свободу.

Бѣдные сверхчеловѣки, вся страстная непокорность которыхъ сводится къ жалкому бродяжничеству! Никогда раньше не встрѣчалось такой смѣси гордости и нищеты. Въ сущности эти люди до того жадны и дошли до такой степени нищеты, что воруютъ и мошенничаютъ исключительно, чтобы утолить свой голодъ. Они вынуждены вступить въ сдѣлку съ своимъ самолюбіемъ и выманивать себѣ пропитаніе у тѣхъ же самыхъ людей, которыхъ такъ глубоко презираютъ и на которыхъ пламенно жаждутъ ни въ чемъ не походить. Но своего униженія они не замѣчаютъ или не хотятъ замѣтить и живутъ въ вѣчной иллюзіи, которой сами вѣрятъ лишь наполовину, но вѣру въ которую всѣми силами стараются поддержать въ себѣ. Другихъ они обманываютъ изъ-за матеріальныхъ нуждъ своего тѣла, а себя изъ-за духовныхъ потребностей души. Въ своемъ воображеніи они создаютъ сказочный образъ самихъ себя, возвеличиваютъ его до неузнаваемости, прикрашиваютъ до абсурда. Башмачникъ Орловъ, на примѣръ, во время эпидеміи холеры, опустошавшей городъ, въ которомъ онъ жилъ, поступаетъ служителемъ въ баракъ. Новая дѣятельность, ко-

тора, впрочемъ, весьма быстро прѣдается ему, сначала возбуждаетъ его и доводитъ до экзальтаціи: „Эхма! силу я въ себѣ чувствую—необоримую! То-есть если бы эта, напримѣръ, холера, да преобразилась въ человѣка... въ богатыря... хоть въ самого Илью Муромца,—сдѣлился бы я съ ней! Иди на смертный бой! Ты сила, и я, Гришка Орловъ, сила,—ну, кто кого? И придушилъ бы я ее и самъ бы легъ... Крестъ надо мной въ полѣ и надпись: „Григорій Андреевъ Орловъ... Освободилъ Россію отъ холеры“. И больше ничего не надо“.

И, мечтая такимъ образомъ, бродяги всю силу и гордость свою полагають въ томъ, чтобы лихо переносить страданія своего жалкаго существованія.

---

Индивидуализмъ бродягъ не слѣдуетъ смѣшивать съ эгоизмомъ. Въ нихъ нѣтъ и слѣда мелочной жадности; на каждомъ шагу изъ-за гордости они жертвуютъ матеріальными выгодами и среди самой ужасающей нужды умудряются иногда оказывать другъ другу самое утонченное вниманіе, правда, въ нѣсколько грубоватой формѣ, неловко, но не менѣе трогательное потому, что прикрывается суровой внѣшностью. Напримѣръ, вспомнимъ рассказъ, въ которомъ бродяга въ одинъ прекрасный день встрѣчаетъ на своемъ пути молоденькую проститутку, почти ребенка, такую же голодную и оборванную какъ и онъ самъ. Они вмѣстѣ воруютъ хлѣбъ и дѣлятъ его, потому она цѣломудренно отогрѣваетъ своего товарища теплотой собственнаго тѣла и оба утѣшаютъ другъ друга разсказами о своихъ несчастіяхъ, поддерживаютъ взаимной симпатіей и жалостью.

Временами у бродягъ съ такой силой просыпаются угрызёнія совѣсти, что вдосталь натерпѣвшись всяческой нужды и преодолевъ уже серьезнѣйшія опасности при совершеніи какой-нибудь кражи, они потомъ отказываются отъ результатовъ своего молодчества.

Подобные взрывы запоздалой честности въ нѣкоторыхъ случаяхъ доходятъ почти до героизма. Чтобы не умереть съ голода и поддержать другъ друга, двое бродягъ вмѣстѣ совершаютъ свой путь. Имъ удается увести у мужика лошадь, от-

чашную клячу, которую можно спустить только живодеру. Но это ихъ послѣдняя надежда, а потомъ впереди не предвидится ровно ничего. Одинъ изъ нихъ боленъ чахоткой и находится почти при смерти. Его начинаетъ преслѣдовать мысль о мужикѣ, котораго онъ обокралъ и подъ конецъ она становится для него невыносимой. Боясь огорчить товарища предложеніемъ возратить лошадь владѣльцу, онъ сначала колеблется, но въ концѣ-концовъ оба приходятъ къ заключенію, что такъ надо: у нихъ не хватаетъ духу воспользоваться своей кражей. Чахоточный умираетъ, настолько же отъ болѣзни, насколько и отъ голоду.

Чувства нѣжности и состраданія переиживаются у бродягъ съ звѣрскими инстинктами и временами одерживаютъ верхъ надъ грубыми страстями. И въ тѣхъ случаяхъ, когда побѣждаетъ доброта и нѣжность, деликатность этихъ проходимцевъ достигаютъ необыкновенной утонченности. Емельянъ Пилый собирается совершить убійство, чтобы одновременно отомстить за себя и обогатиться, такъ какъ намѣченная жертва богата и эксплуатировала его. Не колеблясь и не чувствуя ни малѣйшихъ угрызений совѣсти, онъ поджидаетъ свою жертву и вдругъ вмѣсто нея видитъ рыдающую дѣвушку, собирающуюся топить изъ-за обманутой любви. Она хрупка, миловидна—Пилый становится ее жалко, онъ подходитъ къ ней, спрашиваетъ и, какъ умѣетъ, старается утѣшить. Въ концѣ-концовъ ему удается вызвать у нея улыбку и онъ безконечно счастливъ. Совершенно забывъ о своемъ кровавомъ намѣреніи, онъ только и думаетъ, какъ бы отвести влюбленную дѣвушку къ ея родителямъ, а когда она, въ знакъ своей благодарности, предлагаетъ ему деньги, онъ отказывается отъ нихъ изъ-за смутнаго желанія ничѣмъ не запятнать красоту своего единственного въ этомъ родѣ воспоминанія. Это не мѣшаетъ ему тутъ же сѣсть съ сосѣдскимъ дворникомъ и переночевать въ полицейскомъ правленіи, но воспоминаніе о предестномъ приключеніи все-таки остается въ его памяти ничѣмъ не омраченнымъ.

У этихъ людей бываютъ странные и неожиданные порывы великодушія и безкорыстія, благодаря которымъ въ нихъ

можно бы было заподозрѣть безсознательныя христіанскія добродѣтели, если бы въ то же время не было ясно, до чего ревниво и уже вполне сознательно они охраняють свою индивидуальную свободу. Коноваловъ напр. встрѣчаетъ въ домѣ терпимости молодую, свѣжую дѣвушку, понавшую туда, какъ ему кажется, лишь благодаря несчастному сдѣленію обстоятельствъ. Вскорѣ послѣ встрѣчи онъ покидаетъ городъ, и Капа не оставляетъ въ немъ ни сентиментальныхъ воспоминаній, ни сладострастныхъ вожделѣній. Но въ минуты нѣжности онъ пообѣщалъ ей вытащить ее изъ грязи и посылаетъ ей деньги, то небольшое, что зарабатываетъ съ такимъ трудомъ. Во время запоя посылки приостанавливаются, но когда онъ снова принимается за работу, то жестоко кается въ этомъ. Онъ хочетъ совершить хорошій поступокъ, поднять падшую дѣвушку до уровня человѣка. О дальнѣйшемъ онъ не помышляетъ; но Капа вообразила, что Коноваловъ желаетъ освободить ее, чтобы потомъ жениться. Въ одинъ прекрасный день она является къ нему въ полной увѣренности, что онъ приметъ ее, какъ желанную невесту. Это неожиданное открытіе вовсе не по душѣ Коновалову, онъ возмущенъ—на его свободу посягаютъ. „Вотъ она, Капитолина, какую линію гнѣтъ—кочу, говорить, съ тобой, это значить—со мной, жить вродѣ жены. Желая, говорить, быть твоей дворняжкой... Совсѣмъ нелепо! Ну, милая ты дѣвочка, говорю, дураха ты; ну, разсуди, какъ со мною жить? Первое дѣло у меня—запой, во-вторыхъ, нѣтъ у меня никакого дому, въ-третьихъ, я есть бродяга и не могу на одномъ мѣстѣ жить... и прочее такое, очень многое... говорю ей“.

Разочарованная Капа возвращается къ своей прежней жизни, Коновалову это извѣстно, онъ жалѣетъ ее, былъ бы очень радъ, если бы его добрыя намѣренія увѣнчались успѣхомъ, но въ то же время вполне убѣжденъ, что это зависитъ не отъ него; ему даже въ голову не приходитъ, что онъ могъ бы поступиться своей свободой... Жертвовать деньгами, трудомъ, — сколько угодно, но самимъ собой, своей личностью—никогда. Каждый долженъ устраивать свою жизнь по своему и никто



не имѣть права поработать другого. Долгъ состраданія ограниченъ долгомъ самозащиты.

Другой бродяга, въ которомъ несомнѣнно Горькій изобразилъ самаго себя, поднимается на высшую ступень состраданія. Въ одномъ изъ приморскихъ городовъ онъ натывается на странную и жалкую личность, какимъ-то чудомъ очутившуюся тамъ. Этотъ человѣкъ слишкомъ лѣнивъ, чтобы работать и слишкомъ глупъ, чтобы найти обратно дорогу въ помѣстье отца, откуда ему пришлось бѣжать изъ-за какихъ-то темныхъ продѣлокъ. Онъ не возбуждаетъ ни малѣйшей симпатіи къ себѣ, въ немъ нѣтъ ничего, что могло бы увлечь или разжалобить, но Горькій начинаетъ служить ему просто потому, что это ему нравится. И въ данную минуту вся цѣль жизни сводится у него къ служенію этому неизвѣстному. Пусть Шакролѣнтій, Горькій будетъ работать за него; пусть у того волчій аппетитъ, онъ ему уступитъ свою долю; съ каждымъ днемъ восточный человѣкъ становится все болѣе требовательнымъ, грубымъ и капризнымъ—ничто не можетъ оттолкнуть ретиваго благодѣтеля, ни ругательство, ни ложь... И чѣмъ больше онъ убѣждается въ негодности облагодѣтельствованнаго имъ субъекта, тѣмъ съ большимъ упрямствомъ продолжаетъ свое самопожертвованіе. Тотъ надоѣдаетъ ему, утомляетъ, становится противнымъ, но все это лишь больше возбуждаетъ Горькаго, ибо, беря на себя столь трудную задачу, онъ доказываетъ свою силу воли.

Въ этомъ странномъ разсказѣ онъ рисуется намъ какъ апостолъ или какъ мученикъ состраданія, а между тѣмъ сила для исполненія взятой имъ на себя задачи ему даетъ чувство, что этимъ самымъ онъ выступаетъ изъ ряда обыкновенныхъ людей и преобразуется по своему желанію въ какого-то сверхчеловѣка самоотреченія.

---

Наконецъ, — и въ этомъ можетъ быть объясненіе всѣхъ противорѣчій и несообразностей въ характерахъ бродягъ, — вся ихъ непослѣдовательная философія носить отпечатокъ

чего-то дѣтскаго. Они воображаютъ себя пресыщенными, а на самомъ дѣлѣ наивны и непосредственны и ихъ впечатлительность дышетъ нетронутой свѣжестью, въ ихъ цинизмѣ почти всегда заключена доля фанфаронства и застѣнчивости; они болѣе искренни, нежели сами думаютъ.

Природу они любятъ какъ дикари или художники, наслаждаются ею во всѣхъ ея проявленіяхъ, во всей ея простотѣ и прелести. Какой-нибудь клочокъ синяго неба, звѣздъ, могутъ растрогать ихъ. Природа въ своей обособленности является для нихъ лучшимъ повѣреннымъ, нежели люди. Они считаютъ ее, подобно себѣ, свободной и неопредѣленной, приписываютъ ей свои собственные, самыя разнообразныя ощущенія, самыя вычурныя и даже мелочныя. Имъ кажется, что облака, бѣгушія по небу, такъ же устали какъ и они сами... Море, охваченное безпричиннымъ весельемъ, хорошо знакомымъ имъ, смѣется... какъ и они, оно умѣетъ издѣваться, кричать, отчаиваться, страдать отъ неяснаго раздраженія; вѣтеръ зябнетъ и съ болѣзненнымъ стономъ налетаетъ на стѣны; степь по вечерамъ изнемогаетъ отъ истомы и засыпаетъ.

Иногда имъ чудится, что природа поддразниваетъ ихъ и они начинаютъ съ ней спорить, разговаривать и бранить... Емельянъ Пилий, вытащивъ изъ кармана пустой кисетъ и видя что онъ пустъ, выворачиваетъ его на изнанку, тщательно разсматриваетъ и, наконецъ, швыряетъ въ море; волна подхватываетъ его, уноситъ далеко отъ берега, но потомъ снова выбрасываетъ обратно.

— „Не берешь?“ — кричитъ онъ. — „Врешь, возьмешь!“ — и, схвативъ мокрый кисетъ, Емельянъ сунуть въ него камень и, размахнувшись, бросилъ далеко въ море“.

Но сильнѣе, конечно, на нихъ дѣйствуютъ красоты природы. Они любятъ переливами оттѣнковъ на небѣ, его красотой Коноваловъ напр., „любилъ природу глубокой, безсловесной любовью, выразившейся только мягкимъ блескомъ его глазъ, и всегда, когда онъ былъ въ полѣ или на рѣкѣ, нѣ весь проникался какимъ-то миролюбиво-ласковымъ настроеніемъ, еще болѣе увеличивавшимъ его сходство съ ре-

бенкомъ“... или съ артистомъ, скажемъ мы. Трудно опредѣлить наивны ли они, или изысканно-утонченны; скорѣе и то и другое вмѣстѣ. Для нихъ величайшее наслажденіе чувствовать себя дѣтьми среди окружающей простоты и безыскусственности. Коноваловъ и его другъ, когда отправлялись отдыхать въ поле, раскладывали костеръ, хотя было лѣто — стояла жара; имъ хотѣлось къ красотѣ пейзажа прибавить еще красоту пламени. Это взрослые, богато одаренныя дѣти, въ которыхъ играютъ плодоносныя силы. Они обладаютъ способностью не только мечтать, но и дѣйствовать, а такъ какъ умѣнья примѣнять эти способности къ жизни у нихъ нѣтъ, то они невыразимо страдаютъ.

Быть можетъ будущее, которое пока еще задернуто завѣсой, но уже готово выступить наружу, принадлежитъ имъ. Многіе критики это-то главнымъ образомъ и видѣли въ произведеніяхъ Горькаго: они поняли, что, обогативъ литературу цѣлымъ, дотошъ неизвѣстнымъ, классомъ людей, онъ совершилъ не только дѣло писателя.

---

Съ самаго начала Горькій имѣлъ изумительный успѣхъ; можетъ быть онъ повредилъ въ концѣ-концовъ его гению. Какъ только его слава писателя окрѣпла, онъ наивно возмечталъ увеличить ее, расширивъ кругъ своего писанія: не отрекаясь отъ своихъ излюбленныхъ босяковъ, онъ сталъ пробовать силы на изображеніи другихъ высшихъ классовъ, болѣе разнообразныхъ. Но хорошо зная бродягъ, онъ плохо зналъ людей общества. Нѣсколько рассказовъ, взятыхъ имъ изъ быта интеллигенціи, такъ называемаго общества, весьма посредственны. Въ нихъ мало правды и чувствуется, что авторъ плохо и слишкомъ недавно знаетъ то, о чемъ пишетъ. Наиболѣе удачнымъ изъ всего написаннаго Горькимъ уже послѣ того, какъ онъ началъ стремиться къ расширенію поля своего творчества, надо считать *Ому Гордѣва*. Правда, въ немъ не встрѣчается обычныхъ у него босяковъ — на этотъ разъ онъ вводитъ насъ въ среду приволжскаго купечества, — но оно

имѣть много общаго съ бродягами. Тѣ же необузданныя страсти, тѣ же частыя перемены положенія; колоссальныя барыши и такіе же убытки, лишаютъ ихъ увѣренности въ будущемъ и поэтому заставляютъ жаждать какъ можно полнѣе насладиться минутой и какъ можно сильнѣе напрягать свои силы. Это свой особый міръ, очень обособленный, управляемый собственными законами, обладающій своими нравами и привычками, своими традиціями и своею гордостью, своимъ языкомъ и своими предвзвѣдками. Въ немъ есть и своя аристократія, основанная исключительно на богатствѣ, и, благодаря этому, подверженная тысячи случайностямъ; въ немъ имѣются также и свои отверженцы и люди, которыхъ всячески эксплуатируютъ. Эти богачи-купцы занимаются торговлей всѣхъ съѣстныхъ и иныхъ продуктовъ, сплавляемыхъ по Волгѣ. Они спекулируютъ на нихъ, монополизируютъ, назначаютъ цѣны, выбрасываютъ на рынокъ и зачастую получаютъ баснословныя барыши, но также часто совершенно разоряются. Хищническіе инстинкты, такъ же какъ и умѣнье разсчитывать, въ нихъ очень сильны; полу-купцы и полу-грабители, они не стѣсняются никакими угрызеніями совѣсти; но непрерывныя заботы и необходимость затѣвать все новыя и новыя предпріятія постоянно поддерживаютъ въ нихъ постоянную лихорадку. Они двуличны и коварны, обманываютъ другъ друга съ удивительною наглостію и двоедушіемъ, но съ сообщниками и компаньонами живутъ въ добромъ согласіи. Вся ихъ жизнь проходитъ въ вѣчной горячкѣ и упорной борьбѣ съ одной стороны, и безумныхъ кутежахъ съ другой. Они попеременно то работаютъ, то пьянствуютъ; у нихъ роскошная обстановка и варварскіе нравы.

Ома Гордѣевъ, сынъ одного изъ этихъ людей, выпешихъ изъ ничтожества и къ тридцати годамъ ворочающихъ милліонами, унаслѣдовалъ отъ отца неукротимый характеръ, но не умѣетъ подобно ему примѣнять къ дѣлу свою безмѣрную энергію. Онъ красивъ, силенъ, великъ ростомъ, какъ бы созданъ для борьбы и вмѣстѣ съ тѣмъ въ немъ есть что-то неопредѣленное и неясное. Въ двадцать лѣтъ онъ остался сиротой и, предоставленный самому себѣ, болѣе чѣмъ когда-

либо не знает къ чему примѣнить свои силы, излить пламень души. Онъ все время чувствуетъ, что что-то въ немъ просить примѣненія, и это заставляетъ его страдать. Въ концѣ концовъ онъ попадаетъ въ домъ умалишенныхъ, но оттуда его скоро освобождаютъ, такъ какъ онъ не опасенъ. Такъ жизнь побуждаетъ Оому Гордѣва, потому что онъ не умѣетъ примѣниться къ обстоятельствамъ. И у него такая же метущаяся душа, какъ у бродягъ. Исключительно только благодаря случайности своего рожденія и своему богатству, онъ съ самаго начала не бросается въ бродяжничество. Но какъ только становится мужчиной, такъ тотчасъ же старается сбросить съ себя всѣ общественныя путы; окруженный богатствомъ, онъ ежеминутно страдаетъ отъ своей неспособности къ жизни — всякое впечатлѣніе перерабатывается въ его головѣ и служитъ для него новымъ доказательствомъ отчужденности отъ своихъ. Онъ чувствуетъ, что жизнь требуетъ отъ него усилія, разрываясь прошлымъ и что наградой за это будетъ свобода. А у него хватаетъ лишь энергіи на бѣшеную, но безсмысленную выходку противъ нивости и гадости своего сословія, красивую по своему негодованію, но абсурдную. Надломленный и опустившійся онъ становится бродягой и всѣ его физическія и умственныя силы растрочены имъ безо всякой пользы.

---

Недавно появилось начало новаго романа Горькаго „Мужикъ“. Вскорѣ затѣмъ прошелъ слухъ, будто авторъ уничтожилъ конецъ произведенія и внезапно, ничего не предупреждая, исчезъ, можетъ быть даже вновь пустился въ бродяжничество. И въ его жизни есть что-то патетическое, что-то метущееся. Въ пору полного расцвѣта своего таланта, онъ вдругъ почувствовалъ, что этого ему мало, что это не удовлетворитъ всѣхъ громаднхъ запросовъ его души. И вотъ онъ снова отправляется искать новыхъ впечатлѣній, болѣе сильныхъ; жаждетъ того что еще больше могло бы волновать его и возбуждать страсти, чѣмъ искусство. Онъ не хочетъ сдѣлаться рабомъ одного момента своего существованія и въ ту минуту, когда

перестаетъ постоянно трепетать отъ прилива все новыхъ и новыхъ жизненныхъ силъ, разрываетъ связь съ своимъ вчерашнимъ я.

---

Въ одномъ изъ своихъ рассказовъ „Читатель“ Горькій самъ себѣ задаетъ вопросъ о социальномъ значеніи писателя. Онъ считаетъ роль его настолько важной и глубокой, что отчаивается за себя въ ея выполненіи. „Я знаю, что это смѣшная и грустная пѣсня о слѣпомъ, который взялъ на себя роль вожака слѣпыхъ“, и его сердце сжимается при этой мысли. Онъ задаетъ себѣ вопросъ — чувствуетъ ли онъ жалость къ людямъ?.. и съ горечью сознается, что ближній далекъ его сердцу. Онъ чувствуетъ, что то, что онъ даетъ людямъ, онъ даетъ не любви, но для того, чтобы прославиться, чтобы возвести фактъ своего существованія въ божественный феноменъ. Онъ самъ себя обзываетъ ростовщикомъ, дающимъ въ долгъ свое чувство, для того, чтобы получить его обратно съ процентами—удивленія и поклоненія. А между тѣмъ безсознательная жалость, болѣе искренняя и глубокая, нежели онъ самъ думаетъ, сжимаетъ его сердце. Но онъ сознаетъ, что врачевать окружающія его страданія, онъ не способенъ; да и что могли бы спросить у него страждущіе, у него? Сомнѣнія грызутъ его и убиваютъ въ немъ всякую вѣру въ свое служеніе людямъ. Люди разобщены, и каждый долженъ бороться за свой рискъ и страхъ.

Въ концѣ-концовъ Горькій приходитъ къ убѣжденію, что главная вина, тяготящая надъ его дѣятельностью, это то, что онъ не можетъ дать людямъ радости, подѣйствовать на нихъ животворно. Человѣчество разуучилось радоваться, а онъ, что онъ далъ ему кромѣ нескончаемыхъ жалобъ или издѣвательствъ надъ страданіями? Эти мысли преслѣдуютъ его, а сомнѣніе въ благотворное дѣйствіе своихъ твореній придаетъ имъ какую-то божественную грусть. Причина глубокаго, пессимизма Горькаго заключается главнымъ образомъ въ убѣжденіи, что жизнь не даетъ логическихъ разрѣшеній вопросовъ. Ко-

нечная цѣль ея не въ благоденствіи и ни въ какой-нибудь правильной организаціи общества, которую тщетно отыскиваютъ моралисты, наоборотъ—необходимо отсутствіе такой правильности, и нельзя искоренять изъ нея скорбь. Что же дѣлать? Единственное спасеніе, это самому относиться къ этой жизни, плохой въ силу необходимости, —какъ можно лучше, красивѣе. Чѣмъ выше человѣкъ, тѣмъ сильнѣе ужасаетъ его окружающее, и ему остается только смотрѣть на него, какъ на неизбѣжное, и считать своимъ первѣйшимъ долгомъ такъ или иначе высказывать свой суровый протестъ.

По мнѣнію Горькаго прежде всего слѣдуетъ излѣчить человечество отъ стремленія къ будничному благоденствію, надо его разбудить отъ спячки, потому что теперь оно самымъ недостойнымъ образомъ покоится сномъ праведнымъ, опочило въ своей жалкой покорности. Нужно во что бы то ни стало возбудить въ немъ энергію даже цѣною страданій, даже, если нужно, осыпая его ударами... Необходимо пробудить его горячей лаской любви или пришпорить страданіями, но все лучше тупого покоя. Вотъ къ этому-то и сводится его работа, когда онъ рисуетъ намъ всѣ ужасы жизни, всю пошлость судебъ человѣческихъ. Онъ прославляетъ возмущившихся, не потому что они хотя въ минимальной степени увеличили долю счастья на землѣ, —но потому, что они обладаютъ смѣлостью накладывать на жизнь печать своей твердой воли. И жизнь должна быть такова, не имѣть права быть иною, все должно проходить въ отчаянныхъ поискахъ чего-то, что оправдывало бы ее и чего не существуетъ пока. Потому что теперь она не имѣетъ смысла. Остается создавать лишь какія-то временные палліативы, но относиться сознательно къ своей неспособности и покоряться ей, протестуя.

Есть классъ людей, у которыхъ эта философія болѣе опредѣлилась, нежели у остальныхъ, которые не признаютъ ея лишь изъ трусости; эти люди бродяги, и Горькій съ истинно родственнымъ пониманіемъ изобразилъ намъ ихъ непокорную гордость. То поученіе, которое онъ выводитъ изъ ихъ жизни, глубоко и всесторонне человѣчно. Потому что не только тѣ,

которыхъ зовутъ бродягами, заслуживаютъ этого названія, но въ каждомъ живомъ существѣ кроется нѣчто, схожее по духу съ послѣдними; болѣе или менѣе сознательное, болѣе или менѣе смѣлое; каждая душа безконечна въ своихъ желаніяхъ и ненасытна въ своихъ потребностяхъ. И Горькій обнажаетъ въ своихъ произведеніяхъ глубокий трагизмъ отчаянія и ужаса всего человѣчества передъ зломъ жизни.

---



## „На днѣ“ Горькаго.

(Статья Ж. Савичъ въ „La Revue“ (за мартъ 1903 г.).

На одной фотографіи, которую скорѣе можно было бы называть даже картиной или даже болѣе того, трогательнымъ и глубокимъ символомъ, Максимъ Горькій и Толстой изображены гуляющими вдвоемъ въ паркѣ. Оба въ блузахъ. Толстой въ бѣлой, Горькій въ темной. Бѣлизна ли одѣянія Толстого, или естественная легкость, которую придаетъ человѣческому тѣлу здоровая и честная старость, но лицо его какъ бы свѣтится особенною ясностью и счастьемъ, будто душа освободилась отъ какой-то значительной тяготы. Вслѣдствіи ли темнаго цвѣта одежды или прирожденной грузности тѣлосложенія, но силуэтъ Горькаго изобличаетъ человѣка, приготовившагося далеко и долго тащить какую-то очень значительную и дорогую для него тяжесть.

Очевидно они только что разговаривали: вокругъ нихъ, надо лбами, какъ будто еще невидимо рѣютъ ихъ мысли... Эта группа до такой степени полна жизни и такъ трогательна, что, глядя на нее, мнѣ казалось, будто я вижу, какъ Толстой передаетъ Горькому—точно въ сказкѣ—талисманъ, и мнѣ чудилось, что я слышу его литературное завѣщаніе молодому писателю.

„Конецъ моего пути близокъ, послѣдніе часы жизни недалеко. Шестьдесятъ пять лѣтъ я прожилъ и пятьдесятъ лѣтъ изъ нихъ трудился непрерывно, съ увлеченіемъ, упорно и безпорядочно! Но знаете ли вы, почему въ моихъ усиліяхъ было такъ мало порядка? Вотъ почему: до послѣдняго времени у меня не было яснаго сознанія, что самое главное въ нашей

жизни. Вотъ почему я всю жизнь бросался, словно слѣпой, изъ стороны въ сторону. Не говоря уже о литературѣ, но всяческія наслажденія, войну, семейную жизнь, воспитаніе, религію, ученіе о нравственности—я все испыталъ, все испробовалъ, всѣмъ занимался и отвѣдалъ ото всѣхъ самыхъ сочныхъ и нѣжныхъ плодовъ, но никогда не находилъ ни умственнаго удовлетворенія, ни душевнаго покоя. Поэтому-то я никогда не былъ доволенъ своими работами: я всегда чувствовалъ, что имъ не достаетъ чего-то рѣдкаго, тонкаго, въ то же время безмѣрнаго и драгоцѣннаго... Я не зналъ чего именно и искалъ этого чего-то, какъ во снѣ ищутъ драгоцѣнность, названія которой не вѣдаютъ. Наконецъ-то теперь я обрѣлъ ее, но уже не могу ею вполне воспользоваться.

Для меня уже и то великое счастье, что результатомъ моей жизни, мученій и трудовъ является эта находка. И я жилъ не напрасно, если Вы, на котораго наша страна возлагаетъ всѣ надежды, съ успѣхомъ воспользуетесь плодами моего опыта“.

„Возьмите, продолжалъ Толстой, это кольцо; вручаю его вамъ и то, что я отдаю его именно вамъ, мнѣ кажется лучшимъ поступкомъ моей жизни. Оно сдѣлано изъ желѣза, взятаго въ моей крови; золото инкрустированное въ немъ—золото моихъ грезъ, а рѣдкій камень—ненарушимая, столь же твердая какъ алмазъ, вѣра въ лучшее будущее... Возьмите его, и всякій разъ, когда почувствуете, что ослабѣваете, когда станете сомнѣваться въ людяхъ и особенно въ самомъ себѣ, посмотрите на выгравированное на кольцѣ слово, и вы будете знать какъ вамъ слѣдуетъ поступить“.

Такъ говорилъ старецъ. Молодой человѣкъ взялъ кольцо, надѣлъ его на палецъ, посмотрѣлъ на надпись и самъ, не давая себѣ отчета почему, задрожалъ. На камнѣ стояло всего лишь одно слово, и то очень коротенькое: „жалость!“

На самомъ ли дѣлѣ Толстой говорилъ Горькому нѣчто подобное подъ прозрачнымъ лѣтнимъ небомъ, среди травъ и деревьевъ своего парка, или что нибудь совсѣмъ иное? Этого, я

конечно, не знаю. Но одно вѣрно, это что „На Днѣ“, послѣдняя драма молодого писателя, имѣвшей выдающійся успѣхъ какъ въ Россіи, такъ и въ Германіи и которая въ непреодолимомъ времени будетъ поставлена въ Парижѣ въ театрѣ Гитри,—носить ясныя слѣды вліянія Толстого. Когда старикъ Лука, до нѣкоторой степени главное дѣйствующее лицо драмы, между прочимъ говорить, что людей надо жалѣть, по неволѣ приходитъ на умъ Толстой, такъ какъ подъ перомъ Горькаго, подобныя слова совершенно неожиданны.

До сихъ поръ не было похоже, чтобы Горькій сталъ жалѣть людей; конечно не потому, что участь несчастныхъ ему безразлична. Нѣтъ, но онъ съ самаго начала своей литературной карьеры, на мѣсто традиціонной жалости, вознесенной его предшественниками на такую высоту, провозгласилъ первенство возмущенія, энергіи и борьбы. И благодаря этому—можетъ быть даже только благодаря этому, онъ достигъ столь неслыханной популярности. Потому что въ настоящее время человечество переживаетъ моментъ всеобщаго разслабленія, которое ему самому опротивѣло и которое онъ хотѣлъ бы стряхнуть съ себя какъ можно скорѣе.

И вотъ всякій человѣкъ, безразлично будетъ ли онъ консерваторомъ и имперіалистомъ, какъ Киплингъ, или революціонеромъ какъ Горькій, по всякій, у котораго культъ силы не только поза, но черта, присущая его темпераменту, тотчасъ же превозносится одряхлѣвшимъ человечествомъ съ разжиженной кровью до небесъ, вызываетъ его удивленіе и поклоненіе. Очевидно, что у Горькаго призывы къ борьбѣ и военные кличи были лишь мимолетными настроеніями, вызванными по вѣсьмъ вѣроятіямъ перепитіями его прежней бродяжьей жизни.

Устроившись въ настоящее время и устроившись превосходно, онъ теперь въ свою очередь входитъ новымъ звеномъ въ славную цѣпь величайшихъ писателей своей родины и подобно имъ начинаетъ проповѣдывать жалость и состраданіе; связующимъ кольцомъ между нимъ и ими служить Толстой.

Дѣйствіе происходитъ въ ужаснѣйшемъ вертепѣ, мерзкомъ, шумномъ и темномъ, гдѣ всевозможные люди живутъ всѣ скученные вмѣстѣ: воръ, шулеръ, слесарь съ женою, торговка пельменями, проститутка, два крючника, бывшій актеръ и т. п. Всѣ они ютятся въ двухъ узенькихъ комнатахъ, заставленныхъ нарами, на которыхъ обитатели ночлежки спятъ по ночамъ. Ее содержитъ нѣкто Костылевъ, женатый на молодой женщинѣ, любовникъ Васьки Пепла, вора.

Всѣ квартиранты Костылева, за исключеніемъ, однако, женщинъ, люди, до такой степени павшіе нравственно и дошедшіе до такого забвенія всякаго человѣческаго чувства, такого презрѣнія къ самимъ себѣ, что отъ ихъ холодного, ужащающаго цинизма, стынетъ кровь въ жилахъ. Анна, жена слесаря, умираетъ. И вотъ не только никто не принимаетъ въ ней участія, не думаетъ ухаживать за нею, какъ въ большинствѣ случаевъ здоровые люди ухаживаютъ за больными, — но всѣ, и ея мужъ одинъ изъ первыхъ, сердятся на ея кашель и стоны. По одну сторону ея кровати двое изъ жильцовъ играютъ въ шашки, по другую четверо съ увлеченіемъ занимаются карточной игрою. — Кричатъ, смѣются, поютъ, ругаются... Этотъ ужащающій гамъ еще усиливается, когда крючникъ уличаетъ шулера въ передежки. Умирающая начинаетъ жаловаться и проситъ дать ей хоть умереть спокойно, на что одинъ изъ оборванцевъ отвѣчаетъ, что шумъ не составляетъ препятствія для смерти.

Но не слѣдуетъ думать, чтобы эти люди были злыми — вовсе нѣтъ; наоборотъ, въ душѣ каждаго изъ нихъ сохранилось что-то, чего можетъ быть нельзя назвать истинной добротой, ни даже просто сочувствіемъ, но что вытекаетъ изъ слабости ихъ характера и что во всякомъ случаѣ совершенно исключаетъ злость. Нѣтъ, эти несчастные не жестоки и не злы; они только потеряли, какъ говоритъ поэтъ, воспоминаніе о добрѣ и злѣ; они равнодушны къ страданіямъ другихъ, но и чужое счастье тоже оставляетъ ихъ невозмутимыми; собственное паденіе не пугаетъ, а мечты о возможности нравственнаго воскресенія не соблазняютъ ихъ. Въ своемъ вѣчно-темномъ

подвалѣ они давнымъ давно перестали отличать разсвѣтъ отъ сумерекъ, день отъ ночи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый изъ нихъ тайно страдаетъ вслѣдствіе этого безразличія; смутные, слабые проблески прежнихъ дней отягощаютъ мозгъ... они забыли въ чемъ разница между зломъ и добромъ, но не забыли, что когда-то знали ее. Если бы они были въ состояніи, проснувшись въ одинъ прекрасный день, начать иную жизнь, о, съ какою радостію они сдѣлали бы это! Но они не могутъ. Каждое утро шапошникъ разстилаетъ на колѣняхъ старые, истасканные и засаленные штаны и начинаетъ выкраивать изъ нихъ свои фуражки; слесарь принимается пилить желѣзо, которое визжитъ и скрипитъ; шулеръ во всеуслышаніе справляется кто это накануне его такъ сильно отколотилъ, что кости и до сихъ поръ еще ноютъ... и тотчасъ же каждый изъ нихъ чувствуетъ, что его снова захватываетъ ужасающая порча этой гнусной общей жизни. Противиться ей нѣтъ возможности. Но это безсиліе сдѣлать новую жизнь, это непреодолимая необходимость оставаться все въ томъ же вертепѣ или другомъ подобномъ же, вызываетъ въ нихъ страданія, можетъ быть, самыя ужасныя, какія можетъ испытывать душа человѣческая, страданія отъ собственного безилія. У каждаго изъ этихъ несчастныхъ нѣтъ силъ, онъ безумно усталъ... Усталъ жить, усталъ надѣяться, усталъ даже отчаиваться. Каждый изъ нихъ, могъ бы сказать вмѣстѣ съ поэтомъ:

Je ne veux plus qu'un air de flûte \*)  
Très lointain en des couchants éteints:  
Je suis si fatigué par la lutte  
Que je ne veux plus qu'un air de flûte  
Très éteint en des couchants lointains...

Конечно, они никогда не подыскали бы для выраженія своихъ чувствъ такой красивой и художественной формы, какъ

---

\*) У меня одно только желаніе—слушать очень отдаленные звуки флейты во время погасающаго заката; я такъ усталъ отъ борьбы, что только и жажду еле уловимыхъ звуковъ флейты во время далекаго, далекаго заката...

Верленъ; но чувства выраженные ими гораздо проще, были бы все тѣ же. Всѣ они не хотятъ болѣе жить, т.-е. сильно чувствовать, хотятъ забыться; они такъ устали, что жаждутъ какого бы то ни было успокаивающаго впечатлѣнія, напримеръ увидеть далекое и блѣдное небо, услышать монотонный и далекий шумъ, который окончательно успокоилъ бы болѣзненную беспорядочность ихъ постоянныхъ и ежедневныхъ ощущений. Всѣ они устали и потому, благодаря своей неспособности реагировать на что бы то ни было стойкое и сильное, въ подвалѣ у нихъ разыгрываются двѣ драмы; назрѣваютъ они постепенно и лишь какое-нибудь непредвидѣнное обстоятельство могло бы воспрепятствовать ихъ развитію. У жены Костылева, хозяйки ночлежки, есть сестра Наташа, существо чистое, честное, великодушное; ей хотѣлось бы освободиться отъ этого ада, но она не можетъ; куда бы она отправилась одна? У нея никого нѣтъ, кто бы ей могъ посовѣтывать помочь выбраться изъ подвала, поселиться гдѣ нибудь въ иномъ мѣстѣ и заняться работой. Для нея есть только одинъ выходъ— порокъ и проституція. Но при одной мысли о подобной карьерѣ всѣ ея чувства, чувства здоровой и честной дѣвушки, возмущаются... Она вынуждена оставаться и остается. Пепель, воръ и любовникъ сестры, усиленно и настойчиво ухаживаетъ за нею; уставъ бороться, она въ концѣ концовъ навѣрное отдаться ему... Съ другой стороны Костылева жаждетъ во что бы-то ни стало освободиться отъ своего мужа, который ей противенъ, и все время наускиваетъ Пепла убить его. И онъ, конечно, уставши сопротивляться ей, кончить тѣмъ, что убьетъ его...

---

И вотъ въ одинъ прекрасный день, среди этихъ людей вдругъ появляется маленькій старичокъ, по имени Лука, и тотчасъ же все вокругъ измѣняется, будто лучъ свѣта проникъ въ эту темь кромѣшную. Различными словечками, повидимому ничего не значущими, но обладающими магической силой утѣшить, воскресить надежды, оживить иллюзіи, Лука

мало-по-малу превращаетъ всё эти несказанно жалкія существа почти что въ счастливицевъ. Аннѣ, женѣ слесаря, вся жизнь которой была сплошнымъ мученіемъ и которую и передъ смертью мучаетъ боязнь, что на томъ свѣтѣ ее ждутъ тоже одни только страданія, онъ говоритъ, что тамъ-то она, наконецъ, отдохнетъ разъ навсегда. И говоритъ онъ это такъ убѣдительно, такъ увѣренно, точно самъ только что спустился прямехонько изъ райскихъ садовъ... Несчастная совершенно успокаивается и утѣшается относительно будущей жизни, начинаетъ даже надѣяться на выздоровленіе, потому что несмотря ни на что, ей не хочется покидать земли. Бывшаго актера, организмъ котораго окончательно отравленъ алкоголемъ, Лука увѣряетъ, что есть гдѣ-то городъ—названіе его онъ не можетъ сейчасъ припомнить, но послѣ навѣрное назоветъ его ему—городъ, гдѣ безвозмездно лѣчатъ и исцѣляютъ алкоголиковъ; актеръ можетъ отправиться туда въ непродолжительномъ времени, а пока что, долженъ стараться по возможности воздерживаться отъ вина. Актеръ вѣритъ въ эту ложь, надѣется и старается не употреблять алкоголя. „Я сегодня работалъ, мелъ улицу: а водки не пилъ! Каково? Вотъ они два пятнадцатыхъ—а я—трезвъ!“ Съ помощью хитрости Лука не даетъ Пеплу убить Костылева и потомъ совѣтуетъ ему отправиться въ Сибирь, гдѣ такіе молодцы, какъ онъ, всегда могутъ найти себѣ работу и жить честно и въ полномъ довольствѣ. Пепелъ слушаетъ его и рѣшается уйти туда вмѣстѣ съ Наташей, на которой собирается жениться. Молодая дѣвушка чувствуетъ къ нему симпатію, къ тому же всё ея мечты сводятся на то, чтобы стать женою честнаго человѣка, а потому она и даетъ свое согласіе.

Однимъ словомъ изъ состраданія къ этимъ жалкимъ людямъ, Лука нѣкоторымъ изъ нихъ предлагаетъ разные серьезные проэкты, но въ большинствѣ случаевъ измышляетъ какую нибудь ложь и ею утѣшаетъ и облегчаетъ ихъ израненныя души. Благодаря этой лжи актеръ вдругъ вспоминаетъ отрывокъ стихотворенія, давно имъ забытаго, но которое онъ когда то декламировалъ съ большимъ успѣхомъ:

Господа! Если къ правдѣ святой  
Миръ дорогу найти не умѣсть,  
Честь безумцу, который навѣсть  
Человѣчеству сонъ золотой.

И подъ вліяніемъ этихъ волшебныхъ проблесковъ, въ ночлежкѣ начинается что-то вродѣ новой жизни, но, увы, продолжается она весьма недолго. Костылева, приревновавъ своего любовника къ сестрѣ, доводитъ дѣло до драки, во время которой убиваютъ ея мужа. Пепла, невольнаго убійцу и его любовницу уводятъ въ тюрьму. Лука, у котораго нѣтъ паспорта и который поэтому имѣетъ полное основаніе остерегаться встрѣчь съ полиціей, исчезаетъ. Послѣ его ухода обитатели подвала снова начинаютъ прежнюю жизнь, жизнь нравственнаго убожества и съизнова погружаются въ первоначальную глубокую темь.

---

Не произойди трагической развязки, вызванной Костылевой, все было бы въ настоящее время превосходно. Пепелъ преспокойно жилъ бы себѣ да поживалъ въ Сибири съ молодой женой. Настя, гулящая дѣвка, по всѣмъ вѣроятіямъ давно ушла бы изъ трущобы и стала жить честнымъ трудомъ; слесарь, болѣе другихъ страдавшій отъ пребыванія у Костылевыхъ, безъ сомнѣнія еще раньше Пепла и Насти перетасилъ бы свои инструменты въ какое-нибудь, менѣе ужасное и убійственное въ нравственномъ отношеніи, мѣсто. А актеръ... Ну, что же? И онъ отправился бы въ тотъ городъ, гдѣ испѣляютъ алкоголиковъ? Да, это вопросъ... Лука, который много говоритъ и много перестрадалъ на своемъ вѣку, но остался хорошимъ человѣкомъ, какимъ, по всей вѣроятности, былъ всегда, работалъ для собственнаго употребленія ученіе о нравственности, весьма мягкое и простое, сводящееся къ двумъ слѣдующимъ главнымъ принципамъ: I) надо жалѣть людей и II) изъ жалости къ нимъ надо скрывать отъ нихъ жестокую и отвратительную правду и оставлять имъ возможность прикрывать ее легкими, цвѣтными лоскутками своихъ иллюзій.



Для подтвержденія перваго Лука рассказываетъ исторію о двухъ голодныхъ, бѣглыхъ каторжникахъ, собиравшихся убить его и ограбить дачу, что онъ сторожилъ. Заканчиваетъ онъ свой рассказъ слѣдующими словами: „Не пожалѣй я ихъ—они бы, можетъ, убили меня... али еще что... А потомъ—судъ да тюрьма, да Сибирь... что толку? Тюрьма — добру не научить и Сибирь не научить... а человѣкъ—научить... да! Человѣкъ—можетъ добру научить... очень просто!“

Итакъ, человѣкъ, жалѣя другихъ людей, этимъ самымъ дѣлаетъ ихъ лучше, это ясно? Главное, дѣлать это во-время и умѣючи, потому что каждого надо жалѣть по особенному, на свой манеръ. Но общее правило, это внушать несчастнымъ „золотые сны“ или самое лучшее не отнимать у нихъ ихъ иллюзій, которыя они сами себѣ создаютъ. Не надо раскрывать имъ глаза на жизненныя истины.

Лука вѣрить, что правда не для всѣхъ хороша, и въ подтвержденіе своего взгляда рассказываетъ одну исторію о томъ, какъ одинъ человѣкъ вѣрилъ въ „праведную землю“ и когда политическій ссыльный доказалъ ему, что такой земли не существуетъ, то онъ пошелъ домой и удавился.

„Исторія невеселая“, замѣчаетъ на это Пепель.

Да, дѣйствительно, невеселая. Но любопытная и даетъ тему для нѣкоторыхъ весьма интересныхъ размышленій. Итакъ, политическій ссыльный, не сумѣвшій пощадить мечтателя и высказавшій ему голую истину, косвеннымъ образомъ оказался виновнымъ въ самоубійствѣ послѣдняго. По мнѣнію Луки ему слѣдовало бы лгать, чтобы поддержать мечтателя въ заблужденіи. Тогда тотъ отправился бы на поиски „праведной земли“, о которой мечталъ, и умеръ бы по дорогѣ отъ голода и холода. Или онъ не двинулся бы съ мѣста и все равно умеръ бы съ холоду и голоду. Но въ обоихъ случаяхъ умеръ бы счастливымъ, съ улыбкой на губахъ, грезя о „праведной землѣ“. А это все, чего желаетъ Лука—надо быть счастливымъ, а какимъ образомъ, все равно, довольно факта. Остальное не важно. Что же, этотъ взглядъ, какъ и всякій другой имѣетъ кое-что за себя. Онъ не новъ. Уже Пушкинъ говорилъ: „тмы

низкихъ истинъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ“. Но онъ имѣетъ также и серьезныя неудобства, а именно — низкая истина рано или поздно разрушаетъ чудный, „возвышающій насъ обманъ“, который мы всѣ, какъ счастливые, такъ и несчастные, такъ или иначе культивируемъ. И тогда бываетъ ужасно оттолкнуть отъ себя истину, принять и дорожить прекраснымъ обманомъ, это значить примириться съ окружающей дѣйствительностью, но примириться, подчиняясь ей. Искать спасенія въ „золотыхъ снахъ“, все равно, что быть пригвожденнымъ къ каменному, покрытому грязью, ложу, лежа на которомъ имъ предаешься. И какъ ужасно тогда пробужденіе!

Къ чему въ концѣ-концовъ привела жалость Луки? А вотъ къ чему: жители трущобы ясно увидали всю неописуемую глубину своего нравственнаго паденія, потому что онъ заставилъ промелькнуть передъ ихъ глазами, выдуманное имъ, лучшее будущее. Но онъ не помогъ имъ выйти изъ ужаснаго подземелья... И, напримѣръ, Настя, проститутка, напивавшаяся раньше и зачитывавшаяся бульварными романами, въ которыхъ говорилось о чистой и честной любви,—доступный ей способъ мечтать о своей „праведной землѣ“,—перестала напиваться и читать, но зато преисполнилась ненависти къ своимъ товарищамъ по ночлежкѣ и къ себѣ самой; силъ же уйти отъ нихъ и перемѣнить образъ жизни у нея все-таки не появилось. Вотъ и подумайте, какъ ужасно она должна страдать. А актеръ?—собиравшійся отыскать городъ, въ которомъ вылъчиваютъ алкоголиковъ, повѣсилъ, потому что понялъ, что его обманули. Ему показали „возвышающій обманъ“, и онъ сдѣлался неспособнымъ переносить „тѣмъ низкихъ истинъ“, среди которыхъ жилъ, однако, раньше.

---

Но Горькій, испытавъ на себѣ, а можетъ быть находясь и по сіе время подъ вліяніемъ Толстого, вовсе не заблуждается относительно цѣнности состраданія. Конечно, это чувство очень почтенное, но его еще менѣе нежели правду, столь антипатичную Луку, можно назвать хорошимъ средствомъ противъ всѣхъ болѣзней.

Состраданіе—это очень хорошо, но правда еще того лучше, какъ бы хотеть сказать Горькій словами шулера Сатина въ четвертомъ дѣйствиі. Удивляться тому, что авторъ избралъ именно Сатина для выраженія своихъ мыслей, нечего: „Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди... говорятъ, какъ шулера?“—Это довольно вѣрное замѣчаніе.

А вотъ, что говорить Сатинъ о Лукѣ: „Онъ вралъ... но—это изъ жалости къ вамъ, чортъ васъ возьми! Есть много людей, которые лгутъ изъ жалости къ ближнему... я — знаю! я—читалъ! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгутъ!.. Есть ложь утѣшительная, ложь примиряющая... ложь оправдываетъ ту тяжесть, которая раздавила руку рабочаго... и обвиняетъ умирающихъ съ голода... Я — знаю ложь! Кто слабъ душой... и кто живетъ чужими соками, — тѣмъ ложь нужна... однихъ она поддерживаетъ, другіе—прикрываются ею... А кто—самъ себѣ хозяинъ... кто независимъ и не жретъ чужого, зачѣмъ тому ложь? Ложь—религія рабовъ и хозяевъ... Правда—Богъ свободнаго человѣка!“.

Вотъ слова и взгляды, вовсе не гармонирующіе со словами и взглядами Луки. На чью же сторону становится самъ Горькій? Между состраданіемъ и правдой,—что онъ выбираетъ?

Я уже сказалъ, что на мой взглядъ онъ склоняется скорѣе къ правдѣ, т.-е. на сторону энергіи, страсти, борьбы, дѣятельности. Но признаюсь, я не вполне въ этомъ убѣжденъ. Несомнѣнно, въ словахъ Сатина недостаетъ непосредственности, горячности, чего-то такого, что заставляетъ насъ чувствовать, что высказываемое совершенно искренне, и выходитъ изъ глубины сердца. Также несомнѣнно то, что слова Луки, наоборотъ, проникнуты глубокимъ и истиннымъ чувствомъ; — вотъ почему они всегда овладѣваютъ нашей душой. Если въ Москвѣ, въ Художественномъ театрѣ, Горькому устроили неслыханную овацію, то, конечно, этимъ онъ обязанъ Лукѣ, а не Сатину. Это характерно для современнаго русскаго общества, но настолько же характерно и для автора

Въ общемъ, Горькій сдѣлалъ шагъ назадъ, по направленію мистико-индивидуалистической морали Достоевскаго и Толстаго.

Когда-то онъ насмѣхался надъ этою индивидуальной моралью, сѣялъ возмущеніе, взывалъ къ энергіи, воспѣвалъ будущія сраженія, а въ настоящее время самъ стремится стать чѣмъ-то въ родѣ милосерднаго самарянина для своихъ соотечественниковъ; желаетъ успокоить ихъ великодушныя волненія, утишить боль отъ ужасныхъ и святыхъ обжоговъ совѣсти чарующими и нѣжными звуками сострадательной флейты.

Но онъ еще слегка колеблется.

Что скажетъ намъ завтра?

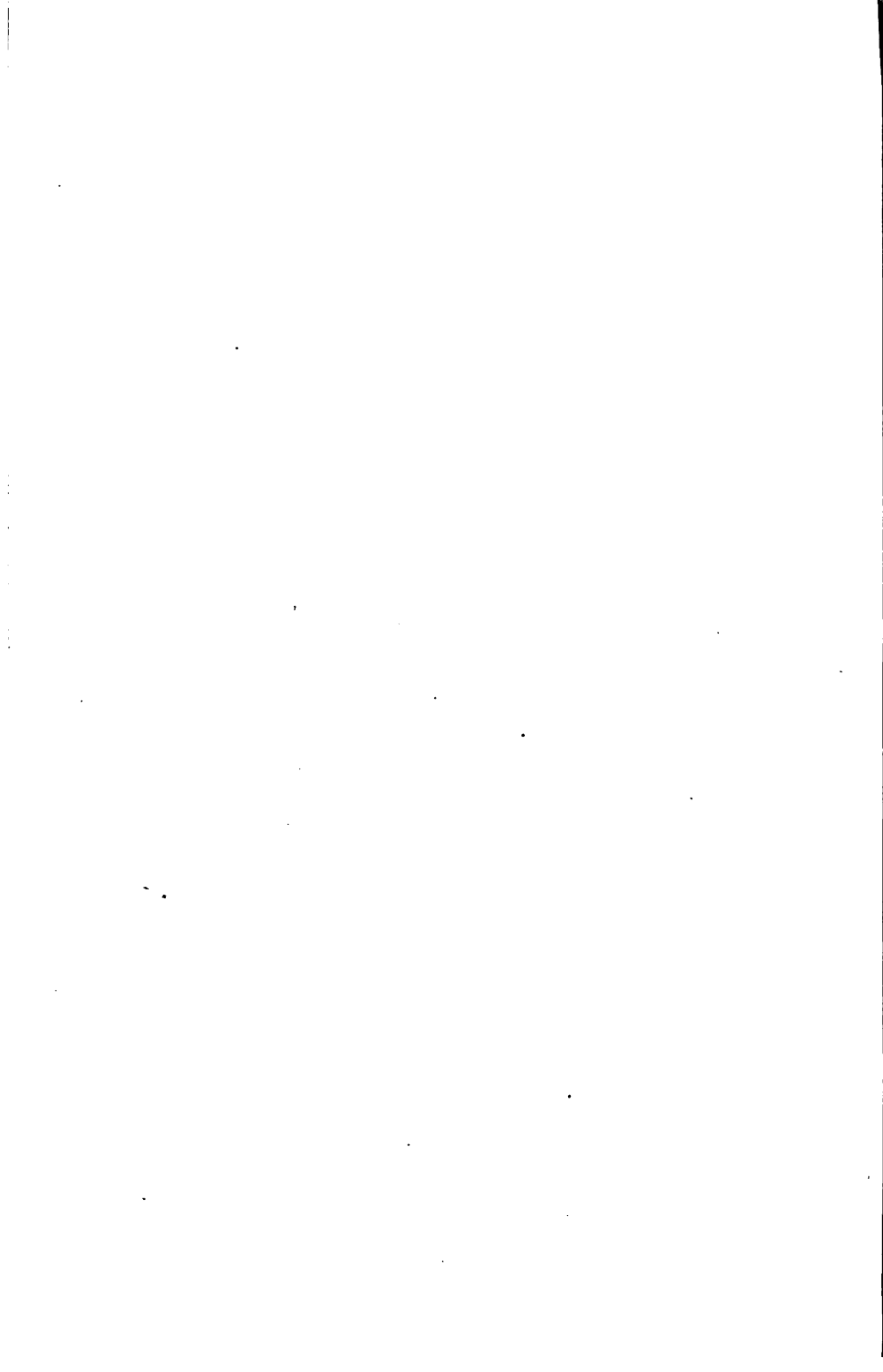
Окончательно ли склонится къ „золотымъ снамъ“ или вернется на болѣе длинный и трудный, но приводящій къ вѣрной побѣдѣ золотой путь дѣйствительности?

Снова ли возьмется за свой звонкій рогъ и станетъ по старому возвѣщать чудныя сраженія, которыя мы виѣстѣ, не только предчувствовали, но уже торжествовали будущія великія побѣды. Или же удержитъ въ своихъ рукахъ, теперь столь нѣжныхъ, мистическую флейту, первые звуки которой доносятся до насъ, а этимъ мелодичнымъ инструментомъ, вмѣсто всякаго оружія, станетъ навѣвать на людей неосуществимыя мечты и убаюкивать умирающихъ тихимъ и очень-очень отдаленнымъ наѣвомъ во время потухающихъ закатовъ?

---

ОТДѢЛЪ IV.

**Шведская критика.**



## ОТДѢЛЪ IV.

### Шведская критика \*).

Новая величина русской литературы.

**Максимъ Горькій.**

(Stockholms Dagblad Octobre 2 & 10, 1901. V. Langelet).

#### I.

Нерѣдко случалось, что наша литературная критика запаздывала дать какой-нибудь отзывъ о произведеніяхъ иностраннаго писателя, который уже успѣлъ не только у себя на родинѣ, но даже и за границей пріобрѣсти извѣстность и сдѣлаться популярнымъ. Особенно же часто мы грѣшили въ этомъ отношеніи относительно произведеній на славянскихъ языкахъ. Конечно, это зависѣло отчасти отъ недостатка переводчиковъ, владѣющихъ славянскими нарѣчіями, но, разумѣется, причиною этого были и другія обстоятельства, иногда просто нерасположеніе, какъ публики, такъ и издателей къ новому имени. Ранѣе совсѣмъ не предъявлялось столь строгихъ требованій къ качеству переводовъ, какъ теперь; мирились даже съ переводами изъ вторыхъ рукъ, напр. съ французскаго, нѣмецкаго или англійскаго; не были такъ разборчивы относительно обработки языка и стиля. Теперь требованія повысились и постановка дѣла измѣнилась; въ настоящее время у насъ не особенно охотно мирятся съ переводами, сдѣланными не съ ори-

\*) Было еще нѣсколько статей или, вѣрнѣе, пересказовъ твореній Горькаго, не имѣющихъ для русскаго читателя никакого значенія.

гинала и который не удовлетворителенъ въ смыслѣ обработки языка. Въ счастью, похоже на то, что скоро у насъ будетъ публика, жаждущая чего-нибудь самороднаго и оригинальнаго какъ по содержанію, такъ и по формѣ и тогда появятся переводчики, которые будутъ въ состояніи выполнить предъявляемыя имъ требованія, и издатели, желающіе пойти на встрѣчу запросамъ времени.

Доказательство этого — и самымъ пріятнымъ доказательствомъ — можетъ служить изданіе рассказовъ Максима Горькаго въ шведскомъ переводѣ, первый томикъ которыхъ появился на-дняхъ. Несмотря на сравнительно короткое время литературной дѣятельности, Горькій написалъ довольно много, и мы съ увѣренностью можемъ сказать, что все, имъ написанное, должно возбудить сильный интересъ у насъ въ Швеціи своей новизной.

До сихъ поръ въ шведскомъ переводѣ было напечатано лишь нѣсколько коротенькихъ набросковъ Максима Горькаго, поэтому онъ является для насъ новой литературной величиной. Доказать, что это величина весьма крупная — цѣль настоящей статьи; къ сожалѣнію, не имѣя возможности пользоваться русскимъ оригиналомъ, мы должны были довольствоваться лишь появившимися на шведскомъ и другихъ языкахъ переводами.

Изученіе литературнаго творчества Максима Горькаго само по себѣ чрезвычайно интересно, такъ какъ трудно встрѣтить болѣе яркую индивидуальность, нежели его. Но благодаря именно этой его своеобразности необходимо, для болѣе яснаго пониманія его, какъ личности, знакомство съ жизненными условіями, среди которыхъ она могла возникнуть и развиться. Знаніе средствъ и условій, среди которыхъ жилъ писатель, всегда желательно для болѣе правильной оцѣнки произведеній автора; но когда дѣло имѣешь съ художникомъ, какъ Максимъ Горькій, это становится крайней необходимостью. При попыткѣ же выставить литературныя достоинства его работъ еще больше основаній, чѣмъ при чтеніи ихъ, для предварительнаго, хотя бы бѣглого обзора исторіи его жизни. Кромѣ того, это даетъ ключъ для пониманія многого, что при недостаткѣ у читаю-



шаго глубокаго знанія условій жизни и духа русскаго народа может показаться неяснымъ или незамѣтнымъ, хотя бы на самомъ дѣлѣ представляло значительный психологическій или литературный интересъ, поэтому совѣтуемъ желающимъ поближе ознакомиться съ жизнью Горькаго прочесть статью французскаго критика Melchiór de Vogue и книгу В. Ф. Бочановскаго.

Въ 1898 году Горькій издалъ первый томикъ своихъ рассказовъ. Критика отнеслась къ нимъ нѣсколько нерѣшительно, называя блестящими звѣздочками, но указывая въ то же время на отсутствіе въ немъ солиднаго фона; но зато публика сразу оцѣнила его и увлекла за собою критику.

Но тутъ возникаетъ вопросъ — не объясняется ли этотъ быстрый успѣхъ русскимъ характеромъ, всегда легко воспламеняющимся и склоннымъ къ преувеличиванію? Къ этому еще слѣдуетъ отмѣтить тотъ фактъ, что Россія, относительно литературы, давно уже находится въ выжидательномъ настроеніи. Гордость и слава прошлаго, Толстой, продолжая писать, почти отказался отъ беллетристики. Среди молодыхъ писателей Короленко, Чеховъ и Потапенко, очень любимы у себя на родинѣ и пользуются заслуженнымъ успѣхомъ, какъ хорошіе рассказчики. Но могучаго и яркаго таланта писателя оригинальнаго, который бы сумѣлъ указать и объяснить самую суть молодой Россіи, который прокладывалъ бы новые пути, умѣлъ бы возбуждать всеобщее сочувствіе, — такого писателя, достойнаго стать преемникомъ великаго старика Толстого и быть представителемъ русской литературы предъ лицомъ всего свѣта, — до сихъ поръ не находилось.

Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, если въ Россіи думаютъ найти все это въ лицѣ Максима Горькаго. Ошибка ли это — судить слишкомъ рано, такъ какъ писателю исполнилось всего тридцать лѣтъ и его первыя произведенія напечатаны сравнительно очень недавно.

Но еслибы Горькій, благодаря своей болѣзни, не написалъ болѣе ни строчки; еслибы вся его литературная дѣятельность свелась къ напечатанному имъ до сего времени, — то и тогда,

намъ кажется, его имя заняло бы почетное мѣсто въ исторіи литературы.

## II.

Въ первомъ сборникѣ произведеній Горькаго на шведскомъ языкѣ помѣщено пять рассказовъ. Изъ нихъ самый большой могъ бы съ одинаковымъ успѣхомъ называться отрывкомъ изъ романа или законченной повѣстью. Впрочемъ Горькій едва ли когда-либо напишетъ большой романъ. Одно изъ его произведеній, напр. *Томъ Гордѣевъ*, задумано, какъ романъ: но вѣрнѣе было бы назвать его избыливающей длиннотами повѣстью. Нужно замѣтить, что во многихъ изъ его рассказовъ хватило бы матеріала на цѣлый романъ; но, повидимому, Горькаго на это не хватаетъ. Въ его произведеніяхъ есть дѣйствіе, есть удачно очерченные характеры, по послѣдніе всегда приближаются къ типамъ, а дѣйствіе ограничивается общей сферой; умѣнье придумать завязку, удачно развить дѣйствіе и довести его до конца едва ли лежитъ въ характерѣ таланта Горькаго, да, можетъ быть, и вообще русскаго творчества. Поэтому врядъ ли можно ожидать отъ Горькаго, чтобы онъ когда-либо началъ облекать свои произведенія въ болѣе пространную и болѣе глубокую форму, нежели теперь. Вслѣдствіе этого онъ является продолжителемъ вкоренившейся, повидимому, за послѣднее время, въ новѣйшей русской литературѣ, манеры писать коротенькія повѣсти.

Рассказъ „Выбитые изъ колеи“ (Бывшіе люди) по композиціи какъ бы составляетъ часть романа. Уже изумительное по своей художественности описаніе городской окраины, въ началѣ рассказа, гдѣ „мутно-зеленые отъ старости стекла оконъ“ лачугъ „смотрятъ другъ на друга взглядами трусливыхъ жуликовъ“, чувствуется съ какимъ крупнымъ дарованіемъ, мы имѣемъ дѣло, и доказываетъ съ какой поразительной правдой изображается жизнь, этого удивительнаго „milieu“. Дѣйствующія лица рассказа, — Аристидъ Кувалда, спившійся въ конецъ, хотя и обладающій большими достоинствами, бывший ротмистръ,

одѣленъ необыкновеннымъ юморомъ и горькимъ сарказмомъ; его ближайшій другъ бывшій школьный учитель и кропатель газетныхъ замѣтокъ, бывшій начальникъ тюрьмы, а нынѣ просто шуллеръ, Мартіановъ, и другія подобныя же лица. У каждого изъ нихъ есть прошлое и жизнь каждого поэтому могла бы послужить темой для романа. Они заслужили эпитетъ „бывшихъ“ потому, что для всѣхъ ихъ жизнь въ обществѣ стала немислимою, осталась за ними; это выраженіе „бывшіе люди“ едва ли переводимо на шведскій языкъ, потому передаю словомъ „Utrparade“ (Выбитые изъ колеи). Люди, которыхъ описываетъ Горькій, дѣйствительно выбиты изъ колеи, они были когда-то или могли бы быть въ совершенно иномъ положеніи, но, вслѣдствіе стеченія обстоятельствъ, въ девяти случаяхъ изъ десяти вслѣдствіе пьянства, они сбиваются съ пути и вынуждены искать пріюта въ убѣжищѣ, какъ называетъ бывшій ротмистръ свою конуру, расположенную чрезвычайно удобно и какъ разъ противъ Вавилоскаго кабака.

Изъ біографіи Горькаго мы видимъ откуда у него взялось пониманіе этихъ людей и почему онъ задался цѣлью изображать ихъ; хотя эти пасынки общества отчасти и сами повинны въ своихъ злосчастіяхъ, но тѣмъ не менѣе возбуждаютъ наше состраданіе;—сознаніе, что они сами заслужили свое несчастье лишаетъ ихъ силъ подняться, и отнимаетъ всякую надежду на подобную возможность.

Если думать, — что писатель съ помощью своего таланта можетъ научить насъ понимать другъ друга и что самое великое и самое прекрасное, что онъ можетъ сдѣлать—это возбудить въ насъ сочувствіе къ каплѣ хорошаго, что встрѣчается даже въ самыхъ погибшихъ людяхъ, то съ помощью примиряющаго юмора, то вдругъ съ помощью поразительныхъ, потрясающихъ душу, контрастовъ, вызвать состраданіе къ тѣмъ, которые ничѣмъ, рѣшительно ничѣмъ не могутъ утишить своихъ душевныхъ мукъ,—если такъ, то Горькій великій мастеръ. Безпутные герои Горькаго, которыхъ онъ откапываетъ среди самыхъ низкихъ подонковъ человѣчества, бываютъ иногда добрыми, иногда злыми, но всегда глубоко несчастны

ми и измученными людьми; часто они дики и грубы, словомъ таковы, каковы въ дѣйствительной жизни, но трогаютъ насъ потому, что страдаютъ. Писатель не приукрашиваетъ ихъ, не идеализируетъ, — да и въ самомъ дѣлѣ, что въ нихъ идеализировать? а изображаетъ такими, какими самъ видѣлъ въ жизни; но въ то же время онъ и не уменьшаетъ той искры добра, которая теплится въ каждомъ изъ нихъ; у нихъ напр. нѣтъ нѣкоторыхъ недостатковъ, которыми скрытно или явно обладаютъ люди, не выбитые изъ колеи. Его взглядъ на это ясно выражается въ простодушныхъ словахъ одного изъ его босяковъ, съ гордостью заявляющаго купцу Петуникову:

— Разные бываютъ... какъ Богъ захочетъ... Есть хуже меня... Еще хуже есть... да.

Такое чувство сквозитъ и въ другомъ его рассказѣ „Челкашъ“. Въ немъ главный герой, Челкашъ, чувствуетъ себя неизмѣримо выше деревенскаго парня Гаврилы, который, хотя и не совершалъ ранѣе никакихъ преступлений, но благодаря своей алчности, сперва унижается до самаго жалкаго попрошайства, а потомъ посягаетъ даже и на убійство. Тогда какъ онъ, контрабандистъ и воръ, неповиненъ въ жадности и къ деньгамъ чувствуетъ одно лишь презрѣніе.

„Челкашъ слушалъ его радостные вопли, смотрѣлъ на сіявшее, искаженное восторгомъ жадности лицо, и чувствовалъ, что онъ — воръ, гуляка, оторванный отъ всего родного — никогда не будетъ такимъ жаднымъ, низкимъ, непомнящимъ себя. Никогда не станетъ такимъ! И эти мысли и ощущеніе наполняя его сознаниемъ своей свободы и удали, удерживали его около Гаврилы на пустынномъ морскомъ берегу“.

Этотъ рассказъ дышетъ могучей, непосредственной мощью; несмотря на мрачность сюжета, весь онъ проникнутъ какимъ-то чарующимъ настроеніемъ, въ немъ полное отсутствіе искусственности, необыкновенная ясность, мастерская обрисовка деталей. На ряду съ глубочайшимъ реализмомъ, — ничего не происходитъ, не говорится и не дѣлается, на чемъ не лежалъ бы отпечатокъ дѣйствительности — мы въ продолженіи всего рассказа чувствуемъ искренность и теплоту самого автора; онъ

тонко задуманъ и выполненъ—въ немъ нѣтъ ни единого лишняго или недостающаго слова, ни единого, которое можно бы было выпустить, или которое требовало бы поясненія. Короче сказать, мы, не колеблясь ставимъ этотъ мрачный рассказъ на ряду съ лучшими произведеніями современной литературы. Онъ изъ числа тѣхъ немногихъ, которымъ, не задумываясь, можно предсказать, что они станутъ классическими и многіе, передъ которыми мы теперь еще преклонялись, впоследствии отойдутъ на второй планъ передъ этой новой звѣздой. Въ этомъ рассказѣ встрѣчаются отдѣльныя выраженія, сцены, страницы, которыя такъ врѣзываются въ память, что никогда уже не изгладятся; и это потому, что написаны такъ смѣло,—такъ чудно хорошо, потому что говорятъ то, что хочеть сказать авторъ и говорятъ такимъ языкомъ, что его нельзя забыть. Напримѣръ, сцена, когда до полу-смерти избитый Челкашъ плюетъ въ глаза своему товарищу и убійцѣ и говоритъ:

— Гнусь!.. И блудить-то не умѣешь!—А тотъ вытираетъ лицо и проситъ прощеніе „ради Христа“. Или когда Гаврила заводитъ рѣчь о жизни въ деревнѣ, и отрывистыми фразами, точно задавая вопросы своимъ собственнымъ мыслямъ и только мимоходомъ облекая ихъ въ слова, рассказываетъ о томъ, какова эта жизнь при деньгахъ и безъ денегъ и т. д., или напр., когда Челкашъ, головорѣзь и контрабандистъ, во время своей опасной „экспедиціи“ тоже начинаетъ философствовать на тему жизни въ деревнѣ—рассказъ товарища и его мечта о будущемъ, заставляютъ работать и его фантазію въ томъ же направленіи и въ его воображеніи возникаютъ чудныя картины деревенской жизни, и онъ кончаетъ восторженнымъ гимномъ ея прелести.

Какъ въ этомъ, такъ и въ другихъ рассказахъ встрѣчаются замѣчательная по силѣ изображенія природа. Но лучше всего ему удаются описанія природы, когда онъ сознательно приступаетъ къ нимъ, а не мимоходомъ; море ли, степь ли онъ рисуетъ намъ, все равно, и то и другое у него великолѣпно. Величественная, гордая природа побережья Чернаго моря дѣйствуетъ съ оди-

наковой силой на всѣхъ, кто только видитъ его. Глубокій темно-синій цвѣтъ моря и разнообразіе береговъ, то покрытыхъ безконечными травяными степями, то вздымающимися къ небу горами, чаруютъ каждого. Народъ, населяющій эти берега, принадлежитъ къ разнымъ многочисленнымъ племенамъ, нравы и обычаи которыхъ такъ же разнообразны, какъ и типы, и внѣшній видъ.

Таково Черное море и его берега; и поэтъ оно чарующія пѣсни. Художникъ Айвазовскій сталъ живописцемъ Чернаго моря и еще никто не умѣлъ такъ, какъ онъ, передать на полотнѣ красоты его. Максимъ Горькій сдѣлался пѣвцомъ Чернаго моря. Онъ не писалъ въ честь его дифирамбовъ, но избиралъ его, какъ бы фономъ для многихъ своихъ рассказовъ. какъ напр. въ рассказѣ „Челкашъ“, „Старухѣ Изергиль“ и „Емельянѣ Пиляй“; тутъ рѣчь идетъ о человѣкѣ, отправившемся на разбой, но не совершившимъ его, такъ какъ, побуждаемый жалостью, самъ спасаетъ отъ смерти самоубійцу.

Замѣчательно, что всѣ три послѣднихъ рассказа оканчиваются описаніемъ моря; словно меланхолическій, глубокий аккордъ, тихо призывающій къ примиренію волокольный звонъ, составляющій разительный контрастъ съ тревожнымъ настроеніемъ рассказа о различныхъ преступленіяхъ и несчастіяхъ. Въ „Бывшихъ людяхъ“ настроеніе этого заключительнаго аккорда вызываетъ въ насъ дождь и тяжелыя облака. Иной разъ то же дѣйствіе производитъ рѣка,—молчаніе, тишина, пустынные и сумрачные берега рѣки.

Подробно остановиться на разборѣ рассказа „Каинъ и Артемъ“ мы не можемъ по недостатку мѣста, отмѣтимъ лишь самое существенное. Какъ и предыдущіе, онъ отличается необыкновенной силой и оставляетъ на читателя глубокое впечатлѣніе; дѣйствующія въ немъ лица — люди той же общественной среды, но идеи, высказываемыя въ немъ, замѣчательны по своей оригинальности и смѣлости.

Наконецъ, „Старуха Изергиль“ дѣлаетъ нѣсколько фантастическое впечатлѣніе и не потому, чтобы въ немъ были какія-нибудь погрѣшности противъ вѣрной передачи дѣйствительности.

но по своему содержанію; сюжетъ его—разсказъ старой Молдаванки, бывшей красавицы, о своихъ любовныхъ приключеніяхъ. Въ разсказъ вплетены двѣ степныя легенды поразительныя по своей величественной красотѣ. Тутъ Горькій обнаружилъ новую сторону своего дарованія, а именно чрезвычайно богатую фантазію, наличность которой едва ли можно было подозрѣвать у такого завзятаго реалиста, но которая, однако, очень хорошо уживается на ряду съ этимъ въ его чисто русской натурѣ.

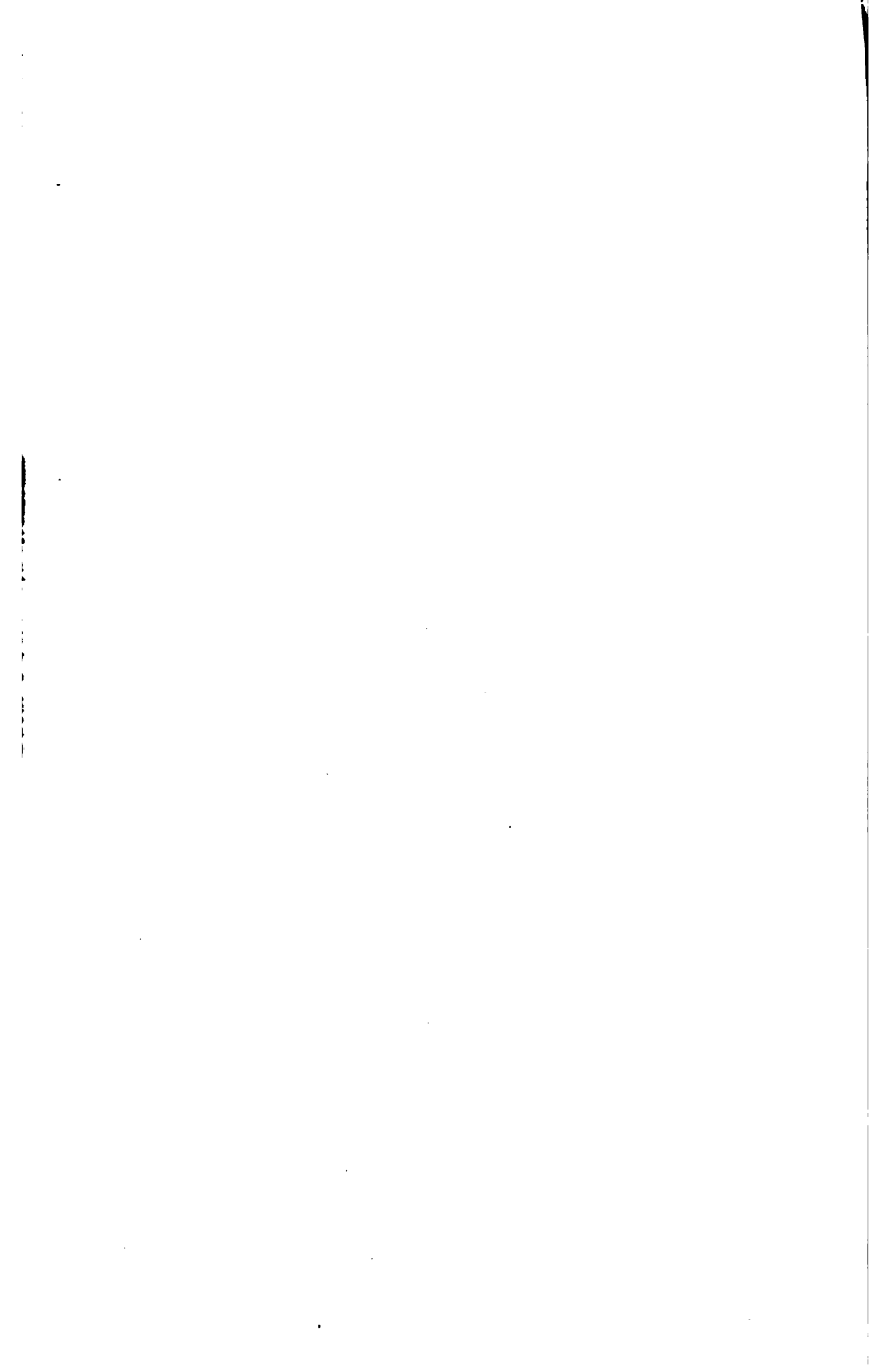
---





ОТДѢЛЪ V.

**Датская критика.**



## Отдѣлъ V.

Датская критика.

**Максимъ Горькій.**

Politiken. Іюнь 1901 г.

Чтобы понимать произведенія Горькаго, безусловно необходимо предварительно ознакомиться въ общихъ чертахъ съ его біографіей; въ нихъ бесспорно изображается только то, что онъ самъ видѣлъ и пережилъ. Въ его разсказахъ мы не найдемъ ни воспоминаній изъ прошлаго, ни экскурсіи въ область фантазіи, ни описаній среды высокообразованныхъ людей. Такой подборъ матеріала является чѣмъ-то совершенно новымъ для иностраннаго читателя и притомъ настолько новымъ, что читателю — въ особенности не русскому — становится очень трудно судить какъ о талантѣ Горькаго, такъ и о его умѣни правдиво изображать дѣйствительность. Вѣдь для того, чтобы судить о сходствѣ портрета, необходимо, конечно, предварительно познакомиться съ оригиналомъ.

Горькій прежде всего объективный наблюдатель и знатокъ человѣческой души; идея и внѣшняя форма у него на второмъ планѣ. У другихъ крупныхъ русскихъ бытописателей, извѣстныхъ Европѣ, напр. Гоголя, Тургенева, Гончарова, наконецъ въ старости у Толстого, идея, наоборотъ, всегда служила исходною точкою произведенія. За исключеніемъ Тургенева, по своему образованію всецѣло принадлежащаго Западу, всѣ они имѣли склонность даже черезчуръ увлекаться въ этомъ отношеніи. Произведенія въ родѣ „Войны и Мира“ или романовъ Достоевскаго похожи скорѣе на тюки идей, чѣмъ на книги; въ нихъ

втиснуто слишкомъ много; имъ недостаетъ пластичности образовъ, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда въ нихъ ясно проглядываетъ подражаніе французскимъ образцамъ.

Отсутствие ясной основной идеи особенно отчетливо сказывается у Горькаго при попыткахъ создать что-либо очень сложное, напр. какъ въ романѣ „Томъ Гордѣевъ“. Онъ разбрасывается во всѣ стороны и, благодаря этому, интересъ къ главному дѣйствующему лицу, не отличающемуся особой яркостью изображенія, нерѣдко значительно ослабѣваетъ. Тамъ, гдѣ онъ занимается многими лицами,—какъ напр. въ рассказѣ „Бывшіе люди“, описывая ихъ подробно одно за другимъ, и проводя передъ читателемъ, какъ бы нанизывая на ниточку, онъ дѣлается утомительнымъ и неуклюжимъ, вслѣдствіе своего многословія и чрезмѣрной небрежности, съ которою ведетъ дѣйствіе, а также по неумѣнію дѣлать необходимыя художественныя сокращенія. Лишь въ небольшихъ рассказахъ, гдѣ на первомъ планѣ одно или два лица, онъ оказывается первокласснымъ мастеромъ въ полномъ смыслѣ слова.

Онъ изображаетъ не жизнь общества; почти во всѣхъ его рассказахъ выведены люди, стоящіе внѣ общества; съ особою любовью онъ останавливается на бродягахъ, людяхъ, живущихъ внѣ закона или въ разладѣ съ нимъ; различные виды людей опустившихся, шатающихся, шарлатановъ, мошенниковъ, женщинъ легкаго поведенія—вотъ его любимые герои. Онъ не прикрашиваетъ ихъ, но въ то же время дѣлаетъ до нѣкоторой степени интересными, благодаря смѣлости, жизненной бодрости и гордости.

Онъ чуждъ эротизма и—общее свойство русскихъ писателей—цѣломудренъ въ выраженіяхъ, какую бы среду ни описывалъ. Его женскіе типы всѣ возвышенны; въ нихъ есть что-то недосказанное, загадочное даже въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ выражаются весьма свободно. Одинъ изъ его рассказовъ, гдѣ центральною фигурою является молодая дѣвушка „Варенька Олесова“, представляетъ изъ себя настоящий перлъ. Варенька обворожительна и въ высшей степени оригинальна по своему невѣдѣнію и своей своеобразности. Въ

большинствѣ же другихъ его разсказовъ на первомъ планѣ стоятъ люди того слоя общества, гдѣ царятъ голодъ и водка, гдѣ господствуютъ грубость и хитрость, гдѣ женщины, какъ и мужчины, получаютъ и даютъ колотушки и гдѣ въ большинствѣ случаевъ ночуютъ подъ открытымъ небомъ. Во всѣхъ нихъ ярко выступаетъ горькая, свободная отъ предразсудковъ и гордая въ своемъ стремленіи къ независимости, жизненная философія писателя — его любовь къ людямъ, чуждая всякой сентиментальности, и любовь къ свободѣ, какъ напр. въ превосходныхъ разсказахъ „Супруги Орловы“ и „Проходимецъ“.

Нѣкоторыя отдѣльныя произведенія заслуживаютъ, чтобы на нихъ остановиться подольше.

Въ „Варенькѣ Олесовой“ Максимъ Горькій предпринимаетъ въ видѣ исключенія экскурсію въ Тургеневскую область, такъ какъ говоритъ о жизни высшихъ классовъ и сосредоточиваетъ центръ тяжести всего разсказа на типѣ молодой дѣвушки, который онъ отдѣливаетъ съ большою тщательностью. Она съ дѣтства живетъ въ деревнѣ, красива, какъ майскій день, привлекательна, какъ неясное предчувствіе безумнаго счастья, и обворожительна наивной логикой своихъ здоровыхъ, веселыхъ предразсудковъ. Она пышетъ здоровьемъ, сильна, но не груба, горда, но не бездушна, дѣйствуетъ свободно и самоувѣренно въ своемъ дѣвичьемъ невѣдѣніи.

Этой молодой дѣвушкѣ Горькій навязываетъ пристрастіе къ французскимъ сенсационнымъ романамъ. Русскихъ писателей она находитъ скучными; они пишутъ о такихъ вещахъ, которыя она знаетъ впередъ, не умѣютъ придумать ничего занимательнаго и сообщаютъ только повседневную правду. „А развѣ вы не любите правды?“ — спрашиваетъ московскій приватъ-доцентъ. „Я говорю правду каждому въ лицо“, — отвѣчаетъ она, „но что же тутъ любить? Это моя привычка, но что же тутъ любить?“ И она превозноситъ своихъ французовъ. У нихъ настоящіе герои, которые говорятъ и дѣйствуютъ совсѣмъ не такъ, какъ другіе люди, они всегда храбры, влюблены, веселы и т. д., тогда какъ русскіе герои вовсе не герои, а самые обыкновенные люди, безъ смѣлости, безъ пылкихъ чувствъ.

Развѣ герой тотъ, кто глупъ и неуклюжъ, говоритъ кое-какъ, объясняется въ любви, а потомъ обдумываетъ, что изъ этого выйдетъ; сначала не рѣшается жениться, а женившись говорить своей женѣ пошлости и затѣмъ бросаетъ ее — ну, что въ этомъ интереснаго? — Если же читаешь произведеніе француза, то дрожишь за героевъ, сожалѣешь ихъ, молишься за нихъ, плачешь, когда они погибаютъ, съ нетерпѣніемъ ждешь окончанія романа и буквально предаешься отчаянію, когда онъ оконченъ. Больше всего ей нравятся книги объ интересныхъ злодѣяхъ которые умны и сильны, умѣютъ разставлять коварныя сѣти, должны преодолевать препятствія и въ концѣ концовъ все-таки попадаютъ.

Здѣсь Горькому повидимому хотѣлось подчеркнуть разницу между подобнаго рода романами, столь правящимися людямъ, мало развитымъ въ литературномъ отношеніи и совершенно не цѣнящимися образованными читателями, и русскимъ романомъ съ его любовью къ простотѣ и правдивости. Однако въ разсказахъ самого Горькаго можно найти описанія интересныхъ злодѣевъ, хотя, правда, они не являются героями романовъ; въ вышеприведенномъ отрывкѣ онъ во всякомъ случаѣ устами третьяго лица высказываетъ свое мнѣніе о задачахъ литературнаго творчества. Книги должны намъ уяснять смыслъ жизни, желанія людей и настоящія побудительныя причины ихъ поступковъ. Понимать людей значитъ прощать имъ многія ошибки. Долгъ честной литературы объяснить людямъ, въ чемъ состоитъ счастье, къ которому всѣ стремятся, и гдѣ его можно найти. Что касается послѣдняго пункта, то пожалуй можно сказать, что это слишкомъ большое требованіе отъ честнаго писателя. Несчастье почти всѣ понимаютъ одинаково, но опредѣленія счастья такъ же разнородны, какъ разнородны и люди.

Нельзя сказать, чтобы и въ сочиненіяхъ самого Горькаго можно было найти указанія, въ чемъ мы должны искать счастья. Главнымъ образомъ въ нихъ разъясняется, какъ и почему въ Россіи простой народъ лишенъ счастья и какъ въ суровой земной жизни можно вообще обходиться безъ счастья. Кромѣ того онъ жаждетъ описать все то, что наблюдалъ и на поло-

вину пережилъ; и такъ увлекается этими описаніями, что ему не остается ни времени, ни мѣста для опредѣленія какъ надо устроить жизнь.

Горькій предпочтительно останавливается на людяхъ погибшихъ или опустившихся, въ которыхъ, однако, скрыты значительныя природныя силы. Вслѣдствіе этого такіе люди время отъ времени какъ бы пробуждаются и ведутъ здоровую вполне удовлетворяющую ихъ жизнь. Отличный примѣръ этого пробужденія представляютъ „Супруги Орловы“. Ни въ какомъ другомъ разсказѣ Горькаго мы не найдемъ такого яркаго изображенія того, какъ грубость и высокая образованность соединяются во имя служенія высшей гуманности.

Сюжеты большинства разсказовъ взяты имъ изъ низшихъ классовъ населенія. Передъ читателемъ проходитъ безконечный рядъ бродягъ, контрабандистовъ, жуликовъ и т. д., которые очень часто весьма близки къ убійству, но благодаря уму или прирожденному чувству, иногда прорывающемуся у нихъ, удерживаются и продолжаютъ весело проводить время. „Проходимецъ“ — это бродяга - юмористъ, который, благодаря разнымъ хитрымъ выдумкамъ, беззащѣтливости и смѣлости, всюду находитъ себѣ пріемъ и поддержку. Челкашъ — пронырливый и умный контрабандистъ, Емельянъ Пиляй — человекъ, котораго отчаяніе чуть не дѣлаетъ убійцею, но который вмѣсто того спасаетъ жизнь молодой особѣ, покушающейся на самоубійство, и, несмотря на свою бѣдность, рыцарски отказывается отъ предложенной ему денежной помощи. „Кайнъ и Артемъ“, разсказъ о красавцѣ - атлетѣ, явно и безъ тѣни стыда обирающемъ своихъ любовницъ, и о забитомъ маленькомъ еврей, спасшемъ въ силу особаго стеченія обстоятельствъ жизнь силачу и за это пользующемся его защитой. Эта исторія сначала до нѣкоторой степени напоминаетъ извѣстную басню о львѣ и мыши. Но горечь, присущая Горькому, не позволяетъ ему повторить басню до конца. Разсказъ оканчивается тѣмъ, что Артемъ отказывается отъ покровительства Кайну; въ глубинѣ сердца у него нѣтъ ни малѣйшаго состраданія, необычная роль защитника ему надоѣдаетъ.

Въ Ѳомѣ Гордѣевѣ Горькій изобразилъ психологію крупныхъ русскихъ кушцовъ двухъ поколѣній. Передъ нами раскрывается духовная жизнь сильныхъ и своевольныхъ натуръ, развивающихся подъ вліяніемъ унаслѣдованной грубости и себялюбія. Изъ такого чувства необузданной независимости могло бы конечно возрасти нѣчто красивое и великое, но все рушится въ неразуміи и самодурствѣ главнаго дѣйствующаго лица. Ѳома дѣлается пьяницей и попадаетъ въ сумасшедшій домъ. Въ разсказѣ Горькаго водка занимаетъ такое же видное мѣсто, какъ и въ дѣйствительной русской жизни. Мы видимъ, что въ низшихъ сословіяхъ каждый высокій порывъ въ концѣ концовъ топится въ водкѣ. Море водки смываетъ всѣ добрыя сѣмена съ русской нивы.

Въ Ѳомѣ Гордѣевѣ есть одна мужская и нѣсколько женскихъ фигуръ, глубоко врѣзывающихся въ память. Старый, умный купецъ Маякинъ съ своей язвительною жизненною философіею—почти Диккенсовская фигура. Изъ женскихъ типовъ—дочь Маякина, томящаяся жаждою знанія и страстнымъ стремленіемъ къ образованію, разбивающимися о крутой нравъ отца, а затѣмъ двѣ куртизанки съ береговъ Волги; одна прекрасна только своею покорною преданностью, другая—своею смѣлостью и гордостью.

Однако ни одно женское лицо, созданное Горькимъ, по своей тщательной отдѣлкѣ не можетъ сравниться съ Варенькой Олесовой. Ей противопоставленъ готовящійся на кафедрѣ приватъ-доцентъ, молодой человѣкъ съ здоровыми понятіями, разсудительный, свободный отъ крайнихъ увлеченій. Этотъ субъектъ съ одной стороны содрогается при мысли соединить свою судьбу съ женщиной, взгляды которой онъ не можетъ подчинить собственнымъ, а съ другой постоянно долженъ быть насторожѣ, чтобы не поддаться тому чувственному влеченію, которое онъ къ ней испытываетъ. Въ общемъ это педантъ, къ которому Горькій относится довольно-таки иронически.

Варенька не въ состояніи понять пользы ботанизированія. Какая польза отъ того, что будешь знать, какъ растутъ репейники? Такая же, какъ если бы изучали жизненные процессы одного какого-нибудь человѣка. Но развѣ одинъ человѣкъ жи-



веть такъ же, какъ и другой?—восклицаетъ она. Развѣ я пью и ѣмъ какъ мужикъ? И многіе живутъ такъ, какъ я? И на вопросъ, какъ же она живетъ, отвѣчаетъ разсказомъ о томъ, какъ она проводитъ лѣтній день, т.-е. какъ радуется ея сіяніе солнца, купаніе въ холодной водѣ, свѣжесть и аромат лѣсного воздуха; она съ наслажденіемъ ведетъ хозяйство, по вечерамъ слѣдитъ за появленіемъ звѣздъ и луны. Ея разсказъ дышетъ свѣжимъ юношескимъ увлеченіемъ и доказываетъ, что отвлеченность для нея не существуетъ; для этого она слишкомъ конкретно-мыслящее существо.

Такъ же чужда она всякаго альтруизма. Она, не смущаясь, разсказываетъ, что порядкомъ таки отколотила работника, и не можетъ допустить, что въ этомъ есть что-либо несправедливое. Нужно было молотить, а онъ, скотина, напился пьянъ; онъ не долженъ былъ напиваться, пока не окончитъ работу.

Слушая разсужденія доцента о гуманности, она восхищается только красотою и плавностью его рѣчи, но на ея образъ мыслей его слова совершенно не вліяютъ. Она не можетъ согласиться, что равенство между людьми желательно, и что жизнь есть борьба. Наоборотъ, наивно говоритъ она, люди живутъ обыкновенно миролюбиво. Мысль о томъ, что всеобщее благо должно покоиться на равенствѣ, ей совершенно не понятна. Ея отецъ полковникъ; развѣ можетъ быть равенъ ему простой крестьянинъ? Она также не признаетъ и того, что говоритъ доцентъ на счетъ справедливости. „Мнѣ никакой справедливости не нужно“,—восклицаетъ она съ юношескимъ задоромъ,—„а понадобится—я сама себѣ найду ее... Чего вы всегда о всѣхъ людяхъ беспокоитесь?“ Во время грозы доцентъ принужденъ остаться ночевать въ имѣніи отца Вареньки, но онъ боится стѣснить кого-нибудь. „Если мы никого не стѣснимъ...“—„Вотъ человѣкъ!—восклицаетъ она съ удивленіемъ, все боится стѣснить, быть несправедливымъ... ахъ, ты Господи! Ну и скучно же вамъ, должно быть, жить... всегда въ удилахъ! А по моему — хочется вамъ стѣснить — стѣсните, хочется быть несправедливымъ—будьте...“

Своимъ неразвитымъ умомъ, первобытною наивною и чувственною красотою она производитъ такое впечатлѣніе на сопротивляющагося педанта, что онъ нѣсколько разъ едва можетъ удержаться отъ проявленій страсти, которую старается въ себѣ побороть. Все это у Горькаго изображено мастерски. Очевидно ему знакомъ тотъ фактъ, что въ моментъ страсти можно говорить вещи, неожиданныя и удивительныя не столько для того, къ кому онъ относится, сколько для самого говорящаго.

Въ этомъ же рассказѣ доценту и Варенькѣ чрезвычайно искусно противопоставлена другая пара: хладнокровная, слишкомъ ужъ умная и практичная сестра доцента и молодой идеалистъ-мечтатель, въ духѣ средневѣкового пажа, въ котораго она влюблена и который благоговѣетъ передъ ней. Конечъ рассказа художественъ и смѣлъ: доцентъ однажды утромъ застаётъ Вареньку, купающуюся въ рѣкѣ; онъ не можетъ одолѣть своей страсти и въ отвѣтъ получаетъ отъ разгнѣванной молодой красавицы весьма чувствительное наказаніе кулаками.

Сильное впечатлѣніе, производимое на насъ произведеніемъ Горькаго, безъ сомнѣнія отчасти происходитъ оттого, что среда, изъ которой онъ черпаетъ матеріалъ для своихъ произведеній, для насъ совсѣмъ нова. Если же смотрѣть на него просто, какъ на писателя, то онъ стоитъ не выше многихъ не прославленныхъ бытописателей небольшихъ литературъ, напр. молодой датскій писатель Андерсенъ-Нексо иногда стоитъ не ниже его. Но интересъ ко всему, что относится къ пробуждающемуся, болѣе чѣмъ стомилліонному народу, переносится и на рассказчика, и придаетъ каждому высказываемому имъ мнѣнію особое значеніе. Трудно говорить передъ немногими слушателями; но на огромную, переполненную аудиторію, внимательно прислушивающуюся къ каждому вашему слову, относительно гораздо легче произвести очень сильное впечатлѣніе.

Кромѣ того, интересъ, возбужденный русскими писателями, еще усиливается, вслѣдствіе ихъ личной судьбы. Почти всѣ они, начиная съ великихъ стариковъ Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Достоевскаго, Чернышевскаго, Короленко и др. пострадали. Не миновала эта судьба и Горькаго.

Георгъ Брандесъ.

ОТДѢЛЪ VI.

**Итальянская критика.**



## Отдѣлъ VI.

Итальянская критика.

**Максимъ Горькій.**

Статья изъ Nuova Antologia. 16 іюля 1901 г. Лауры Граполло.

На литературномъ горизонтѣ взошла новая звѣзда и честь ея открытія принадлежитъ Франціи. Парижане, неутомимые въ своихъ поискахъ за новымъ, сдѣлали счастливое открытіе и обогатили европейскую литературу, присоединивъ къ ней произведенія Максима Горькаго. Этотъ высоко-талантливый писатель родился и выросъ въ средѣ темныхъ людей. Будучи близко знакомъ съ нуждами и страданіями этой среды, онъ создалъ поразительно яркіе типы бродягъ. Реальность его типовъ, могучая сила описаній природы и въ особенности моря, придаютъ необычайную прелесть его рассказамъ.

Мы черпаемъ матеріалъ для нашей статьи въ нѣсколькихъ мелкихъ рассказахъ русскаго писателя и его единственномъ романѣ: *Ома Гордѣевъ*. Во всѣхъ извѣстныхъ намъ рассказахъ и въ тѣхъ, о которыхъ упоминаетъ Иванъ Странникъ\*), или совершенно отсутствуетъ фабула или же выражена весьма слабо. Въ „*Мальвъ*“, напр. сама фабула—соперничество отца и сына—выполнена слабо, рассказъ распадается на массу побочныхъ эпизодовъ. Въ „*Кановаловъ*“ фабула совершенно отсутствуетъ. Въ „*Челкашъ*“ она развита очень поверхностно. Воровское предпріятіе, въ которомъ къ тому же многія обстоятельства остаются совершенно невыясненными, нельзя счи-

---

\*) Revue de Paris, 15 janvier 1901.

тать главной сутью рассказа. Тоже можно сказать и о „Моемъ спутникѣ“ путешествіе Максима Горькаго съ княземъ Шахро не можетъ считаться главнымъ сюжетомъ рассказа. Но чѣмъ можно объяснить эту непростительную небрежность по отношенію къ фактической сторонѣ своихъ произведеній? Она можетъ быть произвольной и зависѣть отъ бѣдности воображенія; но можетъ быть также и произвольной и зависѣть отъ строго индивидуальнаго метода.

Въ такомъ случаѣ романъ Горькаго долженъ вполне отвѣчать этой индивидуальности.

Въ „Омѣ Гордѣевъ“ Горькій номинально покидаетъ міръ босяковъ и выдвигаетъ на первый планъ своего рассказа купеческій міръ. Эта среда, т.-е. купеческая, отчасти вслѣдствіи личныхъ интересовъ и отчасти по привычкѣ, лишь номинально—подчиняется общественнымъ законамъ. Всепоглощающая погоня за наживой, необузданная и нетерпящая никакого давленія извнѣ энергія, ставитъ ее на ряду съ людьми „внѣ закона“, также не подчиняющимися никакому игу.

„Среда купцовъ въ Россіи“, говоритъ Горькій, „состоитъ изъ особеннаго замкнутаго міра, сохранившаго свои привычки и свои нравы, свои традиции и свое честолюбіе, свой языкъ и свои предразсудки. Погоня за наживой развила въ нихъ хищные инстинкты. Они сжигаютъ свою жизнь въ упорной борьбѣ за наживой и въ разгулѣ“.

Въ такой средѣ родился Ома Гордѣевъ. Прочитавъ это произведеніе, мы пришли къ заключенію, что и его построеніе ничѣмъ не отличается отъ построенія остальныхъ рассказовъ того же автора, и здѣсь мы не встрѣчаемъ въ каждой новой страницѣ дальнѣйшаго развитія фабулы или дѣйствія. Отдѣльныя части романа ничѣмъ не связаны между собою и его многочисленныя развѣтвленія—эпизоды—не соединяются въ одинъ могучій стволъ. Событія лишены всякой связи, полное отсутствіе движенія, — все это лишь біографическія данныя, моменты жизни. Все ихъ отличіе отъ отдѣльныхъ моментовъ жизни, положенныхъ въ основу мелкихъ рассказовъ, лишь въ численности.

Если эта аналогія можетъ подтвердить существованіе у Горькаго своего собственнаго художественнаго метода, то мы должны считать этотъ методъ вполне выяснившимся. Если онъ сознательно, вопреки всѣмъ принятымъ правиламъ, такъ пренебрежительно относится къ самой формѣ романа, то мы можемъ смѣло утверждать, что немногіе изъ приверженцевъ реальной школы въ литературѣ до такой степени, какъ онъ, послѣдовательно проводили въ жизнь свой идеалъ. Вопреки всякимъ эстетическимъ теоріямъ у читателя всегда является потребность во внѣшнемъ движеніи, въ развитіи дѣйствія, которое постепенно бы приготовило развязку. Однимъ словомъ: романъ безъ дѣйствія существовать не можетъ. Самые ярые противники устарѣвшихъ формъ должны согласиться, что фабула, хотя бы самая незатѣйливая, необходима какъ канва, на которой разыгрывается романъ. Если же она отсутствуетъ, если недостаетъ дѣйствія или его почти нѣтъ, то ихъ должна замѣнить по крайней мѣрѣ внутренняя жизнь изображаемыхъ лицъ. Другими словами, необходимо въ этомъ случаѣ, чтобы психологія дѣйствующихъ лицъ была очерчена тонко, глубоко и изобиловала фактами интеллектуальной и духовной жизни. Надо предполагать, что Горькій ясно сознавалъ необходимость соблюденія этого втораго условія и не отступилъ передъ столь трудной задачей. Художникъ, который такъ послѣдовательно идетъ по разъ намѣченному пути, безъ сомнѣнія приметъ на себя всѣ послѣдствія его, какъ бы тяжелы и сложны они ни были. Въ данномъ случаѣ онъ весьма нелегки. Писатель долженъ уметь выбрать такіе типы, которые могли бы заинтересовать своимъ внутреннимъ содержаніемъ и въ то же время онъ долженъ обладать способностью указать читателю на всѣ изгибы ихъ душевной жизни. И, несмотря на трудность задачи, Горькій блистательно выполнилъ ее.

Посмотримъ, какъ же ему это удалось?

---

Во-первыхъ, выборъ героевъ не особенно затруднилъ его. Сама судьба позаботилась о томъ, чтобы свести его съ лич-

Повидимому въ этомъ слоѣ общества все достоинство чело-  
вѣка состоитъ въ силѣ. На жизнь у нихъ глубокаго пессими-  
стическій взглядъ. „Вся жизнь для меня“, кричитъ одинъ изъ  
„Бывшихъ людей“ „любовница, которая меня бросила...“

Еще ужаснѣе слова челоѣка, испившаго подобно Өомѣ  
Гордѣеву, до дна чашу животныхъ наслажденій. Онъ изливаетъ  
свои жалобы въ глубокую темноту ночи на берегу рѣки; онъ  
напоминаютъ намъ жалобы Іова. „Господи Іисусе! Иные люди  
также ничего не понимаютъ, но думаютъ они, что имъ все  
извѣстно, и оттого легко имъ жить. А мнѣ нѣтъ оправданія...  
Хоть бы несчастіе какое-нибудь дано мнѣ было... захворать  
бы... А то вотъ здоровъ я... ровно желѣзо... Пью, гуляю...  
живу въ грязи... но тѣло даже не ржавѣетъ, а только душа  
болитъ“...

Морозъ по кожѣ пробѣгаетъ отъ этихъ воплей челоѣка,  
умирающаго нравственно и смертью въ тысячу разъ хуже  
физической. Люди, не находящіе никакого смысла въ жизни и  
не придающіе ей никакого значенія, страдаютъ всѣми муками  
пессимизма. Къ тому же бродяги Горькаго очень часто люди  
интеллигентные и причина ихъ неудовлетворенности совер-  
шенно не низменнаго свойства. Причины ея лежатъ въ слиш-  
комъ сильной неуравновѣшенности, въ чересчуръ большой  
разницѣ между тѣмъ міромъ, который они создали въ своемъ  
воображеніи и міромъ дѣйствительности.

И правда, очень немногіе пессимисты, будь они философы,  
какъ Шопенгауеръ, Бансенъ, Гартманъ, или поэты міровой  
скорби, какъ Леопарди, Шелли и Байронъ, пришли къ такимъ  
безнадежнымъ выводамъ, какъ бродяги Горькаго.

„Трагизмъ“, сказалъ Бансенъ, „законъ жизни“. Но онъ  
высказалъ свою аксіому лишь въ отвлеченной формѣ. Гордѣ-  
евы, Коноваловы и др... не только высказываютъ, но и про-  
водятъ въ жизнь свои пессимистическіе взгляды.

Писатель, давшій намъ яркое изображеніе такой массы  
разнородныхъ и сложныхъ существъ, можетъ смѣло быть на-  
званнымъ великимъ художникомъ. Кромѣ того языкъ Горькаго  
отличается необыкновеннымъ богатствомъ и съ поразительной



точностью передаетъ всё изгибы человѣческой души. То его слогъ грубъ и вульгаренъ, то лукавъ и лицемѣренъ, то онъ бичуетъ, осмѣиваетъ и клеймитъ презрѣніемъ, то мягко скользить по всѣмъ изгибамъ чувствъ и тоски. И на ряду со странными, испещренными грубыми и характерными діалогами, мы наталкиваемся на полныя поэзіи гармоничныя описанія природы.

Горькій совершенно изгналъ изъ своихъ произведеній романическій элементъ. Гоголь, Тургеневъ и Достоевскій иногда злоупотребляли имъ. Даже Толстой, на что тонкій наблюдатель, не всегда пренебрегалъ имъ. Только Горькій остался аскетомъ въ своемъ объективномъ мышленіи.

Этотъ фактъ подтверждаетъ еще болѣе, что въ его произведеніяхъ реализму отведено болѣе мѣста, нежели у его предшественниковъ, но и этого мало; онъ измѣняетъ самую форму этого реализма. Всѣ его соотечественники, безъ исключенія, видятъ реальность въ мелкихъ и детальныхъ описаніяхъ. Горькій, напротивъ того, передаетъ ее намъ смѣлыми и яркими штрихами. Мы можемъ приписать пессимизмъ, который встрѣчается въ произведеніяхъ Горькаго, язычеству, который еще до него описывался русскими беллетристами. Но онъ далъ ему особенную окраску. Пессимизмъ Гоголя полонъ ироніи; изъ-за него выглядываетъ моралистъ, который часто прерываетъ рассказъ, чтобы изложить свои взгляды. Пессимизмъ Тургенева туманенъ и мелодраматиченъ, онъ переходитъ въ романтическій элементъ. Достоевскій передаетъ собственный пессимизмъ сентиментальными изліяніями. Толстой мирится съ человѣческими страданіями, потому что надѣется облегчить и излѣчить ихъ своимъ апостольствомъ. Горькій не признаетъ себя ни жрецомъ, ни моралистомъ, а художникомъ, который описываетъ людей такими, какіе они есть и поэтому не замѣняетъ ихъ мыслей своими собственными, и въ этомъ его великая заслуга. Часто мысли, высказываемыя его героями, могутъ показаться чуждыми ихъ языку и примитивному уму, но, т. к. они суть продуктъ ихъ затаеннѣйшихъ чувствъ, то и производятъ понятное потрясающее впечатлѣніе. Ни апостольство Толстого,

ни патетическій идеализмъ Достоевскаго не трогаютъ насъ такъ сильно, какъ эти безыскусственныя рѣчи, обнаруживающія передъ нами безъ всяческихъ прикрасъ всѣ сердечныя и душевныя язвы этихъ людей. Такимъ образомъ Горькій, сохранивъ въ своихъ произведеніяхъ строго объективный художественный методъ, въ то же время познакомилъ насъ съ своей собственной удивительной индивидуальностью. Методъ же его только усиливаетъ интересъ къ его произведеніямъ и приближаетъ къ такому художнику слова, какъ Густавъ Флоберъ.

---

## **Максимъ Горькій.**

(Импрессионизмъ въ русской литературѣ).

Статья изъ *Nuovo Antologia* 16 декабря 1901 г. Vladimir Giabotinski.

За послѣдніе годы въ русской литературѣ возникла новая, странная, исключительно оригинальная школа, имѣющая лишь весьма отдаленное сходство съ другими иностранными литературами.

Собственно говоря, подобное направленіе въ литературѣ даже трудно назвать школой, такъ какъ она никогда не имѣла ни предвѣстниковъ, ни адептовъ; возникла она непосредственно, внезапно и это служитъ лучшей гарантіей и доказательствомъ ея жизнеспособности.

Произведенія Л. Толстого или Тургенева заставляютъ насъ задуматься, Достоевскаго — содрагаться и плакать, Гоголя — смѣяться горькимъ смѣхомъ — направленіе новой школы совсемъ иное: оно стремится исключительно къ тому, чтобы произвести извѣстнаго рода впечатлѣніе, настроить душу на извѣстный тонъ; писатель является настройщикомъ, а душа писателя инструментомъ. Отсюда названіе этой литературы „Литературой настроенія“.

Горькій открылъ новый, доселѣ невѣдомый намъ, классъ общества: классъ бродягъ и босняковъ и въ этомъ классѣ неисчерпаемый источникъ свѣжей непосредственности и жизнерадостности.

Герои Горькаго — бывшіе князья, профессора, крестьяне. Онъ убѣжденно доказываетъ намъ, что лишь человекъ, отбросившій условность какого бы то ни было опредѣленнаго со-

ціального положенія, професіи или ремесла, въ состояніи освободить свою личность отъ всѣхъ связывающихъ его утѣ и исполнѣ овладѣть совокупностью всѣхъ своихъ жизненныхъ силъ.

Законы нравственности, сила привычки, все это—излишній жизненный балластъ, невѣдомый этому классу людей; ихъ замѣняютъ инстинкты, страстные желанія и стремительное осуществленіе ихъ.

Разсказъ „Челкашъ“, впервые и сразу выдвинувшій Горькаго въ ряды первоклассныхъ писателей, не смотря на несомнѣнно - художественное значеніе, все-таки обязанъ большею частью своего успѣха тому, что его появленіе совпало съ борьбой двухъ прогрессивныхъ партій—марксистовъ и народниковъ. Читателю по всей вѣроятности извѣстно, что народники защищаютъ земельную собственность крестьянъ, между тѣмъ какъ марксисты, напротивъ, ратуютъ за отчужденіе крестьянъ отъ земли съ цѣлью увеличенія рабочаго класса, въ чемъ, по ихъ мнѣнію, залогъ будущаго благосостоянія русской промышленности. Молодые марксисты видѣли въ „Челкашѣ“ типъ фабричнаго, подавившаго своимъ нравственнымъ превосходствомъ молодого парня Гаврилу, крестьянина, и въ теченіе двухъ лѣтъ создали Максиму Горькому такое положеніе, какое до него не завоевывалъ ни одинъ русскій писатель въ столь короткій срокъ.

Въ настоящее время петербургскіе марксисты созрѣли, сдѣлались благоразумнѣе, и, быть-можетъ, даже признають нѣкоторыя свои заблужденія. „Бродяга“ Горькаго или „босаякъ“ такъ же далеко отстоитъ отъ фабричнаго, какъ и отъ крестьянина. Фабричный привязанъ къ машинѣ; крестьянинъ къ землѣ — босаякъ ни къ чему не привязанъ, онъ человѣкъ свободы и не занимается даже ремесломъ, которое бы потребовало отъ него хотя бы трехъ дней осѣдлой жизни. Свобода способствуетъ развитію фантазіи, поэтично настраиваетъ душу человѣка. Человѣкъ осѣдлый никогда не достигнетъ той смѣлости полета, той свѣжей оригинальности мысли и рѣчи, которыми отличаются босаяки.

Разъ рѣчь идетъ о томъ, чтобы взбудоражить общество и вывести его изъ омута стоячей жизни, то, конечно, трудно подчинить подобнаго рода предпріятіе съ закономъ нравственности и различнаго рода предубѣжденіями. Босяки Горькаго не знаютъ никакой морали, его бродяги не откажутся отъ самаго дерзкаго, самаго ужаснаго преступленія, лишь бы оно оправдывалось цѣлью. Вслѣдствіи этого, многіе считаютъ Горькаго большимъ пессимистомъ, какъ-будто возможно прищипить старый ярлыкъ къ новому явленію. Современный мыслитель обязательно пессимистъ ибо жизнь изо дня въ день не можетъ удовлетворять. Само собой разумѣется, что босяки Горькаго являются людьми способными на все, Горькій этого и не скрываетъ, онъ это подразумѣваетъ, а читателю предоставляется право предпочитать такихъ людей, людямъ инымъ, живущимъ растительною жизнью, хмурымъ людямъ, усталымъ и не способнымъ ни на что.

Горькаго многіе упрекаютъ въ томъ, что онъ фантазируетъ, описывая своихъ бродягъ, идеализируетъ ихъ, изображаетъ болѣе умными и интересными, нежели они есть на самомъ дѣлѣ. Пусть это такъ, но вѣдь это не важно. Важно то, что Горькій даетъ намъ картину здороваго, полнаго жизненныхъ соковъ человѣчества, страстно, отважно стремящагося къ осуществленію своихъ желаній, живущаго полной, свободной жизнью. Пусть эта жизнь дикая—блѣдная, худосочная ординарность нуждается въ такой прививкѣ горячей, красной, грубой крови, чтобы возродиться физически и морально. Въ этомъ отношеніи Максимъ Горькій нѣсколько напоминаетъ мнѣ французскаго поэта Ростана. Сирано де-Бержеракъ, несмотря на всю дѣланность, на всю неправдивость, чаруетъ и привлекаетъ насъ тѣмъ, что вызываетъ желаніе вернуться къ временамъ, когда жизнь была такъ прекрасна! Горькій подобно Ростану даетъ настроеніе жизненной красоты и привлекательности.

Возбуждается еще вопросъ о томъ, насколько эта „литература настроенія“ имѣетъ общественное значеніе. Въ Россіи до сихъ поръ господствуетъ предвзятая мысль, что для того,

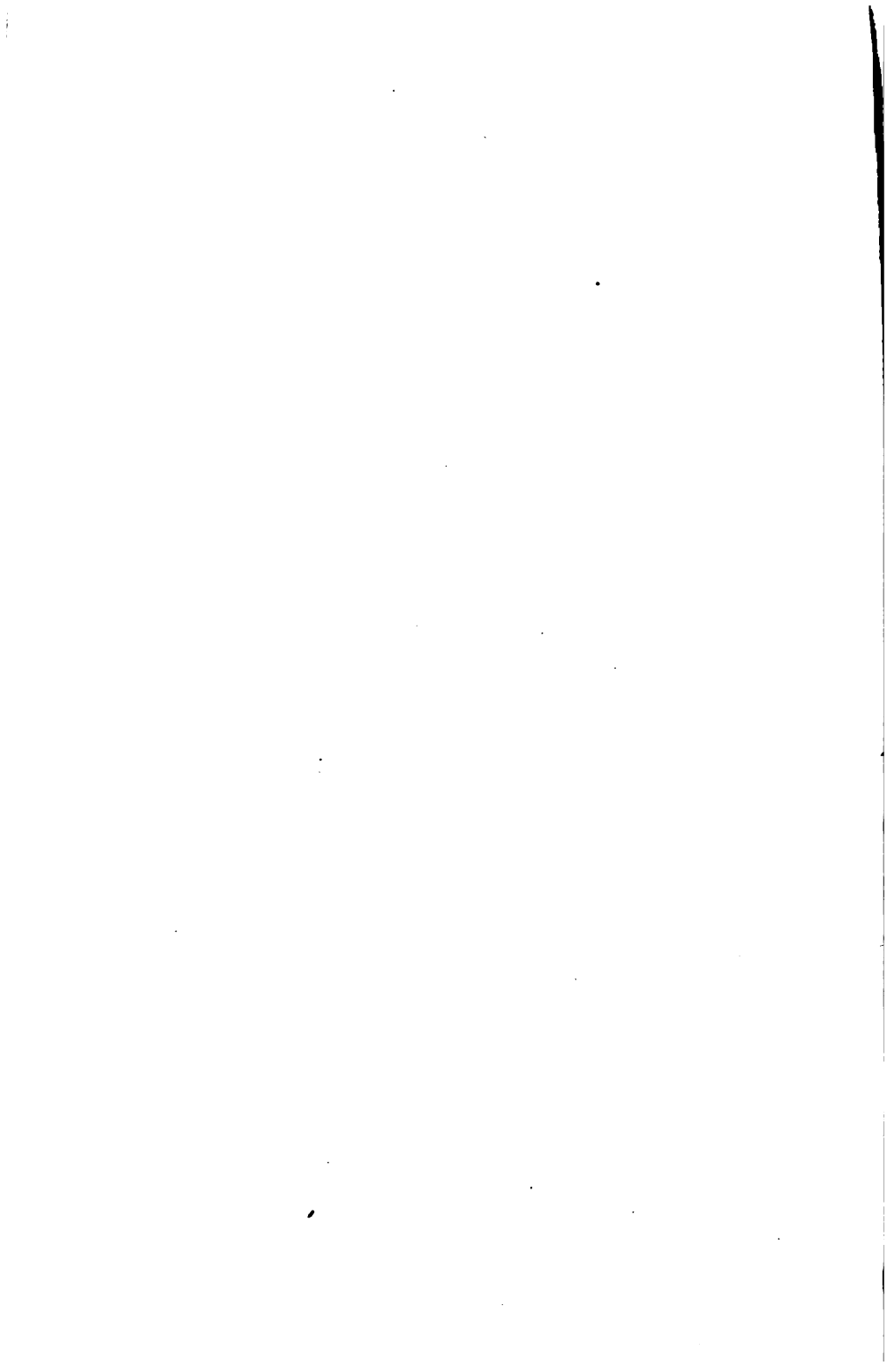
чтобы имѣть общественное значеніе, писатель непремѣнно долженъ сказать какое-нибудь „новое слово“ или пропагандировать какую-нибудь „новую идею“.

Мнѣ кажется, что въ настоящее время для Россіи новыя идеи и новые идеалы излишни — потребуется не малое количество времени для того, чтобы осуществить всѣ господствующіе, признанные современными и правильными идеи и идеалы. Великая заслуга Максима Горькаго состоитъ именно въ томъ, что онъ первый призываетъ воспрянуть застывшую, инертную мысль, отбросить дешевый скептицизмъ, призываетъ къ работѣ плодотворной, къ осуществленію намѣченныхъ общественной совѣстью идей и идеаловъ.

---

ОТДѢЛЪ VII.

**Испанская критика.**





## Отдѣлъ VII.

### Испанская критика о Максимѣ Горькомъ.

Эмилиа Пардо Басанъ, лучшая романистка современной Испаніи, первая обратила вниманіе испанской критики и публики на русскую литературу. „Когда, 14 лѣтъ тому назадъ, я говорила въ мадридскомъ Атенеѣ о русской литературѣ, въ то время совершенно неизвѣстной въ Испаніи,—я утверждала, что интересъ, возбужденный къ ней во Франціи, не былъ однимъ изъ капризовъ пресыщеннаго воображенія парижанъ, но актомъ международной справедливости, вызваннымъ достоинствами нѣкоторыхъ изъ русскихъ писателей, наиболѣе оригинальныхъ, какіе только были въ XIX столѣтіи. Теперь въ этомъ никто не сомнѣвается. Достаточно одного имени Толстого, чтобы разсѣять всякое сомнѣніе“. Такъ начинается Эмилиа Пардо Басанъ свою статью о „двухъ новыхъ теченіяхъ въ русской литературѣ“ — босiachства (Горькій) и „языческо-христіанскаго сближенія“ (Мережковский), напечатанную въ апрѣльской книжкѣ мадридскаго журнала „La Lectura“ за 1901 г. „Русская литература, говоритъ авторъ, должна привлечь къ себѣ особенное вниманіе своей тѣснѣйшей связью съ важными социальными и политическими проблемами, такъ какъ она вдохновила и, быть можетъ, даже направила современное общественное движеніе въ Россіи“. По мнѣнію Пардо Басанъ, современная русская литература носитъ на себѣ слѣды какого-то „вулканическаго трепетанія подъ снѣгомъ“, не уменьшающагося и непрерывающагося, такъ какъ причина этого явленія остается неизмѣнной. „Тѣмъ менѣе признаковъ истощенія обнаруживаетъ производительная литера-

турная сила старой московской (*moscovita*) почвы. Новые писатели, о которых я буду говорить, не принадлежать къ второстепенной категоріи, умѣющей только слѣдовать примѣрамъ, даннымъ предшествующими поколѣніями; это не просто ученики Тургенева, Достоевскаго, Толстого и Гончарова: они имѣютъ свою индивидуальность, очень опредѣленную, которую нельзя смѣшать съ другой“. Авторъ начинаетъ „съ босяка, прежде чѣмъ перейти къ язычнику“. Отличительная особенность Горькаго по мнѣнію автора, заключается въ томъ, что онъ „вывелъ на поле русскаго романа лицъ, до сихъ поръ неизвѣстныхъ; общественный классъ, совершенно отличный отъ тѣхъ, какіе изучались до него. Прочіе романисты выводили аристократовъ, чиновниковъ, интеллигентовъ (*à les intellectuale*), крестьянъ, иногда женщинъ легкаго поведенія (*de vida airada*), какъ, нап., въ „Преступленіи и Наказаніи“, „Воскресеніи“, Горькій выводитъ новый контингентъ — купцовъ и босяковъ. Хотя на первый взглядъ кажется, что эти два класса представляютъ полный контрастъ между собою, и хотя самъ Горькій противопоставляетъ ихъ другъ другу, — въ Россіи, въ тѣхъ мѣстностяхъ, которыя описываетъ Горькій, въ Поволжьѣ, торговля иногда принимаетъ мнѣніющійся колоритъ босячества и носитъ отпечатокъ жизни авантюристовъ. Тѣмъ не менѣе между торговцами и босяками Горькаго существуетъ глубокая разница: жизнь первыхъ имѣетъ опредѣленную цѣль, у нихъ есть нѣчто, дающее имъ извѣстное направленіе; вторые — ладья безъ руля, скорлупы орѣховъ, бросаемыя волнами взадъ и впередъ, какъ и авторъ, самъ Горькій, безпокойный странникъ, (*vago*) растеніе, лишенное корней. Отдѣльные экземпляры этого типа можно встрѣтить въ русскомъ романѣ до Горькаго, но только онъ даетъ сильные, яркіе, литературные типы коллективнаго босяка. Въ Россіи открытіе міра босяковъ является новостью.

Въ странахъ романскихъ, въ особенности въ Испаніи, расцвѣтъ этого жанра совпадаетъ съ классическими писателями XVII вѣка, какъ доказываетъ Сальясъ въ своихъ извѣстныхъ работахъ. Въ литературѣ и искусствѣ босяки и бродяги-фило-

софы Испаніи, Менипы у Веласкеса, Ласарильо у Уртадо, плутишки у Мурильо, оставили неизгладимый слѣдъ. Что новаго даетъ намъ, землякамъ Мониподіо, Аристидъ Өомичъ, герой „Бывшихъ людей“ Горькаго? Мы сами пресыщены по горло „Бывшими людьми“. Мы встрѣчаемъ ихъ на каждомъ шагѣ, грѣющихся на солнцѣ и ожидающихъ пришествія св. песеты Французская писательница Арведа Барринъ издала даже специальное сочиненіе объ испанскихъ бродягахъ (*Les gueux d'Espagne*) и отмѣтила ихъ характерныя черты: стоицизмъ въ несчастіи и безпокойный характеръ авантюристовъ. Эти типы встрѣчаются даже въ практической, уравновѣшенной Франціи; существовали и существуютъ такіе типы и въ жизни, и въ литературѣ и даже среди самихъ писателей, какъ Сирано де-Бержеракъ, Вильонъ и въ наши дни Ришпенъ. Разница между ними и типами Горькаго такая же, какъ и разница между обѣими расами. Наше босячество характеризуется циническимъ смѣхомъ и моральной сухостью, русское проникнуто нигилизмомъ и мистицизмомъ“. Мѣсто рожденія и послѣдующія обстоятельства жизни имѣли огромное вліяніе на самый талантъ и направленіе литературной дѣятельности Горькаго: въ Нижнемъ, на родинѣ Горькаго, при видѣ наплыва и смѣси людей, языковъ и костюмовъ, босячeskій духъ самъ собой долженъ былъ воспринуть въ душѣ ребенка. Какъ великъ міръ! Какъ хорошо бродить по немъ! И ребенокъ, социальный атомъ, беззащитный босячекъ, устремляется въ міръ не затѣмъ, чтобъ любоваться имъ, но за дѣломъ не терпящимъ отлагательствъ—за снисканіемъ насущнаго хлѣба“. Среди множества разнообразныхъ профессій Горькій былъ въ булочной,—„этапъ, удивительно изображенномъ имъ въ „Коноваловъ“. Перемѣнивъ нѣсколько профессій и находясь, такъ сказать, между молотомъ и наковальней, Горькій набросилъ свой первый беллетристическій опытъ для одной провинціальной газеты. Его второй опытъ, обратившій на себя вниманіе Короленко (одинъ изъ перловъ котораго „Соколинцъ“, знакомъ Испаніи), доставилъ ему извѣстность и славу“. Въ Россіи изящная литература имѣетъ своихъ фанатическихъ поклон-

никовъ; тамъ она болѣе уважается, представляя собою идеальную форму свободы и стоя въ тѣсной связи съ мечтой объ европейзированномъ отечествѣ. Русскіе писатели исполняютъ обязанность искупительную, и ихъ вознаграждаетъ общественная признательность“. Чтобы понять духъ и манеру Горькаго, по мнѣнію Эмилии Пардо Басанъ, достаточно прочесть „Челкаша“, „Мальву“, „Коновалова“ и въ особенности „Бывшихъ людей“. Эти произведенія, какъ бы только что отчеканенные мѣдяки, вѣрно изображающіе одно и то же лицо. Собственно говоря, познакомившись съ одними только „Бывшими людьми“, можно получить точное представленіе о манерѣ и тенденціяхъ Горькаго. Эти тенденции, нѣсколько похожія на идеи средневѣкового мистицизма, влюбленнаго въ бѣдныхъ и прокляженныхъ, — не представляются совершенной новостью въ русской литературѣ: съ какимъ благожелательнымъ состраданіемъ описаны у Достоевскаго другіе „Бывшіе люди“, обитатели „Мертваго дома!“ У Тургенева красивая, богатая образованная дѣвушка бродитъ по дорогамъ и деревнямъ съ нищимъ, почти идиотомъ, также изъ жалости и состраданія, и, стоя на колѣняхъ, перевязываетъ его язвы... У Горькаго незамѣтно никакихъ слѣдовъ нигилизма политическаго, но ярокъ зато нигилизмъ социальный, отрицаніе іерархическаго порядка, реабилитация отверженныхъ и „лишнихъ“, и эта тенденція не одинокое теченіе, но широкій и бурный потокъ, очень замѣтный въ новѣйшей русской литературѣ. Оригинальность и сила писателей, подобныхъ Горькому, состоитъ въ вѣрномъ воспроизведеніи дѣйствительности, безъ всякихъ прикрасъ и ухищреній. Тѣ романскіе писатели, которые дали намъ типы отверженныхъ, внадали или въ нѣкоторый систематическій оптимизмъ, или, наоборотъ, въ карикатуру, переходящую даже въ шаржъ. Бездушность нашихъ писателей этого рода извѣстна всѣмъ. Совершенно обратное мы находимъ въ русской литературѣ: она вся — душа и чувство подъ оболочкой строгаго реализма. Въ этомъ отношеніи Горькій принадлежитъ къ фалачѣ предшествующихъ писателей и отличается отъ нихъ только тѣмъ, что онъ не буржуа и не аристократъ, который смотритъ

сверху вниз: онъ рассказываетъ о своихъ собственныхъ страданіяхъ и заботахъ, описываетъ то, что окружало его самого — это пѣсни босняка, спѣтыя самимъ боснякомъ, который научился имъ съ ранняго дѣтства. Бывшіе люди Горькаго — павшіе, отверженные, потерпѣвшіе въ жизни непоправимый крахъ. Эти общественные обломки, упавъ въ бездну глубокой бѣдности и несчастія, влечать безцѣльную жизнь. Есть у Киплинга одинъ страшный рассказъ о живыхъ существахъ, засыпанныхъ по горло въ песокъ. это — тоже „бывшіе люди“, живые трупы, нѣчто, уже не принадлежащее міру. Необходимость, фатальность физическая для нихъ, моральная для героевъ Горькаго, — въ сущности, одно и то же: они отлучены отъ общенія съ себѣ подобными, они уже не считаются въ числѣ живыхъ“. На характеристикѣ и классификаціи „бывшихъ людей“ испанская писательница останавливается довольно подробно, начиная съ Аристида Өомича. Бываютъ моменты, когда этотъ капитанъ кажется мнѣ испанскимъ типомъ. Нѣкоторыя качества Өомича уже извѣстны намъ, главнымъ образомъ, изъ богемы литературной: литературные „бывшіе люди“ также проводили свою жизнь, облокотившись на столы въ кафе, осушая рюмки и представляя въ юмористическомъ свѣтѣ свое собственное паденіе: они также были извергнуты изъ жизни и пресыщены ироніей и ненавистью, алкоголемъ и желчью. Капитанъ Аристидъ родился дворяниномъ и получилъ образованіе, и въ немъ замѣтны слѣды того и другого. Онъ убѣжденъ, что дворяне представляютъ нѣчто отличное и лучшее, чѣмъ остальное человечество, и тономъ герцога Лозена говорить о жизни: „И вся жизнь для меня — любовница, которая меня бросила, за что я презираю ее и глубоко равнодушенъ къ ней“.

„Учитель“ — другой любопытный типъ „бывшаго“ интеллигента, добродушный мечтатель, окруженный уличными мальчишками, которымъ бросаетъ на дѣлежъ и драку лакомства и фрукты. Вокругъ этихъ двухъ главныхъ фигуръ — бывшихъ людей — арміи и школы, группируется цѣлая толпа отверженныхъ, изъ которыхъ дьяконъ Тарасъ, представитель босняковъ изъ духовной среды, — „одинъ изъ сильнѣйшихъ и

ярких типовъ. Тарасъ—замѣчательный беллетристъ en gerçe, попавшій въ эту яму, съ рѣчью безстыдной, но образной и живописной. При другихъ условіяхъ изъ него выработался бы такой же писатель, какъ самъ Горькій“. Чѣмъ занимаются „бывшіе люди?“ спрашиваетъ испанская писательница. „Какими иллюзіями наполняютъ они долгіе часы своего тусклаго существованія? Одураясь алкоголемъ. Пьянство для нихъ единственное убѣжище, искусственный рай, единственный просвѣтъ въ ихъ тюрьмѣ. Послѣ водки—отвратительные, безстыдные рассказы дьякона Тараса... Ни одинъ изъ этихъ обездоленныхъ людей уже не надѣется ни на что хорошее въ жизни, и рассказъ въ сущности не имѣетъ дѣйствія: все сводится къ медленному и мрачному умиранію отъ пьянства и нищеты. Капитанъ Аристидъ, который лучше всѣхъ сопротивляется цѣпямъ порока, обладаетъ достаточнымъ юморомъ и хитростью, чтобы начать кампанію, похожую и на процессъ и на шантажъ, противъ своего сосѣда лавочника, такъ какъ, будучи типичнымъ босякомъ, ненавидитъ какъ и самъ Горькій всѣхъ лавочниковъ и торговцевъ. На счетъ обманутаго трактирщика бывшіе люди въ одинъ прекрасный день наполняютъ свои желудки и справляютъ такое „gaudeamus“, которое надолго остается въ ихъ памяти. Но когда у нихъ не имѣется вовсе никакихъ ресурсовъ (состояніе почти хроническое) они поддерживаютъ свое существованіе философствованіемъ (на свой ладъ они глубокіе философы) или спорами. Идеаль ихъ нелѣпаго существованія—убить свое человѣческое достоинство и память о прошломъ, не чувствовать мученій голода и быстро идти къ могилѣ. Мрачная исторія заканчивается смертью учителя, и капитанъ, потерявъ товарища, изрекаетъ мистическую формулу философіи отверженныхъ о всеобщемъ равенствѣ передъ могилой: „Но мы умремъ—какъ всѣ. Въ этомъ—цѣль жизни. Вѣрьте моему слову. Ибо человѣкъ живетъ, чтобы умереть. И умираетъ... И если это такъ, то не все ли равно, отчего и какъ онъ умираетъ и какъ онъ жилъ“. Последняя страница „Бывшихъ людей“ изображаетъ похороны; небо окутано густыми и мрачными тучами, которыя вотъ-вотъ превратятся въ воду,

прольются, чтобы „смыть всю грязь съ этой несчастной, измученной, печальной земли“.

Эмилиа Пардо Басанъ болѣе подробно анализировала „Бывшихъ людей“ потому, что, по ея мнѣнію, это—типичное произведение Горькаго. „Кто знаетъ,—говоритъ она,—быть-можетъ, и самъ авторъ, гонимый своимъ инстинктомъ босяка, вдругъ очутился въ подобномъ же мѣстѣ, рассказывая свою исторію, на подобіе дьякона Тараса, этого эмбриона великаго писателя, задушеннаго абсолютной нищетой?“ Для лучшаго пониманія этого мѣста нужно замѣтить, что Эмилиа Пардо Басанъ увѣрена, будто Горькій, время отъ времени, таинственно исчезаетъ изъ буржуазнаго міра и всецѣло погружается въ міръ босяковъ и вообще „бывшихъ людей“. Другіе рассказы Горькаго хотя изображаютъ тотъ же міръ босяковъ, однако, уже менѣе страдающій отъ нищеты и голода (*bohemia meos hambroga*). Напримѣръ, „Мальва“. „Мальва“ олицетвореніе женскаго кокетства въ босяческомъ мірѣ. Случай очень характерный, со всѣми симптомами: безпокойство, тайная тоска, невозможность оставаться въ ровномъ душевномъ настроеніи, инстинктъ бродячества, неудержимое стремленіе сдѣлать зло, чтобы позабавиться этимъ“. Изложивъ краткое содержаніе рассказа, авторъ говоритъ: „Въ глубинѣ души этой дикой героини, которая такъ ловко дѣйствуетъ ножомъ, очищая сырую рыбу—таится лирическая грусть, ненасытная жажда чего-то иного, что не опредѣляется ясно. „Иной разъ съѣла бы въ лодку и въ море“...

„Мальва“—самый ясный, самый художественный и самый совершенный изъ рассказовъ Горькаго, которые мнѣ извѣстны. Ни одинъ маринистъ, не исключая нашего Переду, не далъ такихъ описаній моря, какъ двѣ удивительныя картины Горькаго въ этомъ рассказѣ: жаркій день на морскомъ берегу и прыжки и забавы новыхъ тритоновъ—Мальвы и Якова, охлаждающихъ въ волнахъ свои желанія. Эти картины—истинные *chefs d'oeuvre*. „Коноваловъ“ представляетъ другой этюдъ босяческой жизни, полный яркости и силы. Коноваловъ—великолѣпный босякъ, на которомъ остановилъ бы свое внима-

ніе Веласкесъ, чтобы нарисовать его геркулесовскій торсъ, его пышную гриву, лохмотья, огромную свѣтло-русую бороду, которая закрываетъ грудь и въ которой навязла мука, обрывки бумаги, соломенки“. Хотя Коноваловъ — искусный, сильный и трудолюбивый работникъ, „однако, червь босячества точить его такъ же, какъ и Мальву. Но онъ безвреденъ, онъ только капризенъ и неустойчивъ. У него нѣтъ ни жены, ни дѣтей, ни друзей, и онъ даже не желаетъ имѣть ихъ. Онъ — мечтатель и, какъ всѣ босяки, большой любитель водки, способенъ „пропитаться до волосъ“. Въ его натурѣ, — онъ самъ признаетъ это, — есть что-то такое, что не подчиняется ему самому. Онъ похожъ на хорошіе, но испорченные часы. Когда онъ слышитъ разсказъ или чтеніе про своего любимаго героя, Стеньку Разина, этого стариннаго босяка степей и Волги, то воспаляется и смутно догадывается, что если бы въ его распоряженіи были войска, которыми онъ могъ бы повелѣвать, или народныя массы, которыхъ онъ могъ бы экзальтировать, — тогда и онъ вполне осуществилъ бы свое призваніе, и его энергія нашла бы соответствующее употребленіе. Женщины не удовлетворяютъ Коновалова. Капитолина, столь преданная ему, скоро надоѣдаетъ: она слишкомъ привязана къ нему; онъ желаетъ бросить ее; она для него — цѣпь, бремя, нѣкоторый родъ обязательства, — а всего этого Коноваловъ не выносить. Наконецъ онъ исчезаетъ изъ булочной, и его карьера заканчивается за тюремной рѣшеткой. Ома Гордѣевъ — другой босякъ, хорошо изученный Горькимъ. „По мнѣнію Пардо Басанъ, „Ома Гордѣевъ“ произвелъ впечатлѣніе, равное „Воскресенію“ Толстого. „Ома, сынъ богатаго приволжскаго купца, но босякъ по своей натурѣ. Онъ тяготится роскошью, ненавидитъ систематическую правильность труда, презираетъ даже плоды этого самаго труда, пользоваться которыми предоставляла ему судьба. Рѣшившись отказаться отъ своего имущества, онъ громитъ купцовъ въ своей рѣчи на одномъ праздникѣ, громитъ, какъ древній пророкъ; его объявляютъ сумасшедшимъ, надъ нимъ издѣваются на улицахъ, а мальчишки бросаютъ въ него грязью. Но въ то время, какъ



сѣверная литература только что намѣчаетъ этотъ типъ, онъ уже давно открытъ въ литературѣ романскихъ народовъ, хотя и обозначенъ недостаточно глубоко: въ типѣ Тома Гордѣва, этого босяка-идеалиста, я нахожу громадное сходство съ сыномъ купца Падро Бернардоне, котораго также мальчишки Азиса объявили сумасшедшимъ и бросали въ него камнями на городскихъ площадяхъ и улицахъ, когда онъ отказывался отъ мірскихъ благъ и вступалъ въ союзъ съ святой бѣдностью. Я замѣчаю во всѣхъ босякахъ Горькаго, когда они въ добромъ настроеніи духа и никому не намѣрены причинять зло, — какую-то „францисканскую“ веселость и также „францисканское“ стремленіе бродить по землѣ безъ денегъ, безъ работы, въ порывѣ увлеченія какимъ-то романтическимъ авантюризмомъ. Однако, у Горькаго этотъ „францисканизмъ“ проявляется на глубоко пессимитическомъ фонѣ, что въ большей или меньшей степени мы встрѣчаемъ у всѣхъ русскихъ писателей: ихъ любовь и состраданіе кажется осужденіемъ, они какъ бы скрежещутъ зубами. Это можно замѣтить у Тургенева и Толстого; замѣтно это и у Горькаго. Для него, какъ для самого знаменитаго изъ англо-саксовъ, Шекспира, жизнь представляется безсмысленной сказкой, рассказанной идиотомъ. Горькій не вѣритъ даже въ свою писательскую миссію; онъ не вѣритъ, чтобы кто-нибудь жилъ для того, чтобы сдѣлать добро или распространять извѣстные идеалы — все дѣлается изъ эгоизма, чтобы возвеличить отдѣльный фактъ собственнаго существованія. По мнѣнію Горькаго, писатель похожъ на ростовщика, который даетъ свои деньги за большіе проценты. Онъ — слѣпой проводникъ другихъ слѣпцовъ. Радость оставила этотъ міръ, и поэтому намъ остается только печаль, такъ какъ апатія, квіетизмъ, бездѣйствіе были бы еще хуже, чѣмъ печаль. Такимъ образомъ, „новый человѣкъ“ для Горькаго — бродяга, „босякъ“, не подчиняющійся порядку цивилизованной жизни. Босякомъ можно быть или благодаря принадлежности къ этой категоріи людей (*de casta*), или по врожденной склонности (*de instinto*): первый — Коноваловъ, второй Тома Гордѣвъ. Въ русскихъ босякахъ Горькаго бросается въ

глаза одна восточная черта—ихъ любовь къ музыкѣ, первый энтузіазмъ, охватывающій ихъ при звукахъ ея. Музыка окружаетъ ихъ лучами поэзіи. Наконецъ, въ славянскихъ боссякахъ замѣчается нѣчто деликатное, чего совсѣмъ нѣтъ въ боссякахъ романскаго міра. Разскажите Хинесильо де-Пасамонте, какъ славянскій боссякъ, умирая отъ голода, возвращаетъ украденную лошадь изъ жалости къ крестьянину, которому она принадлежала, и вы увидите, какъ будетъ смѣяться испанскій проходимецъ. Къ героямъ Горькаго и къ нему самому можно вполне приложить слѣдующія слова Кипплинга: „русскій плѣняетъ насъ тогда, когда онъ остается человѣкомъ восточнымъ, а не тогда, когда онъ хочетъ быть цивилизованнымъ человѣкомъ западнаго міра“. Что насъ привлекаетъ въ русской литературѣ — это ея могучая оригинальность, странный оригинальный отпечатокъ, который носятъ ея самыя современныя идеи. „Святая Русь“ (Santa Rusia)—вотъ въ чемъ прелесть русскаго писателя. Самъ Тургеневъ, наиболѣе западный изъ всѣхъ русскихъ писателей, обязанъ своими лучшими страницами вѣрному изображенію коллективнаго чувства, поэзіи своей расы“.

## Приложенія \*).

### „На днѣ“ Статя изъ Рабочей газеты. Вѣна 1903 г.

Когда Гергардтъ Гауптманъ опубликовалъ своихъ Ткачей, они тотчасъ же породили массу теоретическихъ споровъ. Говорили, что Ткачи—не драма; въ нихъ нѣтъ главнаго дѣйствующаго лица, героя, вокругъ котораго сосредоточивалось бы дѣйствіе; вообще его не доставало, — пьеса представляла рядъ отдѣльныхъ сценъ, лишь слабо связанныхъ между собою. Во всѣхъ замѣчаніяхъ была крупница правды. Ткачи не подходили подъ опредѣленія драмы, съ которыми мы познакомились еще на школьной скамьѣ. А между тѣмъ она производила очень сильное впечатлѣніе. Она производила впечатлѣніе на сценѣ, при чтеніи вслухъ и про себя и впечатлѣніе продолжительное. Такимъ образомъ она довала намъ новое доказательство того мнѣнія, что геній творить не по правиламъ, а самъ создаетъ ихъ. Что бы вообще не говорилось противъ Гауптмана, въ чемъ бы его не упрекали, но отрицать геніальность концепціи Ткачей невозможно.

„На днѣ“ Горькаго невольно напоминаетъ Ткачей, хотя бы сходствомъ внѣшней формы. И тутъ мы имѣемъ дѣло съ рядомъ отдѣльныхъ сценъ. Дѣйствіе — если вообще о немъ можно говорить—заканчивается третьимъ актомъ, а четвертый лишь доказываетъ, что писателю въ сущности вовсе нѣтъ дѣла до него. Онъ воспользовался дѣйствіемъ исключительно съ

---

\*) Помѣщенные здѣсь статьи нами получены нѣсколько позднѣе составленія отдѣловъ.

цѣлью иллюстрировать свою мысль. И хотѣлъ показать намъ людей извѣстнаго слоя общества, т. е. самые подонки чело-вѣчества.

И въ эту-то среду вдругъ является старичокъ Лука; самъ себя онъ величаетъ странникомъ, а другіе называютъ его бродягой. Онъ изъ тѣхъ, что переходятъ съ мѣста на мѣсто, вездѣ остаются по нѣскольку дней и потомъ бредутъ дальше. Его прошедшее также темно и навѣрное онъ совершилъ какой-нибудь поступокъ, вслѣдствіе котораго долженъ былъ покинуть общество и сдѣлаться товарищемъ преступниковъ, отщепенцовъ и погибшихъ людей. Но не судьба его, а скорѣе онъ побѣдилъ судьбу. Бѣдная жизнь обогатила его опытомъ и пониманіемъ и онъ сталъ мудрецомъ; блескъ жизни не слѣпитъ его, грязь не отталкиваетъ. Въ томъ и въ другомъ случаѣ подъ этими оболочками скрыто нѣчто человѣческое. И онъ прозрѣваетъ самую глубину души даже въ наиболѣе падшемъ человѣкѣ и всегда открываетъ тамъ ядро чело-вѣчности. Поэто-му-то онъ сама кротость; и какъ можно гнѣваться или отчаиваться, когда всѣ мы люди-человѣки, полны недостатковъ, но способны и на чело-вѣчность. Какъ бы вы ни возвысились или ни пали—все же вы люди. И онъ еще прибавляетъ про себя: бѣдные, грѣшные люди, можетъ-быть вы еще и способны стать добрыми. И чтобы проникнуть въ сердца людскія, подѣйствовать на нихъ словомъ и примѣромъ, онъ и странствуетъ съ мѣста на мѣсто и сегодня и завтра. Такимъ-то образомъ онъ становится великимъ изслѣдователемъ и въ открытую имъ не тронутую почву людскихъ сердецъ всячески опускаетъ сѣмена добрыхъ словъ и добрыхъ дѣлъ, и становится апостоломъ любви и милосердія.

Въ послѣднемъ актѣ Лука вновь исчезаетъ, заронивъ въ сердцахъ этихъ погибшихъ сѣмена своего ученія, И писатель сумѣлъ потрясти насъ. Правда и то, что онъ въ то же время повергаетъ насъ въ глубокую грусть и безутѣшное отчаяніе. Пьеса оканчивается попойкой всѣхъ обитателей ночлежки, которую рѣзко прерываетъ извѣстіе о томъ, что одинъ изъ нихъ, актеръ, гдѣ-то повѣсился на дворѣ.

Около году я постоянно читаю одно произведение Горькаго за другимъ. Они удивительно захватываютъ, а одно изъ нихъ (Трое) напомнило мнѣ по своему духу и формѣ манеру Достоевскаго. Но все это время я жилъ подъ какимъ-то гнетомъ. Вскорѣ мнѣ пришлось прочесть „Юрне Уль“ Френсиса. Получилось впечатлѣніе, будто я выхожу изъ тяжелыхъ, давящихъ облаковъ на залитую солнцемъ вершину горы и грудь расширяется, и во мнѣ вновь оказывается жажда и способность жить! Несвобода русской народной души, которая одновременно страдаетъ отъ внѣшняго гнета и внутренняго разлада, придавливаетъ насъ точно свинцомъ. Мы потрясены, растроганы, увлечены. Но въ концѣ концовъ въ насъ все сильнѣе и сильнѣе пробуждается сознаніе ужасной безнадежности, таящейся въ сердцахъ величайшихъ русскихъ писателей, и мы думая о будущемъ русскаго народа, со страхомъ спрашиваемъ себя: что ожидаетъ его впереди?

**Статья Курта Грама въ газетѣ Zeit (№ 68) о пьесѣ  
„Міщане“.**

Медленно катить Донъ свои волны къ морю. Онъ не шумитъ и не бурлитъ,—широко, тяжело и беззвучно текутъ его струи по безконечнымъ степямъ. Иногда прокричить птица, рѣдко-рѣдко пройдетъ странникъ... но и они, какъ будто затаиваютъ дыханіе, задерживаются съ своими горестями и радостями среди громадной равнины, точно ихъ вовсе и нѣтъ тамъ. А когда, вечеромъ, надъ землею поднимется туманъ, заволокнетъ небо и рѣку, то можно цѣлыми часами брести по степи, словно по безконечному кладбищу. Подойдешь ли къ селу, ничто не шелохнется; вдругъ, точно издалика, откуда-то донесется глухой звукъ. Можетъ быть, то лаяла собака, можетъ быть, человѣкъ звалъ на помощь; впрочемъ, среди тумана звукъ теряетъ всякіе отличительные признаки, утрачиваетъ все человѣческое: онъ проносится, вспугиваетъ путника слышащаго его, именно своею неопредѣленностью, и потомъ вновь безслѣдно исчезаетъ въ туманъ, среди свинцовой тишины. И бредешь, бредешь безъ конца, вдоль беззвучной рѣки по умершей долинѣ; чѣмъ дольше длится тишина, тѣмъ явственнѣе звучитъ внутренній голосъ и вскорѣ начинаетъ чудиться, что съ того берега доносятся чьи-то вздохи и жалобы... они приближаются, окружаютъ тебя, но точно задушенные тяжелымъ платкомъ... И не на слухъ они дѣйствуютъ, а только на сердце. На небѣ ни звѣздочки, ничего, что утѣшило бы и приласкало; направо и налѣво тоже ничего—кругомъ одинъ туманъ и полуглушенные вздохи.

Читая Горькаго, мнѣ вспоминается подобное странствіе по степямъ Дона. Да и самъ Горькій большую часть своей юно-

сти провелъ на югѣ Россіи. Сотни разъ, вѣроятно, брелъ онъ такимъ же образомъ по степи и воспринималъ тѣ же впечатлѣнія; они запали въ его душу на всю жизнь и послужили основнымъ фономъ для его творчества.

И еще по одной причинѣ вспоминаю я Донъ, при чтеніи Горькаго. Бредя вдоль его береговъ, чувствуешь себя окруженнымъ тихими жалобами, проникающими черезъ всѣ поры, прямо въ душу, точно находишься внѣ времени и пространства, вдали отъ всякой культуры, вдали отъ судебъ отдѣльныхъ людей... въ дѣйствительности же находишься всего за нѣсколько верстъ отъ какого-нибудь вполне современнаго города. Стоитъ пройти какихъ-нибудь нѣсколько верстъ и очутишься среди церквей, синагогъ, гимназій, большихъ магазиновъ, среди путаницы новѣйшей цивилизаціи, вопросовъ культуры и социальныхъ проблемъ. Городъ, о которомъ я говорю—Ростовъ. Только въ Россіи въ настоящее время можно встрѣтить такую ужасную смѣсь противоположностей. И только русскій писатель можетъ вмѣстить въ себѣ пониманіе самой дѣвственной природы и всѣ горести и надежды самой утонченной культуры. Страданія Горькаго, его надежды — наши страданія, наши надежды. Поэтому онъ намъ такъ близокъ. Но такъ какъ онъ въ то же время умѣетъ самымъ тѣснымъ образомъ сливаться съ природой, такъ какъ Руссо мечтали когда то научить людей это дѣлать, то мы, добрые европейцы, и смотримъ на него какъ на какое-то чудище изъ дѣвственныхъ лѣсовъ.

Страданія, воспроизводимыя Горькимъ въ его драматическомъ отрывкѣ, намъ знакомы. И намъ приходится испытывать борьбу молодыхъ и старыхъ и если кто-нибудь изъ насъ имѣлъ отцомъ мѣщанина Безсѣмянова, то и переносилъ то же, что Петръ и Татьяна въ пьесѣ Горькаго. Да и матушка Акулина Ивановна, чувствующая то же, что и клушка, у которой отъ ужаса перья становятся дыбомъ при видѣ утенка, котораго она вывела вмѣсто благонаправнаго, тихо попискивающего, какъ и подобаешь истинному мѣщанину, утенка — намъ не безызвѣстна. И ни одинъ, Петръ нашей среды вначалѣ бунтовалъ, потомъ успокаивался и становился совсѣмъ почтеннымъ мѣщаниномъ,

т. е., сворачивалъ на ту же дорогу, по которой обязательно пойдеть Петръ Горькаго. Да и ни одна Татьяна, сначала посѣщавшая гимназію, и ставши учительницей, сводила это потому къ тому же, къ чему и дочь Безсѣмяннова — къ истеріи, скукѣ и неудовлетворенности. „Надѣньте на голову этому человѣку вмѣсто шляпы—солнце, — что можетъ быть великолѣпнѣе, онъ все же будетъ ныть и жаловаться“. „Вы развѣ живете? такъ, какъ-то слоняетесь около жизни и по неизвѣстной причинѣ стонете, да жалуетесь... на кого, почему, для чего? Не понятно. Когда человѣку лежать на одномъ боку неудобно, онъ перевортывается на другой, а когда ему жить неудобно, онъ только жалуется...“ Вотъ какъ выражаются у Горькаго Нилъ и Елена, представители такъ называемаго здраваго человѣческаго смысла, которые, однако, удались ему довольно схематично. Можетъ быть вслѣдствіе того, что Горькому рѣдко приходилось сталкиваться съ подобными „представителями“, а можетъ быть и потому, что его-то этотъ „здравый“ человѣкъ мало интересуеть. Вѣдь это участь большинства писателей. Также мало жизненна и двадцатилѣтняя Поля, съ манерами подростка, и глупая, какъ индейка. Горькій не умѣетъ изображать подобныхъ людей. Такіе примѣрные экземпляры лучше удаются нѣмцамъ. И наоборотъ, матушка Акулина, Петръ и Татьяна, къ которымъ авторъ относится даже съ нѣкоторой ироніей, и, главное, самъ Безсѣмянновъ, у него облечены въ плоть и кровь. Вся любовь и все искусство писателя и здѣсь, какъ всегда, сосредоточены на двухъ представителяхъ „босняковъ“, птицеловъ Перчининъ, рѣдко бывающемъ въ трезвомъ состояніи, и вѣчно пьяномъ и философствующемъ пѣвчемъ Тетеревъ. „Среди нихъ дышешь чѣмъ-то здоровымъ... какъ въ лѣсу“, говоритъ студентъ Шишкинъ — Нилъ, Елена и Поля — заботятся о томъ, чтобы свѣтъ приличнымъ образомъ продолжалъ свое существованіе, а Перчининъ и Тетеревъ, при другихъ условіяхъ, могли бы дать ему толчокъ впередъ, у нихъ все есть для этого. Но они живутъ въ Россіи, а въ Россіи пьянчужки болѣе любимы нежели люди пошиба Тетерева. Трезвыми они становятся опасными.



А дѣйствіе, драма? Ихъ все равно что нѣтъ вовсе. Старики слегка спорятъ съ молодежью, а та немного играетъ въ любовь, немного кричитъ, ссорится, а въ 3-мъ актѣ Татьяна, потому что Нилъ любитъ не ее, а Полю, принимаетъ кислоту, но лишь обжигаетъ себѣ пищеводъ. О, Горькій, Горькій! Драмы онъ намъ не далъ, но подарилъ твореніемъ поэта. Отдѣльныя части произведенія связаны между собою не дѣйствіемъ, а лишь тоскливымъ, печальнымъ настроеніемъ, и то очень свободно; оно все разрастается, подобно туману на Дону, и изъ него-то мало-по-малу выступаютъ человѣческія страданія, муки настоящаго времени и проникаютъ въ самую глубину нашего сердца. И нѣтъ огонька, который свѣтилъ бы. Лишь Донъ даетъ какое-то неясное сіяніе, какъ будто тамъ все-таки еще горитъ звѣздочка для всѣхъ людей и для нашихъ стремленій.

Поставить пьесу, которая въ сущности и не пьеса, а лишь своевольная попытка писателя, на сцену—рискованно. И однако у насъ изъ любви къ творенію,—пошли на это, а публика своимъ поведеніемъ даже въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ сцены тянулись безконечно долго, не высказывая скуки, доказала, какъ глубоко чтить Горькаго, который ей дорогъ не какъ драматургъ, а какъ писатель вообще.

---

### Статья Энгеля въ Berliner Tageblatt.

Какъ чудище выплываетъ со дна морского на его поверхность, такъ и Горькій съ самыхъ низинъ жизни народа поднялся на ея поверхность. Снизу онъ принесъ съ собою пламенную жажду народа къ свѣту и воздуху. У начальства онъ въ подозрѣніи а соотечественники, особенно интеллигенція, поклоняются ему и удивляются. Рядомъ со звѣздою Толстого свѣтится и его звѣзда, бросая свѣтъ далеко за границу родины. и особенно ярко сверкая въ Германіи; она какъ бы возвѣщаетъ своимъ блескомъ, что и во мракѣ Россіи, послѣ ночи наступить сумерки, а за сумерками разгорится день. Великая сила Горьбаго заключается именно въ томъ, что онъ умѣетъ дать выраженіе страстнымъ стремленіямъ своихъ сородичей — самое высшее, что можетъ сдѣлать писатель. Мы, нѣмцы. въ этомъ отношеніи можемъ поставить на одну доску съ нимъ развѣ только Шиллера, во всемъ остальномъ столь отличнаго отъ него; Шиллеръ, какъ и онъ, противопоставлялъ праву сильныхъ міра сего, право мѣщанина Миллера, даже право разбойниковъ. И то страстное стремленіе и чувство, которое русскій писатель умѣетъ высвободить изъ когтей смутнаго ощущенія и исповѣдуетъ открыто — чувство жажды освобожденія индивидуума, жажды справедливости на землѣ, борьба за святую привилегію, которая должна быть достояніемъ отщепенцевъ, обездоленныхъ и даже преступниковъ, а именно за право быть человекомъ. Мысль, что преступленіе есть социальное зло, которое надо лѣчить, но не наказывать, что раны надо исцѣлять бальзамомъ умиротворенія—эти мысли сдѣлались теперь общимъ достояніемъ. Но немногіе, пожалуй даже никто, не

сумѣлъ съ такою силой воплотить ихъ въ художественные образы, какъ Максимъ Горькій. Вотъ какимъ онъ является въ своемъ послѣднемъ произведеніи, въ которомъ, если позволено употребить смѣлое выраженіе, онъ становится идеалистически-настроеннымъ натуралистомъ. Темы для своихъ произведеній онъ черпаетъ въ мірѣ реального, безпощадно вѣрно изображаетъ жизнь и съ поразительною увѣренностью наблюдаетъ великія и мелкія проявленія дѣйствительности; но на ряду съ стремленіемъ къ земному, безъ чего ни одинъ поэтъ обойтись не можетъ, у него имѣются крылья. Они-то поднимаютъ его гораздо выше избранной темы въ тѣ высоты, гдѣ рождаются великія и благородныя мысли, уносятъ его далеко отъ земли въ будущее. Изъ ужаснаго притона ночлежки наши мысли несутся къ будущему гдѣ все объединится и сольется въ великое богослуженіе человѣчности и истинѣ.

Потому что — человѣкъ — „вотъ правда“. По всеѣмъ вѣроятіямъ это любимое выраженіе Горькаго. Въ сборникѣ „Бывшіе люди“ онъ высказываетъ ту же мысль; да и вообще на разсказъ, носящій то же заглавіе, можно смотрѣть какъ на предвѣстникъ послѣдней драмы. Какъ тамъ, такъ и тутъ, описывается ночлежный домъ, въ которомъ подонки общества „бывшіе люди“ находятъ себѣ пристанище. Какъ тамъ, такъ и здѣсь глубокое и широкое описаніе ихъ жизни, заканчивающейся наконецъ катастрофой. Отлично устроившійся первенствующій классъ, жизнь котораго втиснута въ извѣстныя, легальныя рамки съ полиціей и законами во главѣ, вторгается въ темное существованіе этой голи. На сценѣ все это кажется еще болѣе правдивымъ и вѣрнымъ дѣйствительности, рѣзче, ужаснѣе и болѣе потрясающимъ.

Передъ вами, какъ живые, проходятъ жалкіе оригиналы и въ то же время типы, погрязшіе въ грязи, облеченные въ лохмотья. Но о ихъ внутреннемъ мірѣ нельзя сказать, что онъ окончательно замаранъ, что все хорошее въ немъ разодрано въ клочки: почти въ каждомъ изъ нихъ можно найти остатки высшей человѣчности, тягостныя воспоминанія, затаенное горе, скрытую скуку... Мало-по-малу въ нихъ начинается различаться

и свѣтлая сторона характера. Негодай, оказывается нѣжной натурой, человѣкъ, оставшійся честнымъ—грубымъ.

Меня спросить, гдѣ же тутъ то стремленіе къ идеалу, о которомъ я упоминалъ въ началѣ? Оно воплощено въ личности странника Луки. Автору не вполнѣ удалось вдохнуть жизнь въ свою аллегорію, пластически претворить въ плоть и кровь свою идею. Но доброта и мудрость Луки въ то же время доброта и мудрость самого Горькаго. Утѣшая умирающихъ, давая совѣты заблудшимъ, все прощая и понимая, вотъ какимъ онъ является передъ нашими глазами—полубожественнымъ отраженіемъ человѣка будущаго, какимъ его видитъ писатель. Лука лжетъ тамъ, гдѣ ложь дѣйствуетъ благотворно, говоритъ правду, какъ строгій отецъ, сочувственно и снисходительно улыбается неразумью людей и если не умѣетъ прославить жизнь, то зато прославляетъ ея конецъ — смерть. Онъ появляется и исчезаетъ словно привидѣніе—въ концѣ третьяго акта его уже нѣтъ—но послѣ него остается въ затхлоу подвалѣ какъ бы движеніе чистоты, ожиданіе побѣды свѣта...

Такимъ же точно является самъ Горькій среди своего народа, указывая ему на далекія, почти недостижимыя высоты. Оптимистъ въ разодранномъ одѣяніи пессимиста и созидатель новаго времени, по виду напоминающій анархиста!

---

## Максимъ Горькій.

### Статья изъ Zukünft.

Послѣдней „звѣздой“ русской литературы считается „босая“ Максимъ Горькій.

Молодой русскій поэтъ вышелъ изъ среды бродягъ, босиковъ. Изданные имъ 2 тома рассказовъ и набросковъ, несомнѣнно свидѣтельствуютъ, что при наличности громаднаго художественнаго таланта,—онъ поставилъ себѣ еще высокія цѣли, и что его ждетъ полная славы будущность.

Но, прежде чѣмъ приступить къ оцѣнкѣ выводимыхъ имъ типовъ и художественной индивидуальности самого автора — слѣдуетъ сказать нѣсколько словъ о новыхъ направленіяхъ въ русской литературѣ и ихъ внутренней связи.

Прежде всего надо отмѣтить, что русскую литературу нужно разсматривать непременно въ связи съ національнымъ бытомъ и тѣми задачами, какія себѣ ставятъ руководящіе умы. Русскій требуетъ отъ своей литературы, чтобъ она указывала ему обязанности человѣка и гражданина. Вслѣдствіе этого, только человѣкъ знающій это можетъ разобраться въ ея перекрещивающихся направленіяхъ и цѣляхъ. Русская литература—литература жизненныхъ вопросовъ; она преисполнена вѣчными разсужденіями и выработкой принциповъ, которымъ въ силу измѣнчивости характера, русскіе, однако, не всегда остаются вѣрными. И эта литература тѣмъ интенсивнѣе, что во всѣхъ вопросахъ, чисто-нравственныхъ и практическихъ—въ ней красной нитью проходитъ страстное стремленіе къ новому строю жизни, свободѣ и истинѣ.

Въ Петербургѣ—метрополіи сѣверной литературы—встрѣчаются истинные художники, стоящіе выше партій: на пер-

вомъ мѣстѣ Владиміръ Короленко; большинство же представителей молодого поколѣнія—чистые западники или декаденты и охотно называютъ себя таковыми.

Максима Горькаго нельзя причислить ни къ одной изъ этихъ партій—онъ занимаетъ особое положеніе. Въ этомъ онъ сходенъ съ графомъ Толстымъ. Своеобразность—отличительная черта произведеній этого писателя; въ то время, какъ у Толстого побудительнымъ мотивомъ служить любовь—у Горькаго ненависть. Не здоровая и понятная ненависть ко лжи общества, къ темнымъ сторонамъ культуры—нѣтъ, ненависть къ самымъ принципамъ культуры, какое-то нянченіе и нѣжность ко всему отталкивающему, что накапливается въ грязныхъ углахъ, гдѣ живутъ подонки общества. Это положеніе достаточно ясно доказывается тѣмъ, что во всѣхъ разсказахъ Максима Горькаго торжествуетъ зло и, описывая его, поэтъ не жалѣетъ яркихъ, сильныхъ красокъ, тогда какъ невинность, добро очерчиваются имъ довольно вяло и блѣдно. Его дѣйствующія лица исповѣдуютъ смѣлую жизненную философію, выработанную ими во времена бродяжничества и до нѣкоторой степени примиряющую ихъ оскорбленное самолюбіе съ жизнью, но—имъ далеко до житейской мудрости и самоанализа героевъ Толстого. Съ тѣхъ поръ, какъ Толстой пересталъ быть „помѣщикомъ“—онъ обрѣлъ языкъ народа и обращается съ этимъ языкомъ съ такимъ художественнымъ совершенствомъ, какое едва ли еще гдѣ нибудь встрѣчается въ мировой литературѣ; Горькій же, напротивъ,—овладѣлъ съ неподражаемымъ искусствомъ языкомъ босяковъ, и достигъ въ этомъ направленіи, если только возможно—еще большаго,—до такой степени жаргонъ у него, такъ сказать, чувственно могучъ.

Лучшимъ доказательствомъ всего вышесказаннаго можетъ служить его очеркъ „Бывшіе люди“—изъ жизни подонковъ общества, живущихъ въ развалинахъ одного барака, на окраинахъ провинціального городишкѣ. Всѣ квартиранты „въ ночлежномъ домѣ отставного ротмистра“, рассказываютъ другъ другу свои похождения, переругиваясь, изрыгаютъ проклятія на своемъ жульническомъ жаргонѣ, надуваютъ кабатчика и въ

свою очередь надуваются имъ; не смотря на все это, у нихъ выработанъ извѣстный общественный кодексъ. Иногда нѣкоторые лица этой компаніи на время куда-то исчезаютъ, но потомъ снова являются оборванные, безъ копѣйки въ карманѣ. И такъ длится до тѣхъ поръ, пока начальство, когда эти оборванцы уже не въ силахъ давать ему взятки—не разрушаетъ притона; связанного „ротмистра“ сажаютъ подъ арестъ; „единственного, равнаго ему по происхожденію“ жильца его, бывшего учителя, приволакиваютъ изъ чистаго міра къ нимъ умереть—тамъ, его и зарываютъ гдѣ попало. Вы видите, съ какимъ наслажденіемъ роется Горькій въ этой грязи. Но зато какъ все правдиво и образно въ этихъ картинахъ; какая глубина ненавидящаго страданья! получается такое же впечатлѣніе, какъ отъ чтенія *Ventre de Paris* Зола, гдѣ онъ такъ подробно, описываетъ производство колбасъ, глаженіе и т. д. что всему этому даже можно научиться. Но дѣло въ томъ, что Горькій *ничего не описываетъ*; онъ лишь слегка, какъ бы мимоходомъ, касается времени, мѣста — и оно стоитъ у насъ передъ глазами живое, захватывающее: онъ ничего „не изучалъ“, ничего „не наблюдалъ“—все пережито, перечувствовано. Когда Горькій въ очеркѣ „Коноваловъ“ — рассказываетъ, какъ онъ, будучи еще мальчикомъ—Максимкой — бодрствовалъ въ подземной пекарнѣ при коптящей лампѣ, въ то время, какъ старшій помощникъ Коноваловъ спалъ, какъ въ это время содрогалась печная дверка отъ сильнаго огня, а охлаждающаяся корка уже вынутаго изъ печи хлѣба слегка потрескивала, или когда онъ немногими, но яркими штрихами рисуетъ рыбацьи промыслы на берегу моря или тихую греблю вора Челкаша между большимъ пароходомъ и баркасомъ — всѣ эти картины производятъ столь яркое и сильное впечатлѣніе, какого нельзя достигнуть самымъ подробнымъ описаніемъ. Передъ нашими глазами все время проходитъ полная картина жизни, картина, которая въ то же время передаетъ и звукъ, т. е. Горькій, истое дитя своего народа, какъ и онъ—почти бессознательно музыкаленъ, и если хочетъ выразить свою мысль, образъ, то беретъ одновременно и формы,

и цвѣта, и звуки. Жизнь русскаго простолюдина, если только онъ не пьянъ, весьма монотонна и, тѣмъ не менѣе, онъ со провождаетъ всякую работу пѣсней, которая приходилась бы къ ней въ ритмъ. Также и Горькій: все для него полно звуковъ: и рабочій день, и бессонная, полная мечтаній, ночь.

Разительнымъ примѣромъ этого пластически-музыкальнаго изображенія какой-нибудь сцены является вступленіе къ разсказу „Челкашъ“. Челкашъ — старый контрабандистъ, посѣдѣвшій въ тяжелой школѣ воровства и контрабанды и подбивающій малаго принять участіе въ одномъ изъ своихъ ночныхъ предпріятій. Когда у малаго при видѣ денегъ расширяются глаза, Челкашъ бросаетъ ему почти всю выручку, но предварительно избиваетъ его а тотъ дѣлаетъ попытку разломить ему голову камнемъ, а потомъ плачетъ и не беретъ денегъ, прося простить. Самобичеваніе — чисто-русская характерная черта.

Въ разсказахъ Горькаго каждый мельчайшій эпизодъ совершенно рельефно выступаетъ на общемъ фонѣ; и ненависть, проникающая въ его творенія, звучитъ даже въ самой манерѣ Горькаго подбирать своеобразныя, почти несуществующія словечки.

Иногда онъ затрогиваетъ и нѣжныя, поэтическія струны. Какъ напр. въ прекрасномъ разсказѣ о цыганкѣ Раддѣ—хотя и здѣсь нѣтъ нѣжности и любви, а только страсть, убивающая человѣка.

Та же постоянно повторяющаяся тема о торжествѣ зла, мастерски разработана въ разсказѣ „На плотяхъ“.

Хотя тема талантливо написаннаго разсказа „Скуки ради“ очень избита, но производитъ потрясающее впечатлѣніе.

И здѣсь, какъ и вездѣ, царитъ „злое“ начало дарованіе Горькаго: нигдѣ нѣтъ любви, хотя бы въ видѣ эпизода,—одна голая страсть.

Единственно слабый разсказъ по моему мнѣнію—это „Супруги Орловы“, но начинается онъ сильно и просто, какъ и все у Горькаго. Однако и здѣсь преобладаетъ тенденція: народное образованіе и права женщины. Въ нѣкоторыхъ другихъ очер-



кахъ варьируется вѣчная тема о поискахъ жизненнаго пути. при чемъ перевѣсъ всегда на сторонѣ того, кто, не мудрствуя лукаво, беретъ отъ жизни все, что подвернется. И вездѣ разбросаны красоты, которыя поражаютъ своей художественностью: обиліе мыслей, красота картинъ, цѣльность изображенія, лишеннаго всякой искусственности, — все это возбуждаетъ восторженное удивленіе.

Но—если разсмотрѣть внимательно страницу за страницей всю громадную книгу міровой литературы, то окажется, что *ненависть* въ жизни никогда не создавала себѣ памятника и долговѣчнымъ было только то, что созидалось *любовью*, и основано на ней.

Пожелаемъ же, чтобы смѣлый, сильный талантъ молодого поэта указалъ ему истинный путь, — путь, равно далекій и отъ тенденціозности и отъ „босячества“.

*Нина Гофманъ.*

**Выдержки изъ статьи Вѣры Старковой „Новыя и старыя теченія русской литературы“ въ *Revue de Revue*.  
15 декабря 1900 года.**

Не все устарѣло въ прошломъ, и не все въ настоящемъ указываетъ на шагъ впередъ по пути прогресса. Поэтому совершенно непонятна неумѣренная погоня современныхъ писателей за постоянной новизной. Цивилизація движется впередъ не по прямой линіи и есть моменты въ исторіи, когда она какъ бы пятится назадъ. Настоящій періодъ русской литературы какъ разъ служитъ лучшимъ доказательствомъ этого обратнаго движенія.

Последняя фаза развитія русской литературы—подражаніе символистамъ съ одной стороны, и Ницше съ другой. Во Франціи символизмъ породила реакція противъ исключительнаго господства реализма, не того реализма Золя, въ которомъ отведено почетное мѣсто человѣческимъ идеаламъ, — а мелочного, буржуазнаго и исключительно матеріальнаго направленія ума, разсадникомъ котораго служатъ ежедневные фельетоны газетъ извѣстнаго лагеря. Не то въ Россіи — газеты тамъ читаются мало, а благодаря чисто-демократическимъ и глубоко-человѣчнымъ тенденціямъ русскаго романа, удѣлявшаго одинаковое вниманіе и матеріальнымъ потребностямъ человѣка и его идеальнымъ стремленіямъ, также не было почвы для возникновенія символизма. Символизмъ привить русской литературѣ искусственно, носить тамъ исключительно подражательный характеръ и до сихъ поръ не породилъ ни одного сколько-нибудь значительнаго произведенія.

Что касается до Ницше, то въ странѣ, гдѣ память о крѣпостной зависимости еще неуспѣла вполне исчезнуть, а вели-

кая реформа 1861 года въ значительной степени обязана своимъ осуществленіемъ литературѣ, анти-демократическое вліяніе автора „По ту сторону добра и зла“—весьма пагубно. Я съ горестью вижу слѣды его въ послѣднемъ произведеніи Максима Горькаго. Гордость и слава Россіи въ настоящее время, Горькій, въ своихъ первыхъ произведеніяхъ является вдохновеннымъ пѣвцомъ босяковъ и рабочихъ, надѣленныхъ чуткими, артистическими душами и ненаходящихъ въ нашемъ общественномъ строѣ подходящей среды для развитія своей могущественной индивидуальности (роскошь, доступная лишь состоятельному классу), краснорѣчивый защитникъ бродягъ, страстно любящихъ пѣніе—онъ въ послѣднемъ своемъ произведеніи выступаетъ исключительно какъ поклонникъ „культы силы“.

Въ Варенькѣ Олесовой мы встрѣчаемъ два разныхъ типа новѣйшаго направленія: символиста-неврастеника, ополчающагося противъ позитивной науки, и пышущую здоровьемъ, крѣпкую дѣвушку, обладающую здравымъ смысломъ мясника и нравственностью, сводящеюся къ здоровой, но чисто животной чувственности. Она воплощеніе новаго идола, котораго я уже называлъ „культуромъ силы“. Этимъ двумъ лицамъ принадлежитъ, по мнѣнію Горькаго, будущее; они стремятся „уничтожить“ молодого ученаго, матеріалиста и народника, взгляды котораго кажутся имъ отжившими; въ концѣ концовъ это имъ и удастся.

— „Ограбили вы душу жизни, и если нѣтъ въ ней великихъ подвиговъ любви и страданія—въ этомъ вы виноваты, ибо, рабы разума, вы отдали душу во власть его, и вотъ охладѣла она и умираетъ больная и нищая. А жизнь все такъ же мрачна, и ея муки, ея горе требуютъ героевъ... Гдѣ они?“ Говорить символизмъ. И далѣе:

„Скажите,—представляя себѣ жизнь только механизмомъ, вырабатывающимъ все и въ томъ числѣ идеи, неужели вы не ощущаете внутреннего холода и нѣтъ въ душѣ у васъ ни капли сожалѣнія о всемъ таинственномъ и чарующе-красивомъ, что низводится вами до простого химизма, до перемѣщенія частицъ матеріи?“

„Гмъ... отвѣчаетъ ученый... „этого холода я не ощущаю, ибо мнѣ ясно мое мѣсто въ великомъ механизмѣ жизни, болѣе поэтическомъ, чѣмъ всѣ фантазіи... Что же касается до метафизическихъ броженій чувствъ и ума, то вѣдь это, знаете, дѣло вкуса. Пока еще никто не знаетъ, что такое красота? Во всякомъ случаѣ—слѣдуетъ полагать, что это ощущеніе фізіологическое“.

Но въ концѣ концовъ ученый запутывается въ сѣтяхъ Вареньки Олесовой, дочери отставнаго полковника; она привлекаетъ его своей красотой и откровенностью, но зато цинизмъ, упорство и примитивность ея взглядовъ глубоко возмущаютъ его; сначала онъ объясняетъ ихъ себѣ ея невѣжествомъ и хочетъ разбудить совѣсть молоденькой дѣвушки съ наклонностями военнаго человѣка, хвастающей тѣмъ, что собственноручно отколотила стараго слугу. Ученый понапрасну тратитъ время. Долго слушаетъ Варенька его защитительную рѣчь прогрессу, но ни на іоту не отступаетъ отъ своихъ взглядовъ.

„Вы хотя и ученый,—говоритъ она,—но я съ вами поспору. Вѣдь и я тоже что-нибудь понимаю! Вы говорите такъ, что выходитъ какъ-будто люди строятъ домъ и всѣ они въ этой работѣ равны. И даже не они, а все—и кирпичи, и плотники, и деревья, и хозяинъ дома—все это у васъ равно одно другому. По развѣ это можно? Мужикъ долженъ работать, вы должны учить, а губернаторъ смотрѣть все ли дѣлаютъ что нужно. И потомъ вы сказали, что жизнь борьба... ну гдѣ же это? Напротивъ, люди очень мирно живутъ. А если ужъ борьба, значить—нужны побѣжденные. А общая польза—это я совсѣмъ не понимаю. Вы говорите, что общая польза въ равенствѣ всѣхъ людей. Но это же не вѣрно! Мой папа полковникъ, какъ же онъ равенъ Никону или мужику? И вы—вы ученый, но развѣ вы равны нашему учителю русскаго языка, который пилъ водку... рыжій, глухой и сморкался громко, какъ мѣдная труба? Ага!“

И авторъ строго наказываетъ „матеріалиста“ за желаніе поднять нравственный уровень дѣвушки: вызывающая кра-

сота Вареньки туманить чувство ученаго мужа, разстраиваетъ ему нервы, онъ безумно влюбляется въ нее и окончательно теряетъ голову.

Этотъ разсказъ, задуманный подъ вліяніемъ идей Ницше, оканчивается чудной финальной сценой, въ которой съ прежней силой прорывается наружу страстный и яркій темпераментъ писателя.

(  
(  
(  
(  
(

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стр.

Предисловіе . . . . .	1
-----------------------	---

## Отдѣлъ I. Англійская критика.

Книга Диллона Maxim Gorkyi His life and whritings . . . . .	1
Статья изъ The Academy . . . . .	21

## Отдѣлъ II. Нѣмецкая критика.

Книга Порятцкаго . . . . .	32
Статья Брандта въ Deutsche Rundschau . . . . .	50
Свобода и несвобода Горькаго, статья въ Neue deutsche Rundschau	59
Максимъ Горькій Евгениі Мартъ . . . . .	61
Бытописатель русскаго пролетаріата изъ Litterarisches Echo . . . .	71
Статья изъ Neue Welt . . . . .	78
Новый міръ Горькаго Поппенберга изъ Nation . . . . .	85
Статья Alkalay въ Norddeutsche allgemeine Zeitung . . . . .	93
Великій босакъ Otto Felix въ Neues Wiener Tageblatt . . . . .	103
Поэтъ бывшихъ людей въ Neue freie Preses . . . . .	109
Пьеса Горькаго въ Tageblatt aus Möhren und Schlsien . . . . .	119
Статья Энгельса въ Münchener Zeitung . . . . .	123
„На днѣ“ Гольдмана въ Neue freie Presse . . . . .	127
Статья Альфреда Керра въ Nation . . . . .	141
Статья Карла Штекера въ Tägliche Rundschau . . . . .	151

## Отдѣлъ III. Французская критика.

Статья Мелхіора Вогюэ . . . . .	155
Статья М. Савичъ въ La Revue за 1901 г. . . . .	200
Статья Ивана Страшника въ Revue de Paris . . . . .	214
Статья Савичъ въ La Revue за 1903 г. . . . .	243

#### Отдѣль IV. Шведская критика.

Стр.

Статья Langlelet въ Stockholms Dagblad . . . . .	257
--	-----

#### Отдѣль V. Датская критика.

Статья Брандеса въ Politiken . . . . .	269
--	-----

#### Отдѣль VI. Итальянская критика.

Статья изъ Nuova Antologia за 1901 г. Лауры Граполло . . . . .	279
Статья изъ Nuova Antologia Vladimir Jibotinsky . . . . .	287

#### Отдѣль VII. Испанская критика.

Статья Пардо Бассанъ . . . . .	293
--------------------------------	-----

#### Приложенія.

Статья изъ Рабочей газеты . . . . .	303
Статья Курта Грама въ газетѣ Zeit . . . . .	306
Статья Ангеля въ Berliner Tageblatt . . . . .	310
Статья изъ Zukunft . . . . .	311
Статья Старковой въ Revue de Revue . . . . .	318

К О Н Е Ц Ъ.







Stanford University Libraries



3 6105 023 409 308

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES  
CECIL H. GREEN LIBRARY  
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004  
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

--	--

